

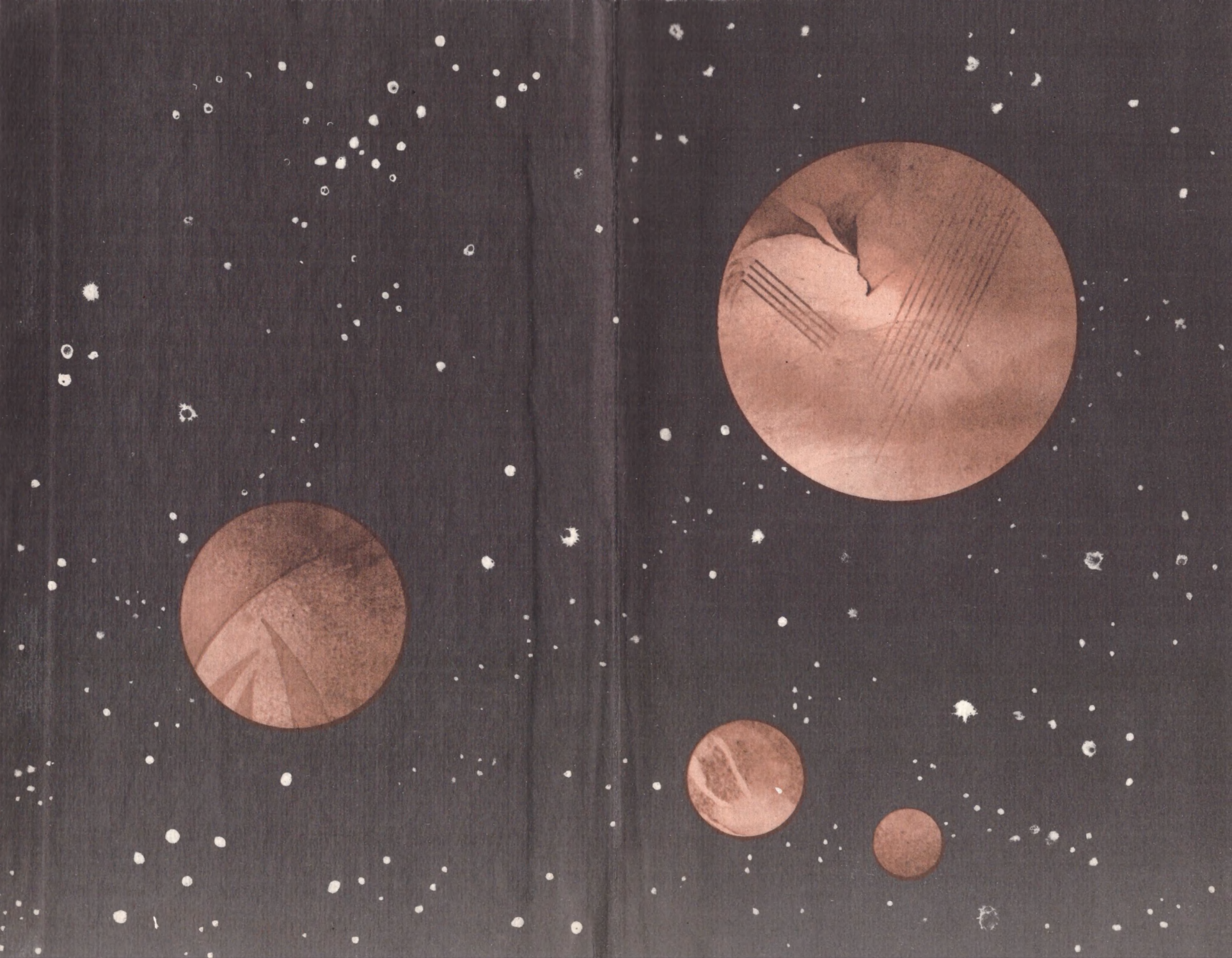


Владимир Михайлов

ТОГДА ПРИДИТЕ,  
И РАССУДИМ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ФАНТАСТИКА  
ПУТЕШЕСТВИЯ











**Владимир Михайлов**

**ТОГДА ПРИДИТЕ,  
И РАССУДИМ**

**ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН**

/Вторая книга дилогии  
«Сторож брату моему»/



**РИГА «ЛИЕСМА» 1983**

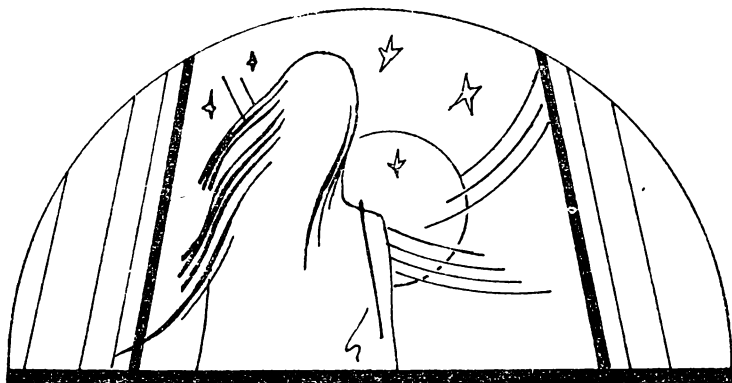
K2  
84K7  
MG9

Художник *Д. Ланса*

Рецензент *Г. Туревич*

М  $\frac{4702010200-243}{M801(11)-83}$  216-83

© «Ляесма», 1983



## Глава первая

— потом створки съехались со звуком, с каким прозрачная волна набегаёт на белый раскаленный песок пляжа, когда солнце поёт и нет сил шевельнуться, даже открыть глаза, когда сам ты стал и солнцем, и песком, и морем, и вселенной, истекающей бездумным счастьем бытия. Холодный служебный свет, отсеченный дверью, остался в коридоре, куда только что вышла женщина, держа в руке что-то мерцающее и невесомое, как лучи звезд, — то, в чем она сколько-то времени назад вошла сюда, ко мне, неожиданная, словно принесенная на руках моего желания и тоски. Тоски по ней? Не знаю; сейчас я могу уверенно сказать — да! Но еще за мгновение до того мне представлялось другое лицо и другие линии; теперь они не то чтобы исчезли, но как-то совместились с новыми, растворились в них, а имя, столько раз произносившееся мною в моем двойном одиночестве, временно-пространственном — имя это оказалось и в том, и в другом измерении так же далеко, как и сама планета Даль.

Женщина ушла, но осталась здесь, и перед моими закрытыми глазами все еще стоял ее силуэт в прямоугольнике раздвинутых створок, а телом еще ощущалось ее тепло, а обонянием — запах, светлый запах весеннего рассвета, а слухом — невесомое ее дыхание и



какие-то слова, те, что не оседают в словарях, но, словно молнии, рождаются и гаснут, блеснув единожды и ослепительно, слова, не выражавшие мыслей, — мысль есть лишь отражение жизни, — но сами бывшие жизнью, естественные, как шелест лесов и плеск воды; а зрением все еще воспринимался тяжелый блеск в ее глазах, казавшийся отсветом древних костров, у которых сидели трое: Она, Он и Любовь. Хотя на деле то был, наверное, отблеск шкал репитеров на переборке моей каюты, но в те мгновения я не стал бы глядеть на них, даже покажи они конец света... Она ушла, но все мои чувства крепко держали ее, все до единого, потому что любое из них непременно для счастья. И память тела, и другая память тоже, со странной точностью вновь повторявшая кадр за кадром: как раскатились неожиданно створки, хотя я был у себя, а дверь отзывалась только на мой шифр; как вошла Она. Именно так воспринял я ее в тот миг: Она — хотя мне были прекрасно известны ее имя и должность и место по любому из корабельных расписаний, точно так же, как мне известно (и должно быть известно) все о каждом, кто только есть на борту. Не могу сказать, что я встал навстречу ей; меня подняло и толкнуло, и опустило на колени, и заставило поцеловать край того, мерцавшего, что было надето на ней. Не было удивления: удивляются мелочам, перед стихией преклоняются безмолвно; и не было ни одного разумного слова, как не бывает их в оркестре, когда исполняется великая музыка... Память показывала и дальше: можно, вероятно, найти слова, какими все это опишется точно — но неверно. Человек может выражать одними и теми же словами и проклятие, и молитву — здесь была молитва.

Минуло время, и она ушла, вот только что, все так же безмолвно, но между нами не осталось неясного. Я лежал опустошенный, но не пустой, потому что из меня словно выскребли все низкое, унылое и дрянное, что только во мне было, и вместо этого наполнили меня чем-то, с чем можно жить тысячи лет, не унывая. И мне стало казаться вдруг, что все на свете просто (и наша экспедиция в том числе), что мы благополучно долетим, Архимеды наши и Михайлы Васильевичи, и прочие быстрые разумом Невтоны совершат все, что им полагается, выяснят при помощи своей белой, черной и пестрой в крапинку магии то, что следует, а затем чему

положено гореть — зажжется, а чему потухнуть — погаснет, и мы отчалим в обратный путь, таща за собой длинный хвост впечатлений. А когда вернемся на Землю, планета перестанет казаться мне чужой, потому что там, где двое вместе, там возникает и все прочее, что нужно в жизни. А на финише...

Я дремал, наверное, или грезил; зуммер вызова проник в сознание не сразу. В другое время я мысленно (и даже не только) проклял бы — кто там сейчас стоит вахту? Да, Уве-Йорген, доблестный рыцарь истребительной авиации; значит, я проклял бы Уве-Йоргена и всю его вахту, и весь личный состав, включая ученых и астрооператоров, и корабль, и весь рейс, и всю Землю, а также и доступную и недоступную нам вселенную, все, что есть, и все, чего нет: не люблю, когда меня будят. Но на этот раз я был полон доброты и мне захотелось излить ее на кого-нибудь еще, пусть и на Рыцаря. Так что, дотянувшись до кнопки, я произнес по возможности миролюбиво:

— Капитан Ульдемир.

— Капитан, — голос Уве-Йоргена прозвучал отвлеченно-бесстрастно, как и всегда на службе. — С приятным пробуждением, капитан. Доброе утро.

— Что у вас там?

Досада, вероятно, все же оставила след в моем голосе, судя по чуть удивленному:

— Вы приказали поднять вас, капитан, когда приблизимся к точке выхода.

— Как, уже? А я рассчитывал, что вся ночь впереди. Кануло куда-то время. — И тотчас же другая мысль перебила первую: бедная, каково ей сейчас: не выспавшись — за пульт...

— У меня все, капитан, — молвил Уве-Йорген, устав, видно, дожидаться ответа.

— Сейчас буду. Работайте по расписанию. Всё.

И я собрался было пожаловаться самому себе, что вот опять приходится подниматься ни свет ни заря, в моем-то серьезном возрасте, — но тут же вспомнил, что отныне, с этой ночи, я молод, моложе молодых. И вскочил быстро, словно каждая пружинка во мне была снова заведена до отказа.

Где-то, где-то (впрочем, расстояния — фикция в этом мире, и нет ничего, что было бы слишком далеко от нас) серебряные птицы вспорхнули и летучие рыбы ринулись в полет, стройные, на антиграв-тяге, с головками автоматического наведения на свет, на тепло, звук и запах — на всякое дыхание жизни. Там, куда они устремлялись, мгновенно грянули беззвучные вихри в тесных недрах стратегических машин, двойные и тройные параллельные цепи не подвели, все было вмиг подсчитано, взвешено и решено — и серебряные птицы поднялись навстречу, и взвились летучие рыбы, антигравы автоматического наведения. Мгновенным был диалог не ошибающихся неживых умов; и птицы клевали рыб, а рыбы в клочья разрывали птиц с той и с другой стороны, и одна часть сгорела и рассыпалась и упала, а другая часть прорвалась в ту и иную стороны. И у птиц раскрылись люки, а боеголовки летучих рыб разделились, как разлетается в стороны осиный рой. Эти сделали свое дело сразу, но и те, что упали не долетев, тоже совершили свое, только секундами позже. Потому что антизаряд бомбы ли, головки ли может лишь считанные секунды существовать в отключении от мощных стационарных энергетических установок, питающих магнитное поле, свернутое коконом и предохраняющее несколько килограммов антисвинца — в два хороших кулака величиной — от соприкосновения с корпусом бомбы или головки, сделанным из обычного сплава. Ровно столько времени, сколько нужно, чтобы долететь до цели; магнитный кокон продолжает жить, питаясь от аккумулятора, а затем — аннигиляция, взрыв. Каждый такой заряд стоил, сколько стоит построить город, и энергии потреблял, сколько ее потребляет город с его заводами, подземками, рекламами, утюгами и ночниками. Безопасность требует жертв — но, видно, уже не под силу стало истекать соками, питая безопасность, и — где-то, где-то! — люди — а скорее даже созданные ими особо доверенные машины — решили, что риск — дешевле, иначе — тупик, ибо можно зарядить АВ-бомбу, а разрядить уже нельзя, ее можно лишь взорвать, но вывести заряды в космос и взорвать на безопасном расстоянии от планеты тоже нельзя, ибо путь каждого заряда строго рассчитан, и расстояние, какое он может пройти, слишком мало, чтобы взрывы не

отразились на всем, что существует на планете. Не додумались разоружиться, пока речь шла еще об идиллических термоядерных зарядах, которые разрядить было — раз плюнуть, а теперь это стало все равно что выстрелить себе самому в висок — так уж лучше в противника! И белые пламена вспыхнули, как если бы множество Вселенных вновь рождалось из темного, вневременного и внепостижимого протовещества. Нет, они вспыхнули ярче, чем множество Вселенных. Ничто не могло уцелеть, и не уцелело. Так это было на планете Шакум, обращающейся вокруг Солнца, что воспринимается на Земле лишь как слабенькая радиозвездочка в созвездии Паруса.

Но нет ничего в этом мире, что было бы далеко от нас.

\* \* \*

И вот разговор, что произошел одновременно (при всей относительности этого понятия) совсем в другом пространстве, но не весьма далеко от гибнувшей планеты, откуда она была видна как бы сверху вниз, и видно было также и многое другое.

— Фермер! — сказал Мастер, невесело, как всегда, усмехаясь. — Вот и опять. Неужели все зря, и мы с тобой бессильны?

Фермер чуть повернул лицо, сосредоточенное и грустное, на котором плясали белые блики.

— Мы снова что-то упустили.

Мастер встал рядом с Фермером и стал смотреть туда же, и на его лице тоже заиграли белые блики, словно от рождавшихся миров — но этот мир не рождался, он гибнул на их глазах. Они молчали, пока не угасла последняя, запоздалая вспышка, которой могло и не быть, ибо все свершилось уже: уничтожение было гарантировано надежно. Лишь тогда Мастер заговорил вновь:

— Мне все же не верилось. Хотя в глубине души я, наверное, ждал этого. Я не смог помешать.

— Ты не посылая туда эмиссаров?

— Четырежды, в разное время. Все четверо либо жестоко убиты, либо умерли в заточении. Я здесь сжимал кулаки, но ничего не мог поделать. Очень жаль, что, посылая эмиссара, мы не вправе помочь ему ничем, кроме советов. Но иначе его раскрыли бы там сразу. А

никто не любит влияния со стороны. Перемены должны приходить изнутри — или как бы изнутри...

— Может быть, не надо было посылать их поодиночке? Те же четверо, если бы послать их разом...

— Как будто я не знаю этого, Фермер! Но где мне взять столько эмиссаров? А с группой еще сложнее: она не может быть случайной кучкой малознакомых людей. Наши требования высоки.

— Для такой нужды я мог бы отпустить кого-нибудь даже с моей Фермы.

— Разве у них мало работы? Или вокруг недостаточно миров, требующих наших усилий? Где-то наших людей всегда недостает. И в результате — вот...

— Может быть, этот мир и не стоил таких сокрушений. Слишком глубоко распространилась там зараза. А у меня есть правило: больное дерево должно сгореть, — сурово отозвался Фермер, но в голосе его слышалась усталость, какая возникает не от трудов, но от неудач. — Сорную траву выжигают, и больной сук тоже отсекают и предают пламени. Так. Но мне жаль. И того, что случилось, и того, что еще может произойти где-нибудь в другом месте. Еще не весь сорный лес выгорел.

— Ходят слухи о твоей доброте, Фермер, — с той же едва заметной усмешкой проговорил Мастер.

— Доброта и добро — не всегда одно и то же, — возразил Фермер. — Но мне жаль, повторяю. Ведь там проростало и доброе, однако, не успело. Слишком много было тени, а росткам добра нужен свет. И Тепло.

Снова они помолчали.

— Какая вспышка Холода! — нарушил тишину Мастер. — Будут серьезные последствия?

— Увы. Изменения начались сразу же. Перезаконие.

— Фундаментальное?

— Вглядишься, и ты увидишь.

Мастер вгляделся в то, что было перед ними.

— Волна не кажется мне очень мощной. И скорость распространения умеренная.

— Но это незатухающая волна. Не локальная вспышка Перезакония: идет перестройка структуры пространства. Чтобы погасить волну, нужна мощная вспышка Тепла.

— Жаль, что его нельзя доставить извне. А здесь у тебя нет нужных источников?



— Одиночных сколько угодно, — сказал Фермер, — но они не помогут: слишком силен Холод. Нужен, самое малое, планетарный источник. Лучше, если их будет два. Или один, но превышающий мощностью источник Холода. Источник, который высвободит Тепло разом, подобно взрыву — так же, как это произошло только что с Холодом. Но ведь тут погибла целая планета, что же сможем противопоставить мы? Чтобы целая планета воскресла, разве что. Кроме того, нужный нам источник должен находиться недалеко, и ввести его в действие следует быстро. Планеты моей Фермы излучают Тепло непрерывным потоком, но он не дает мгновенных мощных импульсов. Однако если мы не остановим волну, Перезаконие распространится слишком широко, и тем тяжелее окажутся последствия.

— Если бы они знали, — сумрачно проговорил Мастер, — что, убивая друг друга, они не просто преступают свою же мораль, но и влияют на развитие Вселенной...

— На этой социальной стадии они еще не мыслят категориями Вселенной. Чересчур много мелочей отвлекает их. И подсказать им трудно, а значит — надо найти возможность повлиять на их чувства помимо рассудка. На несчастной планете каждый человек успел понять, что всему конец. И ужас оказался безмерным, и породил столь мощный всплеск Холода. Что могут понять люди где-то на другой планете так же внезапно и все сразу, чтобы возникло преобладающее количество Тепла? Ты можешь представить?

— Обожди, Фермер. Постой. По-моему, в качестве источника можно использовать Семнадцатую.

— Там холодно, Мастер.

— Именно потому. Если источник Холода, что сковывает каждого жителя планеты, независимо от того, ощущает человек эту скованность или нет, — если этот источник внезапно и явно для всех исчезнет, вспышка счастья будет чрезвычайно мощной.

— Ты думаешь, этот источник можно так просто устранить? Мне кажется, плод еще зелен.

— Я тоже так думал, Фермер. Но теперь, когда возникло Перезаконие, обстановка меняется. Природа словно хочет помочь нам. Смотри. Вот они. Вот волна. Ее структура, как ты видишь, достаточно сложна. Волна многослойна. Она будет наплывать на планеты

постепенно. Волна регрессивна. Перезаконие ведет к упрощению вещества. И первыми начнут исчезать атомы наиболее сложных элементов. Исчезать не потихоньку, как ты понимаешь. И люди успеют заметить. Встретятся. Начнут искать выход. И тут-то и понадобится некто, кто не только укажет, где лежит этот выход, но и подскажет, как им воспользоваться. Процесс поисков выхода может начаться на одной планете, но должен вскоре переброситься и на другую, охватить обе населенные планеты, связанные давней враждой.

— Связанные враждой... Твоя извечная любовь к парадоксам, знаю. И для осуществления плана тебе нужен эмиссар.

— Лучше два. Если группа — это было бы чудесно.

— Сами они не смогут повернуть события?

— Те люди? Нет. Те, кто мог, давно вымерли или обессили, потеряв надежду. Ожидать, что там возникнут новые? Но их образ жизни не способствует этому. Там все как будто бы благополучно. И внешне выглядит, словно все довольны. Когда возникает угроза, неожиданная, страшная, всеобщая — может родиться лишь паника. Тут-то и нужен эмиссар. Пусть это будет даже слепой эмиссар: сейчас нам рука нужнее мозга... Человек или группа людей, которые окажутся в полном моем распоряжении. Люди, обреченные на... Ну неужели в окрестной вселенной именно сейчас не возникнет ни одной нужной мне ситуации?

После этих слов Мастера наступила тишина; безмолвие и неподвижность, исполненные, однако, неощутимых процессов.

— Вглядишься, Фермер, — сказал после паузы Мастер. — Что-то намечается. Видишь? Взгляни в четвертое пространство.

— Только что там ничего не было.

— Ты не всмотрелся вглубь. Они были именно там. Чей-то кораблик, утлый, примитивный челнок, на котором кто-то отважился пуститься в океан, еще не изведав ужаса бурь. Видишь — они поднимаются из глубины. Хотят выйти в третье пространство.

— Вижу. Там люди?

— Да.

— Кто-нибудь из твоих?

— Разве мои станут пользоваться такими кораблями?

— Значит, просто люди из цивилизации ниже среднего уровня. И ты думаешь, они сразу смогут тебе пригодиться? Я не знал за тобой торопливости, Мастер. Сколько времени ты обычно готовишь эмиссара?

— Сейчас крайняя ситуация. В любом случае придется слать неподготовленного. И для этого, я думаю, ничего лучшего нам не найти. Потому что люди, пускающиеся на такой скорлупе из пространства в пространство, должны чего-то стоять! Ну хоть один, хоть двое из них...

— Пусть так. Но уверен ли ты, что они окажутся в моем распоряжении?

— Стоит им возникнуть в этом пространстве, как Перезаконие захлестнет их. Вспышка — и все. Не может быть, чтобы на их корабле не было никаких сверхтяжелых металлов.

Фермер усмехнулся.

— Спасать одну дичающую цивилизацию при помощи другой, еще полудикой... Воистину ты мастер — мастер парадоксов.

— Полудикая цивилизация — так ли это плохо? Эти люди не стесняются в чувствах. Посмотри, посмотри на них, Фермер: каков заряд Тепла!

— Обычное следствие облегчения: оказавшись вновь в своем естественном пространстве, люди радуются.

— Нет, Фермер, на сей раз ты неправ. Тепла куда больше, да и оттенок его иной. Позволь мне вслушаться... — Он не разрешения спрашивал, они были независимы друг от друга, Фермер этой группы цивилизаций одного уровня и Мастер — эмиссар цивилизации высшей, наблюдатель и соратник. И вовсе они не враждовали, как думают порой те, кто что-то слышал о них, — просто мир они видят каждый по-своему, и это закономерно и естественно. Мастеру не нужно было разрешение, но такова была форма вежливости. Он вслушался в то, чего не услышал бы ни один человек, стой он рядом. Фермер последовал его примеру, и вскоре оба они переглянулись радостно и тревожно:

— Там твой человек, Мастер! Откуда? Ты ведь говорил...

— Да, мой. Прекрасно! Это удача. Я узнал его. Он был наблюдателем по группе маленьких островных цивилизаций низшего и ниже среднего уровня. И вот почему-то возвращается. Постой...

— Теперь совсем хорошо видно, — сказал Фермер.

— Знаешь, я, пожалуй, ошибся. Им сейчас не грозит ничто. Но это уже не так важно. Своего человека я могу использовать в любом случае.

— Им больше не грозит взрыв?

— Посмотри, каким облаком Тепла окружены они! Тепло нейтрализует действие холодной волны вокруг их корабля. И они спокойно пролетят. Пусть летят с миром. Я сейчас вызову моего эмиссара, дальше им придется обходиться без него.

Мастер сосредоточился. Потом улыбка его погасла.

— Ты обеспокоен? — спросил Фермер.

— Оказывается, это не так просто. Там два источника Тепла. Два человека. И один из них — мой эмиссар. Забрать его сейчас — значит, погасить Тепло и обречь их...

— Я понимаю, Мастер. Но зато, если послать их вдвоем...

— Ты прав, Фермер, ты прав...

— Трогательно, — сказал Фермер, улыбаясь. — И прекрасно. Порадуемся за них, Мастер, и за весь мир, как полагается в таких случаях. Это хороший обычай. Но почему ты загрустил?

— Это — иное, Фермер. Только мое. Разве мы с тобой — не люди, и не имеем права...

— Не надо более, Мастер. Я понял. Что делать? Но может быть, в таком случае не надо посылать...

— Разве ты, Фермер, не посылаешь в опасность тех, кого любишь? Но довольно об этом. Что же мне делать с ними? Пока они оба там, корабль неуязвим, и я не могу распоряжаться этими людьми. Стоит мне отозвать эмиссара, как они взорвутся. Тогда со всеми остальными будет много возни...

— Я помогу тебе, Мастер. Вдвоем мы как-нибудь справимся.

— Благодарю тебя. Будем наготове. Это произойдет сейчас.

\* \* \*

Выход прошел нормально. Капитан Ульдемир, откинувшись на спинку кресла и смахнув ладонью пот со лба (все же никак нельзя было приучить себя не волноваться в узловые моменты рейса, как капитан ни старался), проговорил в микрофон обычные слова бла-

годарности экипажу — за то, что каждый на своем месте выполнил свой долг. Слова были обычными, а вот интонация — не очень: чувство переполняло Ульдемира, и часть его невольно перелилась в речь, так что каждый на корабле почувствовал это — а капитану хотелось лишь, чтобы его чувство ощутила Астролида (странные имена давали людям в ту эпоху; Ульдемиру они казались чрезмерно красивыми, но сейчас ничто не было бы для него чересчур красиво), — почувствовала и поняла, как он благодарен ей и полон ею, и даже только что не свой долг выполнял он за пультом, но служил ей, и поэтому все прошло так хорошо, без обычных и почти неизбежных маленьких заминок и несовпадений, случающихся у машины, а у людей и подавно.

В соседнем кресле Уве-Йорген ухмыльнулся. Он явно припрятал камешек за пазухой.

— Короткую память раньше называли девичьей, капитан, — сказал он, не поворачивая горбоносого лица. — Не следует ли нам отныне именовать ее капитанской?

Ульдемир с минуту раздумывал. Но обижаться не хотелось. Со стороны все кажется другим. Короткая память? Ерунда. Если человек годами остается одиноким, то вовсе не потому, что у него хорошая память и он не в силах забыть кого-то. Тут не память, милый мой Рыцарь, — подумал он. — Тут судьба. А на судьбу, как и на начальство, не жалуются, даже когда есть повод. Я же могу только благодарить ее.

— Уве, — сказал он. — Насчет памяти мы подискутируем в свое время и в своем месте, хотя мысль твоя несомненно глубока и интересна. А сейчас — не приглашишь ли всех в салон?

— Вышли мы так гладко, что, право же, стоит отметить, — охотно согласился Уве-Йорген: солдаты падки на зрелища и развлечения. — И глоток хорошего мумма нам не помешает («Господи боже, где мумм и где то время!» — мелькнуло в мыслях пилота, но он не позволил памяти продолжить).

— Приходи и ты, — сказал Ульдемир. — Пространство такое спокойное — хоть автоматы выключай.

Уве-Йорген шевельнул уголками губ, свидетельствуя, что шутку об автоматах понял именно как шутку.

— Есть присутствовать в салоне.

— Иди. Я чуть позже.

Ульдемир остался один. Зачем? Сейчас он ее увидит.

Увидит впервые — так. Раньше, как члена экипажа, женщину с нынешней Земли, и поэтому отдаленную и непонятную, он видел ее много раз. Каждый день полета. Сейчас все стало иначе. И ему было немного страшно, потому что он знал — и не знал, как взглянет она на него, как отнесется ко всему, что случилось; может быть, для нее ничего особенного и не случилось и, возможно, — стало даже хуже, чем было раньше; кто может понять женщину до конца, кроме другой женщины? Волнение охватило капитана, и захотелось немного побыть одному, чтобы собраться с духом.

Как это у нее получилось? Просто вошла. Перед тем не было ничего: ни слова, ни движения, ни взгляда. Ни вчера и никогда раньше. Да и сам он старался не очень смотреть на нее: капитан выше всех, в сложном уравнении экипажа он вынесен за скобки, и слабости — не его привилегия. И все же вчера вечером, готовясь ко сну в своей каюте, он вдруг четко понял, что ждет ее, как если бы просил о свидании и получил согласие. И не успел еще он удивиться неожиданной определенности и уверенности своего желания, как створки двери разъехались — и вошла она...

На этом он оборвал воспоминания. Перед тем как выйти из ходовой рубки, еще раз оглядел экраны, приборы. Все было в наилучшем порядке. Шесть главных реакторов ровно дышали. В космосе стоял магнитный, гравитационный, радиационный штиль. Прекрасно. И от этого благополучия то, что сейчас предстояло, показалось ему еще прекраснее.

Он вошел в салон, где уже собрались все. И с необычной для себя сентиментальностью капитан подумал вдруг, окидывая людей таким же взглядом, каким обегал он приборы, слева направо, по очереди, — подумал вдруг, как дороги, как родны ему они, все вместе и каждый в отдельности.

И те, с кем он уже совершил один непростой рейс — экспедицию на планету Даль: холодный и вместе дружелюбный кадровый солдат Уве-Йорген, с которым судьба в свое время могла свести капитана на фронте Второй мировой, по разные его стороны — а свела в иную эпоху в одном экипаже; и Георгий, сын Лакедемона и патриот его, один из трехсот, загородивших путь персам; и Гибкая Рука, чье лицо чуть побледнело в космосе, но все же оставалось достаточно красноватым,

чтобы с уверенностью определить его происхождение — индеец, по-прежнему непроницаемый и малоречивый; и Питек, человек из густого тумана первобытности, наивный и мудрый одновременно.

Но были тут, кроме этих четверых, и другие люди. И к ним Ульдемир тоже успел привыкнуть и полюбить их.

Четверо ученых. Правда, ни Шувалова, ни Аверова среди них не оказалось. Старику еще одна экспедиция была бы не по силам; зато на Земле он руководил ее снаряжением. Аверову лететь не хотелось. Да этот рейс был и не совсем по его специальности.

И еще один человек — новый член экипажа. Вместо Иеромонаха, чьи останки покоились, надо полагать, в тучной почве планеты Даль.

Кстати, перед отлетом оттуда экипаж решил перенести прах в другое место. Не пристало их товарищу лежать у большой дороги. Место, где Иеромонах был похоронен после битвы, — под таким названием тот инцидент войдет, очевидно, в историю планеты Даль, — было обозначено точно. Однако останков они не нашли. Никто так и не понял, кому и зачем они понадобились. Культа мертвых на планете вроде бы не существовало. Друзья погрузили, поклонились пустой могиле и улетели.

Вместо выбывшего им дали на Земле другого инженера-электроника. Женщину с непривычным и звучным именем Астролида.

Впервые увидев ее, Ульдемир почему-то вспомнил Анну, хотя ничего общего между двумя женщинами не было. Вспомнил так четко, как если бы она лишь секунду назад стояла перед его глазами.

А ведь он даже не мог точно сказать, когда и где видел ее в последний раз. Она исчезла, и все. Не сочла. И когда Даль провожала их, ее среди провожавших не было.

Наверное, Анна повзрослела, и Ульдемир больше не был ей нужен. Ульдемир — это была романтика, пришел извне, загадка, тайна. А потом ей стало нужно что-то проще и прочнее. Кто осудит?

Не Ульдемир.

Астролиду он встретил сдержанно. Он был против женщин в рейсе. То было не суеверие, хотя и без него, наверное, не обошлось: капитан как-никак родился в двадцатом веке, когда где — знание, а где — суеверие



было еще не вполне ясно, и порою одно принимали за другое. Капитан был против женщин на борту из трезвого расчета. Мужики сами по себе — нормальный народ. Так думал Ульдемир. Но стоит появиться женщине — и инстинкты начинают подавлять рассудок. Так люди устроены. Природа.

Но Астролида была еще и современной женщиной. А их Ульдемир просто побаивался. Тут был не двадцатый век и не планета Даль. Насколько он мог судить по своим кратковременным пребываниям на нынешней Земле, современная женщина, скажем, могла появиться перед вами почти или даже совсем обнаженной. Ничего не скажешь, это было красиво: себя они держали в порядке. Но не дай бог сделать из этого какой-то далеко идущий вывод — если, допустим, вы пришли в гости, и хозяйка приняла вас таким образом; в Ульдемировы времена такие выводы не заставили бы себя ждать. А тут невежа вмиг бы оказался на полу, и никто даже не помог бы ему подняться. Женщины просто стали богинями, а богиням неведомы ни страх, ни стеснение, богиня и нагая остается богиней. И в то же время порой от словечка, казавшегося капитану по нормам его времени ну совершенно невинным, такие и в книгах печатали (в газетах, правда, избегали), женщина могла прийти в неистовство или поссориться очень надолго. Однако корабль есть корабль, рейс есть рейс, и — полагал капитан Ульдемир — слова в рейсе порой вылетают не совсем те, что на приеме.

Вот почему он встретил Астролиду настороженно. Но постепенно привык. Никаких номеров она не выкидывала. На мужиков обращала не больше внимания, чем требовала дружеская вежливость. И работала хорошо, без скидок. Это он понял на первых же тренировках. И покорился. Потом она стала ему даже нравиться. Не более того. И то — издали. Может быть, потому что не его тип красоты представляла она, хотя красивой была несомненно. И потому еще, конечно, что дистанцию, разделявшую их на корабле, ни он, ни она сокращать были не вправе.

Так он думал. И думал еще и тогда, когда вдруг, внезапно, понял, что без нее — не может. Это обрушилось на него словно из засады, так что он лишь зубами скрипнул — из злости на самого себя, на бессилие, на невозможность приказать себе самому: «Отставить!»

Потом случилось то, что случилось.

И теперь, войдя в салон и оглядев каждого по очереди, он, стараясь не спешить, добрался взглядом и до того места, где следовало быть ей.

Это было как обнаженный провод. Словно у него вдруг посыпались искры из глаз. Ее не было.

Ульдемир почувствовал, как охватил его ужас. Невываживаемое для него состояние.

Она не сочла нужным прийти. Не хотела видеть его. Избегала. То, что было — ошибка. Причуда. Насмешка. Пустяк.

Зачем тогда жить?

Мир почернел. В душе сделалось зябко. Холодно. Морозно. Вместо той радости, что наполняла ее только что, — мороз.

Всего на несколько мгновений. Но этого хватило...

Капитан забыл, что женщинам свойственно опаздывать. А уж богиням — тем более.

Но тут она вошла наконец. И он посмотрел на нее, чтобы сразу все понять.

Люди что-то весело говорили друг другу. Уве разливал по бокалам пенящийся сок. А они смотрели друг на друга. Секунду. Вторую.

Потом взгляд ее словно ушел куда-то. То ли в сторону от капитана, то ли — сквозь него.

Лицо женщины странно напряглось.

Ульдемир оглянулся; нет, позади него никто не стоял, да и некому было: все на глазах. А ведь именно таким было ее выражение, словно кто-то подкрался к тебе сзади, размахнулся — ножом или камнем, — и она увидела это и хочет крикнуть и взмахнуть рукой — и не может: сковали оцепенение и страх.

Он нерешительно улыбнулся, не понимая, что же ему сейчас: то ли окликнуть ее, то ли обидеться?

Он не успел ни того, ни другого. Уве-Йорген раздавал бокалы, другие люди брали их со стола сами. Астролида вдруг снова увидела Ульдемира: он явственно ощутил прикосновение ее взгляда. И хотел было улыбнуться: уголки рта поползли в стороны.

— Ульдемир! — сказала она громко. Именно «Ульдемир», а не «капитан», и все вдруг умолкли и повернули головы к ней — так напряженно и сильно прозвучал ее голос. — Не бойся! Все будет хорошо!

Ни удивиться, ни рассердиться, ни ответить больше

не осталось времени. Потому что чем-то неопределимым в своем существе капитан вдруг почувствовал, понял постиг: плохо. Очень плохо. Ох, как же плохо, страшно. невыносимо, небывало...

\* \* \*

Вообще стараются корабли зря не перетяжелять. Но обойтись без тяжелых металлов не удалось и на этой машине. Экраны главных, ходовых ее реакторов были из свинца. А малый, бытовой реактор работал по старинке на обогащенном уране. Без лишних сложностей. Свинца вдруг не стало. И урана тоже. Как если бы оно никогда не существовало в природе.

Но ничто не исчезает без следа. Каждый атом урана распался. И каждый атом свинца — тоже. На те, что полегче.

А при этом, как известно, выделяется энергия. И немалая.

Существовал только что корабль. В нем были люди. У людей — мысли, надежды, планы, ожидания, чувства. Любовь.

И вот — нет уже ничего. Вспыхнуло — и погасло. Словно светлячок мигнул, пролетая. Или искорка. И вроде бы даже ничто не изменилось в окружавшем их неуютном мире.

Только кварки разлетелись в разные стороны. Жили в одном атоме — и вот летят, один к галактике в Андромеде, другой к Магеллановым облакам. Но кварки родства не помнят.

Суета сует. И всяческая суета.

\* \* \*

Впрочем, все это присказка.

## Глава вторая

Круглый, бесконечно уходящий туннель мерцал, пореливался, светился радужно, радостно. И надо было идти, торопиться, потому что непонятное, но прекрасное, небывалое ожидало впереди, кто-то был там, родной до

боли, до слезного колотья в глазах, и зовущие голоса, неопознаваемые, но уверенно родные, накладывались один на другой, перебивая, обнимая. «Иди, — манили, — иди, иди...»

И он шел, спеша настичь их, познать, слиться воедино, исчезнуть, раствориться в счастье. Не надо было больше прилагать никаких усилий для движения: его уже несло что-то, все быстрее, стремительнее, так, что кружилась голова, в ушах звенело. Он лишь протягивал руки с безмолвной просьбой: не уходите, обождите, возьмите меня! И его, как бы услышав, утешали: возьмем, ты наш, возьмем, ты только торопись, не отставай...

Потом другие голоса стали вторгаться, перебивая эти, родные. Новые голоса были чужими, но тоже дружескими, не страшными; однако что-то не привлекало в них, что-то не хотело с ними согласиться. Два их было, два голоса, и они твердили — четко, доступно — одно и то же: «Вставай. Вставай. Соберись. Заставь себя. Вставай. Мы с тобой. Мы держим тебя. Вставай. Не бойся. Все будет хорошо. Вставай!»

Их не хотелось слушать, эти резкие голоса, не хотелось с ними соглашаться: они требовали усилия, напряжения, изменения, а к первым голосам его несло по мерцавшему туннелю легко, без затраты сил, без отвлечения. И все же он невольно вслушивался, потому что где-то трепыхалось воспоминание, смутное представление о том, что всю жизнь свою он только и делал, что собирался с силами, напрягался и вставал, и было в этом что-то хорошее и нужное. И он невольно прислушивался к тем, другим голосам, настойчивым, неотвязным; и стоило ему вслушаться, как они начинали звучать сильнее, а те, первые, ласковые, ослабевали; и все сильнее становилась — сначала смутная догадка, а потом и уверенность, что надо, необходимо что-то сделать самому, какое-то усилие, громадное, величайшее — и ответить другим голосам, и совершить то, чего они от него требовали, и оказаться рядом, не слиться, нет, а именно встать рядом, оставаясь самим собой. Кем-то он ведь был. Он не знал, не помнил сейчас — кем, и от этого становилось страшно; но кем-то он, точно, был, и теперь стало вдруг очень нужно вспомнить — кем же. А для этого имелся только один способ: сделать то, чего от него хотели. Встать.

Он уже хотел было, не очень хорошо, впрочем,

соображая: как же и куда он встанет, если и так идет по туннелю, легко, невесомо идет... Вдруг что-то необычайное обрушилось на него, лишая свободы его движения, стискивая его, прижимая к чему-то. Пронзительная боль вспыхнула. Голоса гремели, усилившись необычайно: «Встань и иди!». Теперь налившая его тяжесть ясно показала, что он лежит, занимая определенное положение в пространстве. Лежит в туннеле? Но мерцавшие стены размывались, раздвигались, исчезали неразлично, а другой свет — возникал, бил сквозь закрытые, как оказалось, веки — сильный, белый, безжалостный, неровный, пятнистый какой-то, свет извне, свет мира. Когда-то уже было так. Когда рождался?.. И он, свет этот, тоже, хотя и по-своему, не голосом, диктовал, приказывал: «Встань. Встань. Иди».

\* \* \*

Тогда он медленно, всеми силами, словно штангу поднимая, открыл глаза.

\* \* \*

То, что он увидел, было рядом на расстоянии метров до двух; дальше все расплывалось, раскачивалось, перемежалось, словно разные краски были брошены в воду и медленно распространялись в ней, перемешиваясь. Тут, рядом, был человек — один человек; и какое-то ощущение недавнего, сиюминутного присутствия второго, но этого другого уже не было видно — он удалился, наверное, то ли совсем, то ли за пределы двухметрового круга, четко очерченного круга видимости. Тот человек, который находился здесь, стоял рядом и сверху вниз смотрел на лежащего, а тот на стоящего — снизу вверх; встретился глазами и снова закрыл свои, потому что смотреть вверх было утомительно. Закрыл лишь на миг, правда: что-то толкнуло изнутри и приказало: «Открой». Он послушно открыл. Стоявший по-прежнему глядел на него, чуть улыбаясь — не насмешливо, а доброжелательно и удовлетворенно, как смотрит мастер на законченный свой труд. На этот раз лежащий, обходя встречный взгляд, прикоснулся глазами к чужому лицу — худому, четкому, немолодому, но полному силы и воли, так что определение «старый» тут никак не подошло бы. Слова быстро возвращались в

память, и теперь лежавший знал, что такое «молодой», что — «старый», и многие другие слова и их значения.

— Сядь, — сказал стоявший сильный человек. — Ты можешь. Достанет сил. Не прислушивайся к сомнениям. Сядь. Ты забыл немного, как это делается. Но вспомни. Садись...

Забыл, и в самом деле. И неимоверная, припечатывающая его к ложу сила тоже мешала. Он хотел было попросить, чтобы тяжесть убрали. Но вдруг как-то сразу понял, что тяжесть эта — он сам, его тело, плоть и кровь, мускулы и кости. А как только лежавший понял, что это — тело, то сразу вспомнил и как действуют им, как садятся и даже, пожалуй, как встают. Он захотел сесть — и вдруг на самом деле приподнялся и сел и, уже непроизвольно, улыбнулся чуть виновато, словно смущаясь своей слабости.

— Хорошо, — сказал стоявший. — У тебя все хорошо. Кто ты?

— Я? — Вопрос немного удивил его, тут все было вроде бы ясно. — Я — это я.

— Ну а ты — кто такой?

Да, правильно, был в этом вопросе некоторый смысл. Он ведь должен был кем-то быть, иначе все получалось слишком неопределенно.

— Вспомнил! Я — Ульдемир.

И сразу же все встало на свои места. Он рывком сбросил ноги на пол. Мир колыхнулся, но устоял. Ульдемир огляделся, нелегко, как чужую, поворачивая голову.

— Где я? Что было? И где... все?

Маленькая заминка произошла в сознании, когда возникал этот третий вопрос. Сначала получалось по-другому: где она? И лишь что-то непонятное заставило его сперва спросить обо всех.

Стоявший кивнул, как учитель, подтверждающий правильность ответа.

— Можешь звать меня Мастером.

Это было сейчас не так-то и важно для Ульдемира, и он только машинально кивнул.

— Что с нами случилось?

— Катастрофа.

Слово больно ужалило Ульдемира, вкус его был горько-соленым. Слово источало стыд и обиду. С ним не хотелось соглашаться.

— У нас все было в порядке!  
— Вы ни в чем не виноваты.  
— Пространство было чистым и спокойным!  
— Да. Такое пространство, какое вы способны воспринимать.

Это могло показаться вызовом — или приглашением к вопросам. Но Ульдемир не стал отвлекаться.

— Корабль был совершенно исправен!

— Справедливо, Ульдемир.

— Что же произошло?

— То, что не зависело от вас. Так ли это важно? — Мастер подумал. — Некогда вы не знали о микробах. Воздух казался чистым. Но люди заболели. И гибли.

— Как нас спасли? Вблизи ведь никого не было...

— Это оказалось нелегко. Однако вот ты сидишь и говоришь со мной.

— Я. А другие?

— С ними тоже благополучно.

— Все живы?

Мастер помолчал, словно раздумывая.

— Ты увидишь.

— Я спрашиваю: все?

— Я ведь не знаю, сколько вас было.

Да, конечно; откуда ему знать? Кстати, а кто он вообще такой, этот Мастер? Откуда взялся? Что это за мир? Как они успели?.. Вопросы нахлынули вдруг, словно плотина рухнула под мягким и неодолимым напором. Но это — ладно, сейчас это не самое главное.

— Сколько нас было?

Он стал считать, вспоминая имена — они выскакивали в памяти в нужном порядке, словно кто-то нажимал на клавиши. Уве-Йорген. Георгий. Рука. Питек. Астролида... Как-то получилось, что она назвалась тогда, когда подошла ее очередь по судовой роли, хотя она-то была в памяти все время; но — она, а не имя. Имя всплыло сейчас. Значит, пять. И четверо ученых. Девять? Так получалось. Но было в цифре какое-то несоответствие. Незавершенность. Ульдемир сосредоточился, но не вспомнил. Наверное, все же девять.

— Девять человек.

— Значит, все.

Ульдемир перевел дыхание.

— Все живы?

— Да. Хотя, — Мастер предварил новый вопрос, — увидеться вы сможете не сразу. Ты еще слаб, да и они тоже. Немного придете в себя. Тогда.

— Спасибо, Мастер.

— У нас говорят: Тепла тебе.

— Вот как? Забавно. Наверное, у вас стоят холода?.. Тепла тебе, Мастер. Вы оказались рядом в самое время. Тепла тебе. Так где же мы? На корабле? Это ваш корабль? Я и правда еще не пришел в себя как следует: тебя вижу четко, а дальше какой-то туман. Откуда вы? Куда летите? Экспедиция? И... — Ульдемир вдруг запнулся. — Как можем мы понимать друг друга? Вы тоже — потомки Земли? Древних переселенцев? Конечно же! Ты — человек, как я, как все мы...

— Да, Ульдемир, все мы — люди. Потомки ли мы Земли? Вряд ли. Скорее, могло быть наоборот... Но все мы — люди, и поэтому понимаем друг друга.

— Но ты говоришь на языке Земли. Именно говоришь!

— А хочешь — поговорим по-русски?

— Откуда ты знаешь?..

Мастер снова улыбнулся — на этот раз чуть насмешливо.

— У меня способности к языкам.

Это вдруг показалось смешным Ульдемиру, страшно смешным, ну просто до невозможности! Он захохотал — все сильнее, резче, громче, не мог уже остановиться, это истерика была, смехом исходил, исторгался из Ульдемира ужас, тяжесть, оупляющая непостижимость случившегося... Мастер ждал, глядя на него, пока Ульдемир не перестал наконец смеяться, утомившись.

— Можешь снова лечь. Набирайся сил. Потом, когда отдохнешь, проверь все.

— Что проверить?

— Себя самого.

— Опять смешно. Что мне в себе проверять? Биографию? Чистоту помыслов?

— Самого себя. Все ли хорошо и правильно. Все ли действует так, как надо.

— Э...

— Ты полагаешь, что вот таким и был после взрыва? Целым и невредимым?

Ульдемир медленно поднял перед собой ладонь и долго, серьезно разглядывал ее. Потом поднял левую.



— Вот оно что... Да, понимаю. Был взрыв. Что взорвалось?

— Все.

— Корабль погиб?

— Излучение и пыль, вот что осталось от него.

— Как же мы?.. Как вы?..

— Сейчас это не важно. Просто мы многое умеем.

— Вы доставите нас на Землю? Вам нечего бояться. Мы — мирная и великая цивилизация. И от контакта с нами вы только выиграете. Я не могу объяснить подробно, но поговори с нашими учеными. Они все расскажут. Ты назвался мастером. Значит, хорошо разберешься в достоинствах нашей цивилизации. Нет, вам просто повезло, что вы встретили нас. Нам, конечно, тоже... Прости, я болтаю бессвязно — кружится голова...

— Лежи. Отдыхай. У нас будет, я надеюсь, время, чтобы поговорить о разных вещах. О Земле. О тебе. Обо всем, что может интересовать тебя и меня.

— Лучше скажи — вас и нас. Ты ведь не одиночка, и я тоже.

— На это трудно ответить сразу.

— Знаешь, Мастер, мне правда лучше еще полежать.

— Хорошо. Я приду, когда будет нужно.

— Я позову тогда. Или приходи сам, когда захочешь.

— Когда понадобится. А ты отдохни, подкрепись. Сможешь выйти, походить. Это полезно.

— Я не вижу, куда выйти, что вокруг... Туман.

— Увидишь, когда придет время.

— Мне постоянно чудятся в твоих словах какие-то загадки. Я не люблю загадок, Мастер.

— Никаких загадок нет. Все просто. Все очень просто. Но понять простоту порой бывает сложно. — На лице Мастера промелькнула вдруг озорная улыбка. — Помнишь, Ульдемир?

«Но мы пощажены не будем,  
Когда ее не утаим...»

— Мастер! Ты... Это шутка! Нас спасли свои!

— Разве можно прерывать в таком месте, Ульдемир?

«Она всего нужнее людям,  
Но сложное — понятней им!»

Ульдемир хотел сказать еще что-то. Но в тех пределах, в каких ему пока дано было видеть, уже никого не осталось, и он закрыл глаза, ощущая крайнюю усталость.

\* \* \*

Он задремал. Но что-то не давало лежать спокойно. Ощущение какой-то недоговоренности. Недостаточности. Незавершенности. Он не мог понять, в чем причина, и тяжело переворачивался с боку на бок. Потом забылся. Наверное, что-то снилось ему. Но что — он потом так и не вспомнил. А жаль. Потому что снилось что-то хорошее. Это он понял, пробудившись в отличном настроении. Но стоило ему проснуться, как то самое ощущение незавершенности вновь овладело им, и никак не удавалось подавить это ощущение, отвязаться от него.

Чтобы отвлечься, Ульдемир стал знакомиться с окружающим его миром. Хотя бы в пределах того круга, что был очерчен для его восприятия. Кем и как очерчен, было непонятно, однако это уже вопрос другой. Ульдемир стал оглядываться и общупываться, и чем дальше, тем меньше, казалось ему, понимал хоть что-то в окружающем.

Все, что он видел и ощущал вокруг себя, было таким же, какое он привык видеть и ощущать с тех пор, когда, выдернутый из своего времени, как кустик рассады — с грядки, и пересаженный на другую грядку, в другой огород, в иное время, оказался на Земле новой эпохи. И ложе, и покрывала, или для него по старинке простыни, и одеяло, и белье на нем самом — все было вроде бы таким же, знакомым и даже не вовсе новым, а бывшим уже в употреблении. Так воспринималось оно взглядом. Но когда Ульдемир стал всматриваться повнимательнее, пробовать на ощупь, а порой даже и на зуб кое-что, ощущение повседневной знакомости исчезало, и возникало совсем другое: впечатление чуждости и даже какой-то враждебности. Простыни были — не полотно, не лен и не синтетика даже, какая была Ульдемиру знакома, они лишь казались ткаными, на самом деле то был лишь мелкий рельеф, как у клеенки, но в то же время были они мягкими, теплыми, хорошо дышали, как и все прочее белье, но все время казались чуть заряженными, так что порой возникало чувство,

что они живые, и тепло их, как тепло другого человека — это тепло жизни. Но это не радовало, а напротив, немного пугало и было неприятным, как если бы все время кто-то присутствовал рядом и наблюдал за ним, а если он ложился и накрывался, то не мог избавиться от чувства, что доставляет неудобство тем, на кого ложился и кем накрывался. Относилось это и к ложу, формой точно копировавшему корабельное, что стояло у него в каюте (и боль на миг схватила сердце, когда он вспомнил о корабле), — но только формой, а сделано оно было тоже из непонятного материала, теплого и как бы живого; относилось это и к столику, что оказался вдруг в поле его зрения, и к стульям вокруг него. Одновременно со столом возникло вдруг и множество запахов, какие доносятся порой из хорошо налаженной кухни, и Ульдемир внезапно понял, что страшно голоден и, махнув рукой на все остальное, уселся за стол, даже не подумав, что следовало бы, пожалуй, умыться. Впрочем, ощущение у него было такое, словно он только что из ванны, и потри кожу ладонью — она заскрипит.

Он так и сделал, кстати; потому что страшная мысль ударила вдруг его: а что, если и сам он — лишь видимость человека теперь, а на самом деле тоже какой-нибудь полимер или что там еще? Однако тут же от сердца отлегло: нет, человеком он был, человеком до кончиков ногтей, до последнего волоска на коже. И именно самим собой: маленький шрам на указательном пальце левой руки, след нарыва, оставшийся что-то, помнится, с шестилетнего возраста, был тут как тут; не обнаружив поблизости зеркала, Ульдемир слегка прикоснулся пальцами к носу и нащупал знакомое искривление, память о юношеском увлечении боксом, и даже обиделся: те, кто латал его, могли бы заодно и это поправить, облагородить облик, он не стал бы предъявлять претензий. Латать — именно так он и подумал, это легко укладывалось в сознание, хотя если бы он всерьез задумался, то понял бы, что после атомного взрыва латать бывает нечего; впрочем, о характере взрыва он знал сейчас не больше, чем о его причинах.

На столе вкусно пахло жареное мясо, лежала зелень, свежий хлеб; еще более сильный и нужный аромат исходила большая (как он привык) чашка черного кофе с лимоном. Лимон почему-то рассмешил и умилил его.

Не просто кофе, а с лимоном, вот тебе! Что называется, знай наших, или — фирма не жалеет затрат!

Все укрепляясь в мысли, что попали они все-таки к землянам, родным или, в крайнем случае, двоюродным (кофе с лимоном, ты смотри, а?), Ульдемир все же не сразу решился воткнуть в мясо вилку и прикоснуться ножом. Нелепая мысль, что оно тоже, как и простыни, живое, неожиданно смутила его, и если бы жаркое вдруг взвизгнуло от боли и соскочило с тарелки, это, пожалуй, испугало бы капитана, но не удивило. Однако никто не визжал и не прыгал, и ощущение подлинности возникло и уже не оставляло его до последнего глотка кофе.

Еда утомила; он закрыл глаза и откинулся на спинку стула, но решил, что ложиться больше не будет, а просто отдохнет так, а потом сразу попытается найти выход из этой — из этого — из того, где он находился сейчас, безразлично, дом это, корабельная каюта или еще что-то другое. И лишь постаравшись самостоятельно понять максимум возможного, потребовать приема у тех, кто командовал этим «чем-то», и всерьез договориться о быстрейшем, по возможности, возвращении на Землю и об установлении взаимовыгодных контактов между цивилизациями, находящимися, как ему казалось, примерно на одной и той же стадии развития (пусть эти и были, видимо, чуть впереди) и способными, следовательно, чем-то обогатить друг друга. Это была большая удача — встретиться с такой цивилизацией, и Ульдемир полагал, что она в значительной мере облегчит досаду Земли из-за неуспеха экспедиции и потери корабля и уменьшит его вину, которой он не мог не ощущать, хотя и не знал, в чем она заключается или могла заключаться; а может быть, и поспособствует, в частности, решению тех энергетических проблем, ради которых корабль и вышел в пространство. Но прежде всего радовало его то, что спасены были все люди и, следовательно, самой большой и острой боли Земля не ощутит.

Об этом он медленно размышлял, пока не почувствовал, что сил у него стало вроде бы больше. Тогда он встал, огляделся в своем тесном круге, за пределами которого по-прежнему не различал ничего, и, не обнаружив нового, решил, что пойдет — ну хотя бы в направлении от ложа мимо стола — по прямой, пока не

наткнется на какую-то преграду, переборку, а тогда двинется вдоль нее и рано или поздно обнаружит выход. Выхода не могло не быть: Мастер не говорил, что Ульдемир должен оставаться на месте, напротив, советовал прогуляться и оглядеться.

Ульдемир встал. Одежда висела на спинке другого стула так, как он сам вешал ее обычно — его повседневная корабельная одежда. Она тоже была чужой, но к этому он уже начал привыкать. Ульдемир оделся, обулся, пошарил по карманам, — там нашлось все, чему полагалось находиться, — и решительно двинулся вперед, собираясь ничем больше не отвлекаться и не строить гипотез, пока не увидит чего-то нового, что даст материал для размышлений. Он сделал несколько шагов.

\* \* \*

Он сделал всего несколько шагов, и вдруг все изменилось вокруг него, как если бы что-то рухнуло, развеялось, растаяло; исчезла дымка, многоцветный туман, и стало видно далеко, далеко. И эта внезапная ясность оказалась столь неожиданной, что Ульдемир остановился, как если бы перед ним раскрылась бездна; остановился и стал смотреть, пытаясь понять, что же это было и как это следовало оценивать.

Это не могло быть кораблем. Не было ни малейшего признака того ощущения замкнутости пространства, какое не покидало его на своем корабле, хотя капитан и привык к этому ощущению, как к необходимой части жизни. Конечно, и на корабле были «сады памяти», были и просто обширные помещения с имитацией бескрайнего земного простора, где живые деревья незаметно переходили в изображенную и подсвеченную перспективу; но там всегда оставалось хотя бы чисто подсознательное ощущение ненастоящести и ограниченности этого видимого якобы простора.

А сейчас он стоял на обширной открытой веранде, залитой ярким золотистым светом, исходящим отовсюду и не дававшим теней. Дом — двухэтажный коттедж, вполне земной и даже не современной, а давней архитектуры, с крутой высокой (капитан запрокинул голову, чтобы увидеть это) крышей, с балкончиками наверху и башенками стоял на пригорке, и поросший яркой муравой луг убегал от него, пересеченный неширокой

прозрачной, медленно струящейся речкой, окаймленной невысокими кустами, — убегал к кромке леса, видневшегося вдаль и как бы заключающего луг с речкой и домом в раму. Хотя дом, как было сказано, и возвышался над лугом, но лес у горизонта был, казалось, выше, как если бы луг был дном то ли чаши, то ли блюда — и непонятно было, как речка в дальнейшем течении могла взбираться вверх. Впрочем, может быть, она и не взбиралась, а впадала в какое-то маленькое и невидимое отсюда озерцо. Выше было небо, густое, южное, цвета индиго, в котором привычный глаз искал необходимое для завершения и полной убедительности картины солнце — и не находил его, хотя свет был июньский, утренний, животворный. Был свет, и был запах, хмельной запах летнего утра, солнца и меда, и цветущей травы, и теплого тела. Ульдемир постоял, не моргая, боясь, что от малейшего движения век все это исчезнет и останется лишь непрозрачная дымка и двухметровый круг; наконец глаза, не вытерпев яркости, моргнули — все осталось, ничто не обмануло, не подвело. Прожужжала пчела, прошелестел ветерок, где-то перекликнулись птицы — жизнь журчала вокруг, ненавязчивая, себя не рекламирующая, занятая сама собой — жизнью, когда все происходит там, тогда и так, когда и где нужно, и никто не препятствует происходящему. Ульдемир стоял бездумно, беспроblemно, бестревожно, забыв дышать, пока легкие сами собой не заполнились до отказа воздухом и не выдохнули его чуть погодя. То был вздох не печали, но полноты чувств. Еще мгновение — и невозможно стало переносить эти чувства одному; другой человек понадобился, женщина, о которой говорило, пело, шелестело все вокруг. И — как будто дано было сегодня незамедлительно сбываться желаниям — слышались шаги на веранде, там, где она, изогнувшись, скрывалась за углом дома. Ульдемир повернулся, шагнул навстречу, заранее приподнимая руки; но то был Мастер, и руки опали.

Мастер подошел, остановился вплотную, положил руку на плечо Ульдемира, как бы обнимая — с высоты его роста это было легко. Странное, покалывающее тепло от ладони пришедшего проникло в тело и растеклось по нему, уничтожая последние остатки слабости, неуверенности, боязни. Дружелюбием веяло от Мастера, и стало можно спросить его, словно старого знакомого:

— Что это за чудо, Мастер? Где мы? Что за планета?

— Это Ферма, — ответил Мастер, не уточняя остального. — Не вся Ферма, конечно — она обширна, ее не охватишь взглядом; ты, во всяком случае, не сможешь. Но и это относится к ней.

— Райский угол... Мастер, я отдохнул и чувствую себя прекрасно. Спасибо... то есть Тепла тебе, хотя тепла здесь, по-моему, достаточно, а я уж ожидал, что вокруг окажутся льды... Итак, я в наилучшей форме и пора мне, думаю, встретиться с моим экипажем. Если они чувствуют себя хоть вполровину так хорошо, как я.

— А если нет?

— Тогда — тем более. Мастер, что с ними?

— Не волнуйся. Им не хуже, чем тебе.

— Тогда, прошу тебя, не станем медлить. Но... — Ульдемир замаялся, потом продолжил решительно: — Прежде чем увидеть всех, я хотел бы встретиться с... нею.

— С кем?

— С Астролидой. Ну, с женщиной. Не думай, — почему-то смутился он вдруг, — ничего такого. Просто она женщина и, может быть, хочет сказать мне что-то, что ей будет неудобно говорить при всех.

— Женщина? — Казалось, Мастер не понимал его. — Извини, но я не уразумел до конца. Разве у вас была женщина в экипаже? Или ты увидел, успел заметить какую-то здесь?

— Мастер! — проговорил Ульдемир в гневном страхе. — Ты сказал мне, что спасены все!

— Нет. Этого я не знаю. Спасено девятро, и я еще раз подтверждаю это.

— Ну?

— Это одни мужчины. Девять, включая тебя.

Ульдемир посмотрел на него, в первый миг не понимая еще. Но тут же сообразил — и руки задрожали, сердце стало раскачиваться, как колокол, и ноги перестали повиноваться.

Девять, считая и его. Но ведь он себя не считал! Девять — это без него. С ним — десять! Вот откуда то ощущение...

— И среди нас... не было женщины?

Мастер качнул головой.

— Почему так? Ну почему?..

Больше слов у Ульдемира не оказалось. И вообще ничего у него теперь не было. Потому что ничто не было нужно.

— Как же так? — смог он еще выговорить после паузы, так и не сумев понять, чем так провинился он перед жизнью, что она, уже первым ударом сбив его с ног, наносит лежащему и второй, чтобы добить окончательно. Рука Мастера крепко лежала на плече капитана; Ульдемир попытался было сбросить ее, но Мастер словно и не заметил движения.

— Ульдемир, а если бы не досчитались кого-нибудь из мужчин, разве ты горевал бы меньше?

Ульдемир по-мальчишески мотнул головой.

— Разве ты не понимаешь? Нам, мужчинам, полагается рисковать. Без этого нет полноты жизни. Такое в нас заложено. И если гибнет кто-то из нас, то, конечно, горько и обидно, но... это естественно, понимаешь? Прости, ты, похоже, думаешь, что ты старше меня (Мастер усмехнулся углом рта), но на деле я родился очень, очень давно, и, может быть, то, как я думаю, покажется тебе, всем вам старомодным — но весь мой экипаж мыслит так, потому что все мы родились во времена, когда мужчина еще был или, по крайней мере, мог быть мужчиной — хотя я застал эти времена уже на закате. И вот я или любой из нас восприняли бы гибель одного из нас как прискорбную закономерность. Но когда гибнет женщина, а мы остаемся в живых — девять здоровых мужчин...

— Ты объясняешь очень убедительно, — сказал Мастер, по-прежнему чуть усмехаясь. — Но ответь: ты любил ее? Очень?

Мальчик стесняется говорить о любви, уклоняясь то в замкнутость, то в цинизм: цена любви ему еще неизвестна. Но мужчина говорит о ней, когда нужно, хотя молчит, когда в признаниях нет нужды. И Ульдемир ответил:

— Да.

— Но ведь ты любил и раньше, верно? Только не отвечай чем-нибудь вроде того, что ты и вчера обедал или что каждая новая любовь сильнее, потому что те уже в прошлом, а эта — настоящая. Скажи кратко.

— Любил. И если бы не она, то не знал бы истинной цены любви. Но говорить об этом дальше я не хочу. Это — мое дело. Ты спас меня. Но лучше бы — ее. Вот



и все. — Ульдемир не знал, что сейчас лучше: остаться одному со своей болью или попытаться растворить ее в общении с друзьями. — Но остальных-то я могу видеть?

— Несомненно. Однако прости меня — именно сейчас у меня возникла потребность говорить о любви, и именно с тобой. Поверь мне: это не бессмысленная прихоть.

— Не вижу смысла.

— А в чем ты вообще видишь смысл? Ты, младенец в огромном мире... Не тебе знать, в чем какой смысл сокрыт. Скажи мне: что гнетет тебя? Потеря женщины? Или — потеря любви?

— Одно и то же.

— Ты противоречив. Любовь — это часть тебя. Женщина — сама по себе, она — иное существо. Ты сам признался, что любил и раньше. Следовательно, объекты любви могут меняться. А чувство в тебе остается. Слушай. Та женщина исчезла. Сожалею. Но ее больше нет. И тут я бессилен. А вот дать тебе иную любовь — эта задача не кажется мне неразрешимой.

— Пустое, Мастер. Не знаю, какие парадоксы ты сочиняешь, но меня ими не убедить. Я не хочу другой любви. Пусть Астролиды нет — я буду любить ее все равно. В памяти она жива. Нам не привыкать к тому, что самое дорогое находится далеко от нас в пространстве и времени. И пусть у нас с ней было очень немного — в нем содержалось столько всего, что хватит на остаток жизни. Спасибо за сочувствие. Но мы привыкли справляться с горем сами.

— А это вовсе не сочувствие, Ульдемир. Я корыстен. И совсем не предлагаю свою помощь задаром. Альтруизм — не мой грех.

— А если я не нуждаюсь в помощи?

— Еще как нуждаешься! Потому что, видишь ли, мне нужен ты. И не для того чтобы проводить с тобой время: у меня вечно не хватает времени, хотя я и не так скован им, как ты и все вы. Ты нужен мне для серьезных дел. Но без моей помощи тебе их не выполнить. А моя помощь и будет заключаться в том, чтобы дать тебе всю ту силу, которая вообще может в тебе возникнуть. А значит — дать тебе и любовь, потому что человек, вооруженный любовью, сильнее вдвое, а может быть, и втрое.

— Не знаю, что у тебя за дела, Мастер. Но у нас достаточно своих. Я уже говорил: только доставьте нас на Землю...

— Готов. Любого, кто захочет. Но только после того, как все вы сделаете то, о чем я попрошу.

— Тебе не кажется, что пользоваться нашей зависимостью недостойно?

— Нет. Зависимость — это ты сказал чересчур мягко. Да вас не было, понимаешь? Вы исчезли. Но я вернул вас — потому что вы мне нужны.

— Я вижу, ты гуманист, Мастер...

— А ты гуманен — к рожим муравьям? Но остерегайся судить, не зная всех обстоятельств. Тебе рано в судьи, человек; хорошо, если вы доросли до того, чтобы быть свидетелями. Ты ведь больше не полагаешь, что ты и твои спутники остались живыми после взрыва? (Ульдемир невольно провел рукой по бедрам, проверяя.) — Нет, Ульдемир, с позиций вашего уровня знаний вас просто больше не было. Но уже в твоё время занимались реанимацией; примитив, конечно, но все же — движение в нужном направлении. А вас мне пришлось рекомбинировать по оттиску пространственной памяти: след ведь остается и в пространстве, а не только на мокром песке. Можешь считать, что я создал вас заново — и могу делать с вами, что хочу. Но я предпочитаю не приказывать, а просить. И предлагаю тебе условия договора. Ты сделаешь то, что я поручу, честно отдавая все силы. И пока ты будешь занят этим, останешься подчиненным мне. И станешь пользоваться тем, что я тебе дам. И если я захочу, чтобы ты полюбил — полюбишь...

— Нет.

— Какая самоуверенность! Ну а потом, в благодарность за сделанное я отправлю тебя на Землю. Тебя и любого, кто захочет.

— Захотят все.

— Значит, отправлю всех.

— Жестоко, Мастер, и несправедливо. Но ты не хочешь нашей благодарности, хочешь, чтобы мы отработали свое спасение — будь по-твоему. Договор так договор. Не прикажешь ли расписаться кровью?

— Достаточно слова.

— Но с оговоркой. Может быть, тебе это не совсем понятно, но у нас, у каждого, есть представление о

такой вещи, как мораль. И если твое поручение связано с нарушением морали...

«Черт меня возьми, — подумал вдруг Ульдемир. — Да это просто идиотизм какой-то. Погиб корабль. Астролида погибла, а я тут изъясняюсь с этим сумасшедшим, да еще какими-то дурацкими словами».

— Мора-аль, — протяжно произнес Мастер, непонятно — с иронией или просто уважение прозвучало в его голосе. — Ну а какова же эта твоя мораль? К примеру, что велит она делать с падающим? Поддержать? Или подтолкнуть?

Это Ульдемир знал давно: не всякого падающего следует вытаскивать. Иного и на самом деле стоит подтолкнуть, потом присыпать землей, а для верности еще и воткнуть осиновый кол.

— Смотри кто падает.

— И решать будешь ты. Нет-нет, я понимаю: ты будешь исходить не только из своих симпатий. Ты станешь оправдываться — ну хотя бы интересами общества. А ты уверен, что всегда правильно их понимаешь? Есть у тебя абсолютные критерии того, что — добро и что — зло?

— Абсолютных не бывает.

— Ошибаешься. Они есть. Но если бы даже было по-твоему — на каждом новом уровне знания люди поднимают свои относительные критерии все выше. А значит, и сама мораль становится выше и совершеннее. Но поскольку она при этом неизбежно изменяется, то на каком-то этапе новые критерии могут оказаться противоположными твоей морали, и ты решишь, что они поэтому вредны и носителя их надо толкнуть, чтобы он упал...

— К чему этот разговор, Мастер?

— А мне интересно, что ты за человек, что за люди все вы. погоди, не начинай излагать мне основы твоей морали: они тут известны. Но ведь прочитанное или услышанное каждый понимает по-своему, и мораль любой эпохи есть лишь средняя величина множества личных моралей. И вот меня интересует: кто ты таков, что можешь и чего не можешь, насколько можно тебе верить, и насколько — нельзя?

— Мне трудно об этом судить.

— И не надо, Ульдемир. Судят по поступкам. Вот я и дам тебе возможность совершать поступки, а потом ты придешь, и мы рассудим.

— Да почему именно я? Прилетайте на Землю. Там...

— Захотим ли мы посетить Землю — вопрос иной, и сейчас мы об этом говорить не станем. Пока речь — о тебе. О твоих поступках. Ты скорбишь о женщине — это поступок. Ты отказываешься от другой любви: продолжение первого поступка. Возникает определенное впечатление о тебе, как о человеке, способном хранить верность — или, во всяком случае, стремиться к этому. Даже вопреки здравому смыслу. Потому что если бы ты задумался, то понял: от любви отказаться невозможно, любовь — не акт воли. Пока ее нет, отказываться не от чего. Когда есть — отказываться поздно. Отказаться можно от проявлений любви — это другое дело и, по сути, мы говорим именно об этом. Но подойдем к нашей теме иначе. А если я скажу тебе, Ульдемир: сделай то, что я попрошу — и в награду я верну тебе ту женщину, о которой ты тоскуешь! И если то, о чем я попрошу, не будет совпадать с твоей моралью, полностью или частично — как велико должно быть это расхождение, чтобы ты отказался? Способен ли ты вообще отказаться? Или — способен ли согласиться?

Ульдемир уперся в Мастера взглядом.

— Она жива?

— Жива, не жива — понятия относительные, как ты можешь судить на собственном опыте...

Но Ульдемир успел уже, пусть на мгновение, отчаянно, иступленно поверить: жива! Или — может оказаться живой...

— Хватит отвлеченных рассуждений! Говори, чего ты от меня ждешь. И я отвечу.

— Скажу, когда придет время. — Казалось, Мастеру доставляла немалое удовольствие эта беседа, в которой он, как большой черный кот, то выпускал когти, то втягивал их и касался мыши гладкой лапой. — А теперь рассмотрим еще одну возможность. Астролида возникнет. И окажется, что ты-то ее любишь, а она тебя — нет. И все, что случилось ночью в твоей каюте («Черт, откуда он знает?» — мелькнуло), было лишь миражем — просто почудилось ей и исчезло. И она пройдет мимо, лишь по-дружески кивнув тебе. Стоит ли в таком случае возвращать ее?

— Да, — почти беззвучно проговорил Ульдемир.

— Но тебе будет куда больнее. Ведь сейчас она целиком твоя. А тогда — если она потом окажется не одна...

— Все равно, Мастер, если есть хоть малейший шанс...

— Как же так? Объясни.

Ульдемиру вдруг показалось, что очень многое зависит от того, что он сейчас ответит.

— Потому, Мастер... Как объяснить тебе? Если в любви любишь самого себя — тогда, конечно, не надо. Но если любишь другого — значит, любишь самое его существование, как бы он сам ни относился к тебе. Пусть она будет, Мастер!

— Романтик! — усмехнулся Мастер беззлобно и даже как бы сочувственно. — Ну что же, для первого знакомства мы поговорили достаточно.

— Нет, погоди, нельзя же так! Ты обещаешь?

— Обещать — не в моих правилах, Ульдемир. Ничего сверх того, что необходимо, а необходимое входит в договор. — Голос его был холоден и деловит. — Поговорим теперь о деле, от которого зависит, весьма возможно, и все остальное.

— Я готов, — сказал Ульдемир, напрягая мускулы, как если бы действовать предстояло немедленно: бежать куда-то, настигать, бить кулаками... — Что надо сделать?

— Этого-то я и не знаю.

— Опять шутки?

— Будь почитительнее, Ульдемир. Я говорю правду. Я знаю, чего надо добиться, но не знаю — как. Это ты увидишь на месте, а вернее — решишь на месте. Ты станешь поступать так, как подскажут тебе обстановка и эта твоя мораль — потому что больше тебе не с кем будет посоветоваться.

— Было бы лучше, если бы мои друзья, экипаж, были бы там со мною.

— Они, возможно, будут.

— Значит, найдется с кем посоветоваться.

— Они будут, но ты можешь и не опознать их там.

Ульдемир недоверчиво усмехнулся.

— А когда ты глянешь в зеркало на самого себя, ты не узнаешь и себя тоже. Ты будешь совсем другим человеком, как и они. Другое имя, внешность, знания, функции. Другое общество, другая планета. И только в

глубине сознания ты будешь помнить, что кроме всего прочего ты еще и капитан Ульдемир. И капитан будет выходить на сцену лишь в критические секунды. А в остальном каждый из вас станет частью той жизни, с ощущением, что та жизнь для вас — единственная и настоящая. Иначе нельзя.

— И все же я не понимаю одного.

— Постараюсь ответить.

— Зачем тебе я? Если бы ты посылал меня туда, где я — или мы — были бы единственными людьми, тогда понятно. Но если там, куда я должен попасть, существуют люди, общество, человечество...

— Все это там есть.

— Так почему же ты не поручишь этого одному из них? На твои условия согласились бы многие. Разве там нет никого, потерявшего любимую? Или претерпевшего еще что-то такое, после чего трудно жить?

— Застигнутых бедой людей можно найти везде. Остановка не за этим. Но попытаюсь объяснить тебе, почему я действую так, а не иначе. Чтобы заставить человека оттуда сделать то, что мне нужно, мне пришлось бы принудить его увидеть мир, в котором он живет, совсем иначе. Так, как видим его мы отсюда.

— Ну и что же?

— Ему было бы очень тяжело, Ульдемир. И он перестал бы быть тем, кто мне нужен. Вот хотя бы ты: жаждешь вернуться на Землю, хотя с нашей точки зрения она весьма далека от идеала даже и сегодня, мало того... Но это в другой раз. Ты хочешь вернуться на Землю, потому что она — твоя, какой бы она ни выглядела для стороннего взгляда. И ты согласен выполнить мое поручение именно ради того, чтобы я потом отправил тебя на Землю. Тут все в порядке. Ну а тот человек? Что я предложу ему? Ведь мне именно и нужно, чтобы его мир не остался таким, к какому этот человек привык, но чтобы этот его мир изменился! Изменился — потому что от этого зависит очень многое за пределами их мирка... Мне нечем будет наградить этого человека, Ульдемир, то, что я смогу дать ему — ничтожно по сравнению с тем, что он сам у себя отнимет...

— И потому ты предоставляешь совершить это мне.

— Не пугайся: ты не совершишь ничего, что шло бы во вред тем людям — подавляющему их большинству

во всяком случае. Меня останавливает не то, как отразились бы на этом человеке результаты его дел — они будут благотворны, — но то, что станет происходить в нем, пока он будет делать нужное мне дело, выступит один против всего мира — его родного мира... А тебя тут выручит именно то, что ты — Ульдемир с далекой Земли. — Мастер помолчал. — И еще одно. Сделать то, что мне нужно, способен не всякий. Ты — годишься. Именно сейчас. Не знаю, может быть, некоторое время назад ты совершенно не подошел бы... Да, вот важное обстоятельство. Тебе может показаться, что ты там будешь кем-то вроде актера, будешь играть роль. Но если там придется погибнуть — это будет всерьез, Ульдемир. И не надо полагаться на то, что кто-то из нас сможет в нужный миг оказаться поблизости и повторить то, что мы уже однажды сделали. Это будет жизнь, Ульдемир, вместе с ее оборотной стороной... Ну вот; что еще тебе неясно?

— Ты посылаешь нас надолго?

— Не знаю. Когда ты вернешься, будет зависеть от тебя самого. Но если все затянется, ты скорее всего не вернешься совсем. Во всяком случае, если пользоваться твоим счислением, счет времени пойдет не на годы, Ульдемир. На недели и, возможно, даже на дни.

Он помолчали минуту-другую.

— Ты веришь в судьбу, Мастер?

— Смотря как понимать это слово. Я верю, что Фермер правильно ведет свои дела. И стараюсь поступать так же.

— Кто он, Фермер?

— Человек, — улыбнулся Мастер, — которому я передам от тебя привет.

— Когда мне выходить? И куда? Будет корабль?

— Ты поймешь, когда и как. Будь внутренне готов. Ну вот мы и поговорили, и составили первое представление друг о друге; очень рад буду увидиться с тобой еще. — Это прозвучало искренне. — Живи, Ульдемир, не уставай жить. — Он повернулся и стремительно зашагал по веранде, обогнул угол дома — и шаги его сразу стихли.

Ульдемир еще немного постоял на том же месте. Да, интересно складываются события, ничего не скажешь... Он медленно, как ходят люди, погруженные в раздумья,

приблизился к пологому крыльцу и стал спускаться вниз — туда, где расстилался луг с зеленой муравой.

Помедлил на нижней ступеньке крыльца, перед тем как коснуться ногой травы. Зажмурившись, глубоко вдохнул, втягивая запах...

## Глава третья

...втягивая запах, тончайший, сложный запах, в котором смешивались: тихий, настойчивый, чем-то схожий с плесенью — бактерицидного пластика, из которого было все: пол, потолок, стены, мебель; и резковатый, тревожный — так пахли холодные, бело-голубые нити освещения, не создававшие уюта, а напротив, вызывавшие ощущение открытости и бесприютности; и душистый, сильный, но не затмевавший остальных аромат цветов, огромных, ярких, какими не бывают цветы в природе — зато эти никогда не надо было менять, а сила запаха автоматически или же вручную регулировалась; и наконец, эманация уже стоявшего на столе завтрака, в свою очередь составная, ежедневно менявшаяся в зависимости от тонуса человека, которому завтрак предназначался. Забавно было каждое утро угадывать, что же окажется на столе на этот раз; сначала он ошибался два раза из трех, теперь в лучшем случае раз из десяти: годы не проходят зря. В старости он наверняка будет угадывать сто раз из ста; а когда однажды ошибется, это будет означать, что организм его вышел на последнюю прямую, ведущую к концу, и необратимые изменения начались. Опекун заметит это раньше, чем сам человек, и естественно: Опекун все замечает раньше и своевременно принимает решения, человек давно перестал жить на ощупь, а также отвлекаться для решения разных мелких проблем, вроде меню сегодняшнего завтрака, цикла утренних упражнений, одежды и прочего. И все же что-то было в этом ежедневном угадывании, какой-то темный азарт, род развлечения. Жаль, что Опекун ни разу не поддался, не включился в игру, не уступил искушению выкинуть на стол что-нибудь такое, что и представить нельзя было бы: скажем, в разгар лета — что-нибудь из зимнего репертуара, с повышенным содержанием жиров, предположим, или иной,



зимней гаммой витаминов. Что ж, тем лучше для него, Опекуна; иначе автоматический постоянный контроль тут же сработал бы, и крамольные блоки немедленно подверглись замене. Однако сколько ни вспоминай, такого не происходило, не слыхано было о таком, и единственное, что грозило Опекуну — это когда подопечный, чье сознание не могло подвергаться столь точному программированию и скрупулезному контролю, как схемы Опекуна, выходил из режима и чем-нибудь тяжелым, или острым, или и тем и другим вместе принимался крушить датчики и провода, и таким способом ненадолго лишал Опекуна возможности выполнять свою задачу. Самому Опекуну это не вредило, его схемы находились, понятно, в Центре, а не здесь, до них было не добраться: Опекун вместе с Инженером, Политиком и Полководцем были смонтированы в каких-то, по слухам, подземных цитаделях, в глубине многокилометровых шахт, рядом с которыми находились, опять-таки по слухам, убежища для Неизвестных; о том, где все это располагалось, можно было лишь делать догадки, и то про себя: следовало постоянно помнить о Враче, что был всегда на чеку. Да, итак, разрегулировавшийся опекаемый, обычно человек невысокого уровня, ученый седьмого-восьмого разряда, художник или инженер столь же скромного пошиба, мог нанести такой легко устранимый вред сетям Опекуна; тогда ремонту подвергался уже сам ученый, художник или инженер (с политиками такого не случалось, помнится, еще никогда), его увозили ненадолго, возвращался он умиротворенным и больше уже с ним ничего такого не происходило. Подобные инциденты, впрочем, не считались чем-то постыдным и никак не влияли на положение человека в обществе и на отношение общества к нему; знали ведь, что винить в происшедшем можно было разве что природу, создавшую человека несовершенным, не как город с продольно-поперечной, логичной планировкой, какие строились по заранее точно разработанным проектам, а как город из тех, что возникали стихийно, без проектов, без единой мысли о перспективе, разрастаясь протяженно во времени и напоминая клубок из обрывков нитей, где иная улица могла дважды пересечь самое себя и выводила в конце концов к собственному началу. Таким был человек, и порой в сложную планировку его сознания приходилось вносить рациональные упрощения, разрушая

паутину переулков и прокладывая вместо них широкую магистраль от Возможности к Желанию, а никак не наоборот. Все это было правильно, рационально, да иначе и быть не могло — так всю жизнь полагал Форам Ро, да и сейчас он тоже так считал.

Впрочем, Форам Ро о таких вещах вообще думал крайне редко: к его работе они отношения не имели, а ко внерабочей жизни — тем менее. Не хочет Опекун ввязываться в игру — тем хуже для него самого... Глубоко вдохнув и выдохнув, Форама вовремя вскочил с постели: еще минута-другая, и лежать стало бы неудобно, неудобно, постель заерзала бы под ним: никогда не следует перележивать, этак и бока пролежишь, ха, не больной же ты, — а если ты задержишься и еще на минутку, включатся медицинские датчики, вмиг прочешут тебя и скорее всего ты окажешься симулянтом, потому что — кто же болеет в наше время, это просто неприлично, это надо неизвестно какую жизнь вести, чтобы в твоём организме, при котором неусыпно бдит Опекун, что-то вдруг разладилось до такой даже степени.

Через несколько минут Форам уже стоял на упругом коврике в углу, лицом к экрану. На экране вспыхнуло «17», иными словами, зарядка по семнадцатой программе полагалась сегодня Фораме, не по шестнадцатой и никак не по восемнадцатой. Затем на экране возник крепенький индивид и стал командовать, одновременно приседая, поворачиваясь, подпрыгивая, взмахивая руками. Звучали команды, музыка, и неслышным было тихое шипение добавочного кислорода — дозировка его в воздухе в это время изменялась. Потом индивид аннигилировал, экран показал стадион и дорожку, двенадцать парней в мгновенном томлении предстарта; автомат рывкнул — понеслись; одновременно коврик под ногами Форамы дрогнул и побежал назад, бесконечно возникая перед ним из-под пола и скрываясь позади, и он помчался по нему, что было сил — вперед, вперед! — а коврик бежал так, что он все время оставался на месте, не приближаясь к экрану ни на сантиметр. Пролетел десяток секунд: сотка — явление скоротечное. Те, на экране, достигли финиша чуть раньше, чем Форам, но и он выложился, и возникшие на экране цифры — показанное им время — его вполне устроили: ничуть не хуже, чем вчера. Пошли упражнения на расслабление, крепенький парень снова возник,

профессионально поигрывая бицепсами. Щелк — экран погас, конец зарядке. Пританцовывая, Форама вбежал в душевую — вода со свистом хлестнула, едва он показался на пороге. Он вертелся под душем, пока она не выключилась. Ай-о! Хорошо. Он распахнул шкафчик. Что нам на сегодня? Легкое: тонкие серые брюки, белая рубашка, галстук в красных тонах, носки под цвет, бесшумные пластиковые сандалии, почти невесомая куртка со всеми полагающимися знаками и эмблемами. Это нам идет, мар Форама. В этом мы смотримся. Серое и красное, да еще с белым — наша гамма.

— Спасибо, Опекун! — крикнул он весело и в меру громко. Никто не ответил, конечно, но это вовсе не значило, что его не услышали. Все слышится, все учитывается. И прекрасно: ты уверен, что ни одно твоё движение, физическое и душевное, не пропадает зря. Только так и можно.

Завтрак он и в самом деле угадал, и это еще улучшило и без того светлое настроение. День начался с высокой ноты — вот и хорошо, вот и ладно, славно, пусть и до самого вечера так. Вечером — может быть, все дело как раз в том, что вечером они снова встретятся с Мин Аликой. «Любовь, — замурлыкал он под нос, а тело на миг напряглось в сладких предвкушениях. — Любовь, любовь — любовь...». Недаром сегодня среда, шестой день недели.

Вот именно, среда. И вечер занят, следовательно, — игры он не увидит. Той игры, что назначена на вечер. Значит, надо посмотреть ее сейчас. За завтраком. Хотя бы последнюю четверть. Форама дал команду на экран, набрал шифр. С большим трудом выбил он для себя позволение опережающего просмотра игр. Если бы он не работал в этом институте, да еще на магистральном направлении, локоть бы ему дали, а не разрешение. Вот сейчас он и посмотрит еще не сыгранную (официально) игру. Чуда в этом, понятно, никакого: уровень эмоций всех людей, интересующихся игрой, известен, подсчитан и учтен заранее, в зависимости от него запланирован и результат игры: такой, чтобы большая часть эмотов осталась довольной, чтобы настроение их еще поднялось; а те эмоты, что стоят за проигравших, пусть понесут ущерб в зависимости от их количества: если их много — разрыв в счете будет небольшим и игра почти равной; если мало — произойдет разгром. Однако количество

эмотов на каждой стороне тоже создается не само собой: в случае нужды о команде заранее выбрасывают такую информацию, которая сразу же или привлекает новых сторонников, или, наоборот, отталкивает кого-то из старых. Содержание же этой информации, в свою очередь, зависит от пристрастий кого-то из Неизвестных, да и от сегодняшнего настроения общества вообще, а настроение... Одним словом, сложная это работа, в результате которой команды выходят на круг и играют — раз, другой, пятый, пока не получается такой дубль, в котором нужный счет выглядит наиболее правдоподобно. Только тогда объявляется день, в какой игра будет сыграна, и эмоты начинают нетерпеливо поглядывать на свои экраны. А кто обладает разрешением — дай свой шифр и смотри игру хоть за неделю. Смотри, но — помалкивай. Потому что строго запрещены две вещи: играть в то и делиться известным тебе результатом с кем-нибудь другим: официально принято считать, что игра происходит именно тогда, когда ее показывают населению. И если тебя поймают — шифр прощай навеки, и стыда не оберешься, и надолго (если не навсегда) останешься с репутацией человека ненадежного.

А Форама — человек надежный. Мар Форама Ро, ученый шестой величины только, зато работающий в институте нулевой степени молчания, да еще и в лаборатории нулевой степени, где ненадежным не место.

Он жевал и смотрел на экран. Нет, если уж везет, то во всем. После двух четвертей было уже шесть два, вели Тигроеды, Красноухие проигрывали, туда им и дорога, пусть и всю жизнь продувают, пусть у них копыа узлом завязываются, пусть их киперу с начала и до конца каждой четверти кольцо кажется жабой, чтобы он от кольца шарахался в страхе, только каждую десятую пусть перехватывает, не то ему от своих будет и вовсе не спастись, заколотят, и придется Красноухим на каждую игру выходить с новым кипером, только к ним ведь и не пойдет никто, ни за какие коврижки, дураков нет. Седьмое кольцо! Ай-о! Нет, ну это просто блеск!

А теперь — все. Время.

— Спасибо, Опекун!

Даже неудобно, до чего ликующе получилось. Но игрушка-то какая была! Прямо хоть смотри вечером еще раз, вместе с Мин Аликой. А что, почему бы и нет?

Эшамма наххай, как говорят проклятые враги на их гнусной планете, клин им в членоразделие!

Пора. Форамаспахнул узкую дверцу в стене. Кабина была уже под током, на белом матовом диске красный сектор все уменьшался. Вот сюда опаздывать не рекомендуется. Путь кабины рассчитан не по минутам — по секундам: и вниз с яруса, и по боковому руслу; и к магистрали она подойдет в тот самый миг, когда с нею поравняется свободное место в бесконечной череде плывущих мимо кабинок, и она точно займет гнездо, и опять-таки в нужную секунду окажется у перегрузки на поперечную магистраль, сработает автоматика, кабинку мягко перетолкнет с ленты на ленту, и поплывет она дальше — и Форамавылезет из нее в нужную секунду прямо в своей рабочей комнате. А не успеешь сесть дома, минута истечет — и ток вырубится, добираться тогда как знаешь, опоздание не меньше, чем на час. Это в нулевую-то лабораторию! С ума сойти!

Впрочем, с Форамой такого не случилось. И не случится.

Сектор превратился в узкую иглу. Резко грянул напоминающий звонок. Это для разгильдяев. А Форамажуже — вот он, готов. «Пожалуйста, — пригласил он себя. — Пожалуйста, садитесь, капитан Ульдемир!»

Кто?

Нет, черт его знает, откуда возникло в голове такое сочетание звуков. Ульдемир? Капитан?

Мар Форамаро, вот кто он, ученый шестой величины, две совы на воротнике — еще не змеи, конечно, но уже и никакие не дятлы. В его возрасте две совы — неплохо, очень даже. Учитывая, что все — сам, своей головой, никто не ташил и не подталкивал, в автоматику Отбора и Продвижения никто не вмешивался и коэффициентов снисходительности не вводил. Да: мар Форама. Не просто Форама, — это только для друзей, — а именно — мар Форама. И никак иначе.

Он устроился поудобнее. Дверца защелкнулась. Езды тридцать семь минут. За это время настроимся на работу. Игра — в сторону, словно ее и не было, и Мин Алики — словно и не будет; тем более, что и она сейчас думает не о тебе, Форама: она — художница девятого класса, три кисточки на воротнике или на груди, если наряд без воротничка (женщины всегда что-нибудь придумают!), три кисточки. До лавровых листочков ей

еще пахать и пахать, не говоря уже о ветках, а до хотя бы одного венка на воротнике ей и за всю жизнь не добраться. Но она честно пашет и до самого вечера думать о тебе, мар Форама, а для нее просто Форама, Фо, Фа или Рама (смотря по настроению) не станет. И только так оно должно; и только так может быть. Во всем нужен порядок.

Кабинка дрогнула. Поехали, мар.

Шахта. Узкий туннель: русло. Рокот направляющих. А вот и магистраль. Полоска открытого неба. Верхняя половина кабинки просветлела, сделалась прозрачной, свет выключился: никаких перерасходов энергии. Форама привычно поднял глаза, чтобы убедиться, что над ними, — как всегда, — второй ярус, эстакада, на которой, невидимые снизу, плывут такие же одиночные кабинки, плывут и одновременно перемещаются в рядах, для чего каждое шестнадцатое гнездо всегда остается свободным для маневра: одним ответвляться раньше, другим позже, тем вправо, этим влево... Меняются соседние кабинки, в них — разные люди. Иногда — привлекательное женское лицо. Можно прижать к прозрачной стенке карточку с твоими координатами, можно взглянуть умоляюще, просительно сложить руки. Тебе могут, если захотят, ответить такой же карточкой, могут записать в памяти твои данные, — тогда головка в соседней кабине кивнет; или отвергнуть, — тогда она отрицательно качнется. Хотя Фораме теперь это вроде бы и ни к чему: Алика его устраивала, особь хоть куда. И все же — мало ли что. Развлечение.

Потом он отвлекся, думая о работе. Минуты две рядом держалась кабинка со вполне достойной особью — он не заметил. Работа сегодня предстояла нешуточная.

Лишь на скрещении, где его переталкивали в поперечное движение, он поднял голову. Здесь примерно с минуту можно было видеть небо, не перечеркнутое эстакадой.

Небо было высоким, чистым, не очень еще светлым: рано, солнце где-то под горизонтом. Звезды уже пропали, но яркие огоньки, ярче любых звезд, виднелись, строго вытянутые в линию, в шеренгу, быстро продвигавшиеся фронтом. Можно было не считать: тридцать два огонька, не больше и не меньше. Оборот вокруг планеты — за семьдесят минут. За ними, в небольшом отдалении, тридцать два огонька поменьше, тоже

шеренгой, каждый словно привязан к бегущему впереди яркому. Перелетели, быстро пересекли небосвод. Через пять минут покажется еще одна шеренга, точно такая же яркая, как эта первая, и за ней тоже будет следовать вторая линия — послабее.

Первые шеренги, огоньки поярче — это бомбоносцы вражеской планеты, той самой, что утрами и вечерами ярко восходит невысоко над горизонтом. Обтекаемые корпуса, начиненные адом. Кружат, непрерывно кружат над милым нашим миром. И ждут команды — неизвестного сигнала, который не перехватить, не отвратить. Тогда все шеренги над всеми меридианами враз наклонят носы и ринутся вниз — рвать, разносить, уничтожать жизнь.

Но на такой случай есть вторые шеренги: огоньки послабее — это уже не их, не вражеские, это наши охотники. Они мгновенно среагируют на любое ускорение своих поднадзорных и в тот же миг налетят, как ястребы на уток — расклевать в пространстве, воспрепятствовать, не допустить.

Одновременно охотники тоже пошлют сигнал. Неуловимый для других. И сигнал этот примут уже наши бомбоносцы, что кружат над проклятой вражеской планетой. И наклонят носы, и стремительно упадут на тот чертов шар.

Правда, за ними устремятся охотники того мира. И опять: кто — кого.

У бомбоносцев есть средства против охотников. У наших бомбоносцев — против их охотников. Впрочем, у их бомбоносцев тоже есть подобные средства.

Но у наших охотников есть свое средство против их средства. Хотя у их охотников — тоже есть. Против наших.

И так далее.

А до того охотник не может ни там, ни здесь приблизиться к бомбоносцу ни на дюйм: известно, что при малейшей такой попытке бомбоносцы начнут атаку даже без команды своего Стратега, начнут незамедлительно.

Это записано во множестве договоров и соглашений между планетами, враждующими между собой издавна. Причину вражды каждая планета объясняет по-своему. Вражда эта и сдерживается договорами и соглашениями, в которых все записано: и количество разрешенных противным сторонам бомбоносцев, и грузоподъем-

ность их, и разрешенная высота полета, и дистанция между бомбоносцами и преследующими их охотниками, и все прочее. И стороны свято блюдут договоры: иначе — каюк.

Иначе никак нельзя.

Так устроен мир. Марширует над обрывом.

Не исключено, конечно, что можно было бы жить и как-то по-другому. Но что толку об этом думать: это — не область Форамы Ро. Да и попривыкали все за многие годы к этим красивым, быстро пробегающим по небу огонькам.

Вот они уже и за горизонтом.

И солнце взошло. Небо осветилось, и следующая группа огоньков проскользнет уже невидимой.

Но пройдет в свое, точно рассчитанное время. Куда ей деваться?

И все-таки хорошо, когда солнце.

\* \* \*

— Ну вот, Фермер, они ушли, — проговорил Мастер. — Шесть человек, на две планеты. Самое большее, что мы могли сделать для этих миров, да и для остальных тоже.

— Такую малость не назовешь непобедимым воинством, — откликнулся Фермер, и в голосе было сомнение. — Каков твой замысел?

— Мне кажется, это единственный возможный путь. То, что я задумал, прямо связано с распространением Перезакония. Оно начнется с распада сверхтяжелых.

— Обычная последовательность, — кивнул Фермер.

— Сверхтяжелые — это их лаборатории. Но область тяжелых — это уже вооружения. Пока будет страдать наука, беспокойство людей вряд ли станет серьезным. Но стоит им понять, что процесс расширяется и вскоре придет очередь вооружений, как они поймут, что нужно что-то срочно предпринимать. Уничтожить заряды, иначе те начнут рваться сами собой в арсеналах и на исходных позициях. А как только начнет уничтожаться оружие, миллионы людей поймут, что опасность страшного конца перестала существовать. И вот это-то и будет, Фермер, источником той вспышки Тепла, которая так нужна нам с тобой. Всему миру.



— Не знаю... — покачал головой Фермер. — Те, кто привык к оружию, пойдут на любые хитрости, чтобы подольше сохранить его. Но природу не перехитришь... Однако прежде всего они должны сообразить, в чем тут дело! Смогут ли они разобраться в таких вещах, как Перезаконие? На такие рубежи наука выходит не сразу, это происходит куда позже, чем изобретение и производство сверхмощных зарядов. Но и поняв, они еще долго не будут в это верить. А волна не станет ждать. Не получится ли, Мастер, что вместо вспышки Тепла мы получим новый ужасающий всплеск Холода? Что мы будем делать тогда?

— Для того мне и понадобились эмиссары, Фермер. Конечно же, там не сразу захотят понять. Но тогда мои люди должны найти способ сделать сведения о подступающей угрозе всеобщим достоянием...

— Апеллировать к народу?

— К народам. Это должно происходить с обеих сторон.

— Как твои эмиссары смогут осуществить такое?

— Не знаю. И никто сейчас не знает. Все зависит от реальных обстоятельств, а предусмотреть их мы не в состоянии. Потому мне и были нужны эмиссары с высокой способностью ориентироваться и решать самостоятельно.

— Ты настолько в них уверен?

— Насколько вообще можно быть уверенным.

— Что ты знаешь о них такого, что вселяет в тебя уверенность?

— Я заглянул в их прошлое. Откровенно говоря, с таким случаем приходится встречаться едва ли не впервые. Их было шестеро в экипаже корабля. Шестеро с одной планеты, но из разных эпох. Их разыскали в их времена потому, что экспедиции требовались люди с определенным спектром качеств, и еще потому, вероятно, что экспедиция обещала быть опасной — а своих современников тем, кто снаряжал корабль, было жаль. Что делать, такими стали нравы на планете Земля. Безопасно, конечно, так что упрекать их трудно... Они направили туда лишь двух своих ученых; без них вообще не было смысла посылать корабль, чтобы еще раз доказать себе, что человек способен управлять природой не только в планетарном масштабе.

— Управлять, но не так же!..

— Да, мы это знаем. Но замысел той экспедиции не имеет никакого отношения к этим людям: им пришлось делать нечто совершенно другое. Итак, люди из прошлого, из разных его слоев. Люди, переставшие существовать в своем времени. Приходится признать, что из своей современности каждый из них был изъят довольно искусно. Ну вот их капитан, например. Он из двадцатого века, по исчислению той планеты. Жил на своей даче, пошел купаться...

— И утонул, конечно?

— Во всяком случае так это выглядело. На деле же он оказался в будущем, и там стал капитаном. Подобным образом поступили со всеми. Они, в общем, неплохо показали себя в том путешествии, оказавшись на незнакомой и не вполне понятной им планете. Хотя без ошибок не обошлось. Один из них погиб...

— Постой, Мастер. Вспоминаю. Кажется, потом я его...

— Да, это те самые люди. Так что некоторый опыт действий в непривычных условиях у них есть. К тому же мир их прошлого не наш радостный, открытый, справедливый мир, и уж подавно не тот, который мы еще только создаем.

— У тебя расчет, Мастер? Или скорее азарт?

— Точный расчет, Фермер. Да еще с перспективой.

— Что ты имеешь в виду?

— Говорить пока рано. Как дела на твоей Ферме?

— Многое растет. Ощутимо теплеет. И кое-где уже вызревает новый облик мира. Мешают такие вот вспышки Холода. Но с твоей помощью мы все-таки в конце концов научим быть людьми тех, кто пока еще не умеет жить по-настоящему...

— Надеюсь вместе с тобой. В итоге без этого миру не обойтись. Он просто не сможет существовать.

\* \* \*

Полуметровой толщины бронированные двери всосались в свои гнезда, отсекая допущенных к непосредственному наблюдению за экспериментом от остального мира. Они остались в небольшой комнате, уставленной экранами, индикаторами, съемочными и регистрирующими камерами, множеством других щупалец разума. Еще одна стена, толще и неприступней, отделяла их от

ускорителя. Он уже работал, разгоняя поток частиц. Люди напряженно вглядывались в приборы, каждый в свои. Эксперимент был не первым в серии, и предыдущие проходили удачно. Но была между ними разница: тогда речь шла о получении и сохранении отдельных, считанных атомов очередного элемента, на сей раз сверхтяжелого и, как ни странно, достаточно устойчивого в определенных условиях. Самым сложным и было — найти нужные условия; а когда это удалось, перед лабораторией поставили новую задачу: вырабатывать элемент непрерывно, так сказать, поставить на поток, потому что теоретически предсказанные его свойства позволяли надеяться использовать новое вещество в хозяйстве с большой выгодой. Обходилась работа несусветно дорого, но элемент обещал стать великолепным источником энергии для космических аппаратов, где компактность важнее многого прочего, и, возможно, с его помощью можно было бы попытаться, наконец, выйти за границы привычного пространства; стратегов же, помимо этого, интересовала и способность нового элемента высвобождать нужную энергию (при нарушении условий его содержания) стремительным скачком — и куда больше энергии, надо заметить, чем выделяется ее при синтезе легких, таких, как, скажем, гелий. Поэтому к началу сегодняшнего эксперимента неожиданно прибыли два новых стратега: генерал двух звезд и бригадир первого ранга — оба, впрочем, ученые, достаточно известные в своей области.

Об их приезде никто в институте не был предупрежден заранее; возможно, там, у стратегов, решение об их участии в эксперименте тоже было принято внезапно. Поскольку число мест в наблюдательном посту, откуда велось управление экспериментом, было ограниченным и допускать туда людей сверх установленного счета не полагалось (хотя бы потому, что им не втиснуться было), двум ученым из лаборатории пришлось остаться на периферии опыта и наблюдать за ходом событий, лишь считывая и расшифровывая показания контрольных компьютеров, вместо того чтобы видеть все своими глазами в камерах индикаторов. Обидно; но со стратегами не спорят, именно они ведь держат зонтик, под которым можно спокойно жить и работать.

А одним из тех, кому пришлось остаться, оказался мар Форам Ро. Как ни раздувай горло перед зеркалом,

сколько ни мети пол хвостом наедине сам с собой или, по крайности, перед Мин Аликой (не то чтобы очень уж юная, она тем не менее нередко бывала просто-таки по-девичьи наивной), — был он всего лишь ученым шестой величины. Второй оставшийся, мар Цоцонго Буй, был пятой величины — но и ему пришлось экспериментировать по эту сторону двери, хотя, если вникнуть, пятая научная величина была не только не ниже бригадира первого ранга, но даже и чуть повыше, и уж во всяком случае равна, в то время как шестая с любой позиции все же уступала. В данном случае Форама втихомолку даже порадовался тому, что не он оказался самым обиженным, даже больше: обидели, строго говоря, мара Цоцонго, а Фораму, так сказать, лишь косвенно — не лично, а по логике вещей. Мара же Цоцонго обидели потому, что ученых пятой величины среди экспериментаторов было трое, и двое остались, а ему пришлось выйти. Тем самым ему как бы показали, что он — хуже тех, что на самом деле было, разумеется, вздором; или же имели в виду, что его тема не столь важна? Бред: он-то ведь и занимался средой сохранения нового элемента, единственный в этой хилой лаборатории, где собрались, как всему миру известно, в основном бездари и завистники, нещадно эксплуатирующие чужие мозги, грабящие простодушных и наивных дурачков, вроде Цоцонго Буя и Форамы. Как начинать сомнительную тему — так выталкивают вперед их; самый первый эксперимент, если вспомнить, они с Форамой проводили вдвоем, Форама разрабатывал элемент, очередной в серии сверхтяжелых, а Цоцонго — условия сохранения его стабильности, хотя ни одна собака тогда в такую возможность не верила. А когда в лаборатории запахло грибным соусом, прочих сразу налипло, словно грязи на сапог, и все — величины, и у каждого — право подписи научных работ, и вот в конце концов тебя выкидывают за дверь полуметровой толщины, и ты сидишь, словно прислуга в прихожей, елозишь штанами по дешевой синтетике диванчика, пока те там, тужась, втискивают свои вонючие имена в анналы науки, — да, как прислуга, и для полного сходства остается только принять на душу малый грех из плоской фляжки, закусить рукавом и, достав колоду затрепанных, овальных от долгого употребления карт сразиться в накидного мудреца, по два носа за очко.

Сидели они, впрочем, не в прихожей, а в своей рабочей комнате, и ворчал Цоцонго хотя и не без оснований, но в общем не по делу, так что Фораме поддерживать его не стал. Не потому, чтобы не был согласен, да он и сам мог бы сказать что-то в этом роде, но раз уж высказался другой — к чему повторять? Лишнее сотрясение воздуха... Он долгим взглядом посмотрел на коробочку трансляционного динамика на столе; Цоцонго Буй перехватил этот взгляд, моргнул и умолк, а затем, ухмыльнувшись, нашел несколько теплых и похвальных слов о каждом, кто участвовал в эксперименте, а для стратегов — особенно. Потом уселся поосновательнее, извлек и в самом деле колоду — только не карт, а вчерашних фотографий, половину перебросил Фораме — и оба они погрузились в рабочее молчание. Изредка то один, то другой поднимал глаза к дисплею компьютера, где медленно ползущая кривая показывала, что все большая масса элемента (который, увы, не назовут форамием, а славно было бы) накапливалась в среде, которую тоже не будут именовать средой Буя, хоть ты тресни, потому что для этого нужно, как минимум, право подписи, а у них, ни у одного, ни у другого, такого права пока что нет, не выслужили, а нет подписи — нет и имени. Ничего не поделаешь, таков порядок, и если вдуматься, он даже разумен, очень. Иному, конечно, может показаться обидным, что открытие, сделанное им, назовут чужим именем, на самом же деле все правильно. Потому что сейчас еще неизвестно, что из тебя получится в дальнейшем; открытие ни о чем не говорит — открытие и дурак может сделать, если попадет в нужные условия. Открытие приведет лишь к тому, что тебя заметят, ты попадешь в учетный формуляр. И станешь работать дальше. Пройдут годы, все убедятся, что человек ты не случайный, мало того — ты человек надежный и нормальный, с устойчивой психикой и стабильной работоспособностью, пьешь и гуляешь не больше, чем положено и именно там, тогда и так, как полагается; вот тут-то ты и получишь право подписи, иными словами — право ставить свое имя на трудах и открытиях. Может быть, конечно, к тому времени открытия и прочие успехи у тебя уже получаться не будут; чаще всего так оно и бывает. Но это никакая не беда: будут молодые, из которых открытия станут сыпаться, а до права подписи им останется еще дальше,

чем тебе сейчас, — и на их открытиях будет стоять уже твое имя, иными словами долг тебе вернут. Так что все обоснованно, все справедливо, придумали это люди поумнее нас, и нечего попусту расходовать фосфор и адреналин. А надо работать, вот хотя бы в данном случае — просматривать фотографии.

Настало незаметно время обеда, и они пошли наверх, в столовую, не без тайного (хотя и стыдного) злорадства по поводу тех, кто все еще никнет в глухой и душноватой (порой барахлила вентиляция) комнатке, голодные и злые. Захотели эксперимента — вот вам эксперимент, а мы тем временем поправим наше расшатавшееся с утра здоровье...

Неизвестно, как со здоровьем, но настроение обоих обиженных после обеда поднялось, хотя кто-то там и пытался поострить на тему, что нулевая, мол, лаборатория принимает калории через наиболее заслуженных своих представителей. Цоцонго с Форамой только таинственно ухмылялись. Под конец, отложив салфетку, Цоцонго сказал:

— Совсем было решил я уходить после этого свинства. Но, пожалуй, еще подожду. Любопытно все-таки.

Сытому Фораме думать не хотелось, и он сказал то, что лежало на поверхности:

— Так тебя и выпустили сразу с нулевого уровня. Да и где лучше?

Где лучше — это была, действительно, проблема. В их институте, и особенно в их лаборатории, на кого бы ты там ни работал, мысли твои шли в дело, получали практическую реализацию. В других же местах, куда стратеги почти или вовсе не заглядывали, разработки отправлялись чаще всего в архив, в надежде на то, что когда-нибудь что-нибудь этакое кому-то и понадобится: если исследованиями занимаются десятки миллионов человек на планете, то все, конечно, не реализуешь, вот и работаешь в стол — в надежде на будущее, а доживешь ли ты до этого будущего, даже змей не знает. Нет, уходить из института — не дело. Другого такого богатого Фонда, пожалуй, и не найдешь. Фораме, во всяком случае, об уходе и думать не собирался. Потому что все устроено разумно, и пусть новый элемент форамием и не назовут, но уж третья сова мимо его воротника не пролетит, и пятую величину он получит. А Цоцонго — трудно сказать, он не так уж давно носит три совы,

срок еще не вышел. Но и он свое обретет — хотя бы благами мирскими. Так что зря он булькает.

— Ты давай-ка, побереги нервы, мар, — сказал Форама, поднимаясь. — Те двое пятых — они же вещие, как же было без них обойтись? Ты лучше скажи: у тебя шифр на предварительный просмотр есть уже?

— В пределах суток.

— Вот, теперь получишь — за двое суток до. Смотрел нынче?

— Не утерпел. Ну что скажешь, а?

— Какой разговор! Классно их пригласили!

Подробнее обсуждать результат игры, для всех остальных здесь еще только предстоящей, они не стали: ушей кругом — миллион. Спустились к себе и опять уткнулись в снимки. Эксперимент все еще продолжался. Решили, наверное, догнать массу до круглого числа, до подкритической. Ну, их дело. Прошел еще час, полтора...

— Форама!

— Аюшки?

— Ты на распады обращаешь внимание?

Полураспад у нефорамия (так они, не без иронии, называли между собой никак еще не нареченный элемент) измерялся столетиями, но какие-то из синтезированных атомов, естественно, взрывались уже сейчас, и на снимках это фиксировалось.

— Само собой. А что?

— Или у меня в голове искривление пространства, или... У нас еще час времени; давай-ка заглянем в позавчерашние материалы.

— Зачем?

— Скажу.

Он вытащил из шкафа несколько сот вчерашних снимков, лежавших в хронологическом порядке. Перебирая, стали сравнивать.

— Видишь? Раз, пусто, пусто, пусто... Теперь вчерашние: раз, раз, пусто, раз. Это уже не вероятностный разброс, а?

— Что же по-твоему: ускорение распада? И в таком темпе?

— Смотрим, смотрим дальше!

Они перебрали все снимки.

— Видишь? Тенденция не только сохраняется, но впечатление такое, что позавчера к вечеру распад стал

сильнее, вчера утром чуть ослаб, а потом снова стал нарастать — все больше и больше.

— Интересно... Слушай, а качества среды не могут меняться с такой периодичностью?

— Ну что ты! Среда абсолютно стабильна, за это я ручаюсь.

— Может быть, колеблется уровень питания, и потому среда варьирует?

— Проверим. Хотя вряд ли: у нас же своя силовая установка. Но посмотрим.

Посмотрели ленту записи параметров питания. Нет, все в порядке, ровно, идеальная площадка.

— Давай-ка запустим в калькулятор, пусть даст точную зависимость распада от времени, коэффициент нарастания, уменьшения... — Форама подошел к пульта, но тут же вернулся. — Там все застолблено до утра. Если «весьма срочно», то можно было бы еще успеть до шабаша.

— Кто же, помимо шефа, даст «весьма срочно»?

Они поглядели в сторону двери. Шеф был в эксперименте, естественно: может быть, его-то имя и наклеют на новый элемент, тут волей-неволей полезешь в наблюдательную. Рискнуть от его имени? Самоволия старик не одобряет. Весьма чувствителен к своим прерогативам.

— Да ладно, — сказал Цоцонго, — не так уж и горит. Просто интересно... Ну, давай досмотрим до конца: что было вечером и ночью.

Ночные снимки показали некоторое ослабление — однако не до того уровня, какой был прошлой ночью. А сегодняшних утренних снимков здесь еще не было. И не будет, пока эксперимент не завершится.

— Они там что, решили до утра сидеть?

— Дело хозяйское. — Форама пожал плечами. — Я, например, не намерен. — Он усмехнулся. — Меня ждут.

— А-а... Ну желаю успеха.

— А ты?

— Да тоже поеду. Спать. Вчера пересидели, играли в «мост». Заеду отсюда на корт, постукаю по мячику и — до утра.

— Поспи и за меня.

— Мне и самому-то не хватает.

— Злобный человек, — сказал Форама, — мар Цоцонго Буй.



Приглушенный звук гонга донесся по трансляции. Еще один день прошел. Так вот они и будут идти до самого конца, когда после очередного тестирования тебе скажут: «Мар Форам...», нет, тогда уже даже «Го-мар Форам», ваши заслуги велики и неоспоримы, и дорожа бесценным вашим здоровьем, нуждающимся в некоторой поправке, мы считаем грустным для всех нас долгом...» И так далее.

Что тогда останется? Мин Алика? Если она — или любая другая особь иного пола — еще будет интересовать его. И предварительный просмотр игр — если только право это не отнимут вместе с институтским шифром.

Но это когда еще будет...

— Моя кабина. Удачи!

— Удачи, Форам!

Координаты Мин Алики уже заложены в маршрутник. Отмечены на нем и два заезда по пути: за цветами и за кое-какими вкуснотами, какие Мин Алике по скромности ее положения в обществе еще не полагались, но до которых она была охоча не менее, а то и более, чем какая-нибудь дама с тремя венками на том месте, где полагается быть груди — дама, вкуснот уже не потребляющая по причине диеты и сохранения вообразимой линии. Можно было бы, конечно, привезти ей и что-нибудь из косметики — шестого все-таки, а не девятого разряда. Ладно, это — в субботу.

Щелк, кабина. В путь! Форам даже оглядываться не стал на стену, за которой все еще выгоняли задуманное количество его элемента. Пусть живут до завтра без него. Всем свое время.

\* \* \*

Форам ехал к Мике — так он называл ее для краткости и ласкательности, — не очень задумываясь и о ней самой, и о характере их отношений, и о будущем — если только оно было для них обоих совместным. Отношения их он и для себя, и для нее, и для всех прочих называл любовью: хорошее слово, благородное, литературное, как бы отвергающее все, что выходит за рамки приличий. Познакомились они случайно — ехали в соседних кабинках, так оно чаще всего и случается; когда сходились — был интерес, потом осталось удовольствие:

и чувственное — была она хороша собой и все как надо, — и вроде бы духовное: когда Форама не думал о работе или игре, то думал о Мике, вспоминал последнюю встречу и предвкушал будущую. Надо ведь чтобы был кто-то, о ком можно думать и даже — в какой-то мере — заботиться. Была Мика не очень требовательной, радовалась каждой мелочи, чему он хотел — покорялась, вела себя тихо, спокойно, уравновешенно. Короче — лучшего и желать нечего. Повезло ему.

Может быть, это и была любовь. Только он знал четко: если Мики завтра у него не станет — переживет спокойно и обойдется. Мало ли что может случиться: найдет она другого, кто больше понравится, или переведут ее куда-нибудь к антиподам, или еще что-нибудь, в жизни все бывает. Да, переживет.

Это-то и хорошо было: нежность к ней он испытывал, и потребность в ней, как в женщине, тоже имелаась — и в то же время оставался он независимым от нее, от самого ее существования.

Он не думал, как порой бывает, что это — временное, не настоящее, что вот однажды грянет гром — и появится некая царица фей, настоящая избранница. Что думать зря? Может быть, Мика и есть та самая царица фей, а остальное все — сочинительство, вымысел. А если даже и нет, то все равно нечего сейчас размышлять. Появится что-нибудь похожее — вот тогда и станем думать.

«В таком случае, — полагал он, — Мика отойдет в сторону. Уйдет тихо, без упреков, не пытаясь удержать. Ну, поплачет вечером одна — и успокоится. Смирится. А потом найдет другого. Молода еще, красива, в меру деловита, и в ее возрасте девятый уровень котируется: считается, что все еще впереди».

Хорошо, когда все разумно в жизни, дорогой мар Форама!

\* \* \*

Когда он вышел из кабинки в ее комнату, Мин Алика встретила его как всегда — радостно, как бы снова, в который уже раз, приятно удивленная тем, что он есть и что снова — с нею. Всплеснула руками, увидев цветы, и правильно сделала: цветы были хоть и не живые (таких ему еще не полагалось), но из разряда

квазиживых — белковые, а не пластиковые. Он выгрузил на стол коробочки с лакомствами, потер руки и подмигнул ей, а она звонко расхохоталась, как будто это было уж и не знаю как остроумно.

Она сварила привезенный им кофе — почти на треть порошок был натуральным — с пряностями, которые хранились у нее неизвестно с каких времен и неведомо как к ней попали, уж никак не ее уровень то был; она об этом не распространялась, а он не спрашивал: у каждого есть прошлое, не хочешь делиться — не надо, независимость всегда заслуживает уважения. Он тем временем поставил музыку, посмотреть игру второй раз ему расхотелось: все-таки присутствие Мин Алики возбуждало его больше, чем ему казалось, когда ее рядом не было. Ужинали медленно, не спеша, получая удовольствие от вкуса. Закончив — посидели, пока играла музыка, потом даже немного изобразили танец — только изобразили, стоя на месте, потому что развернуться тут негде было, все было рассчитанно точно, такова была современная архитектура, чей девиз — скромность и целесообразность. Когда музыка утихла, Форам глянул на женщину в упор, улыбаясь глазами. И Мика, как всегда бывало, с самого первого вечера, опустила глаза, чуть покраснела и встала. Это Фораме нравилось. Скромность украшает. И послушание — тоже.

Мика прежде всего убрала посуду (порядок должен быть, да иначе и не приготовиться было ко сну), потом Опекун сам убрал столик в переборку и выдвинул ложе: Опекун признавал все естественное, любовь тоже. Мика неспешно разделась, аккуратно складывая каждую вещь. Легла, готовая принимать ласку и сама ласкаться в ответ. Он не заставил себя ждать, разделся так же аккуратно. Произошло. Мика поднялась и направилась в душ. Пришла освеженная, тогда пошел он. Вернувшись, снова лег с нею рядом. Чувствовалась приятная усталость — легкая, вечер ведь еще не кончен; на душе было очень спокойно, без лишних эмоций — хорошо, одним словом. Форам провел рукой по ее плечу, теплому, гладкому, покато. Приподнявшись на локте, заглянул в глаза — бездумные, спокойные. И знал, что и у него самого глаза сейчас спокойные, сытые, довольные. Нет, это очень хорошо придумано — дважды в неделю полежать так вот рядом с женщиной, беззаботно, естественно...

И вдруг он снова поднялся на локте — рывком, словно укололо что-то. Странная тревога, глубокая и острая, вошла, повернулась под сердцем. Он схватил Мин Алику за плечи, приблизил взгляд к ее глазам:

— Мика! Мика!

— Что, милый?

Она смотрела на него по-прежнему безмятежно — но не долее секунды; потом и в ее глазах вспыхнуло что-то, насторожилось, напряглось, завертелось...

— Мика!

— Фа!

Они не знали, что еще сказать — мыслей не было, только ощущение непонятной, необъяснимой тревоги, чувство стремительного падения куда-то, — но может быть, то был взлет!

— Мика! Мика-а!

— Да. Я. Я. Это я... — Она умолкла на миг и вдруг, словно не своими губами, словно из глубины памяти всплыло что-то страшно давнее, почти совсем забытое: — Не бойся. Все будет хорошо...

Он обнял ее, обхватил, прижимаясь, втискивая в себя. И она обхватила его руками неожиданно сильно; грудь — в грудь, глаза в глаза, и непонятно, ничего не понятно, это не она, и это не я... Что-то происходит в мире...

— Слушай! Я... я люблю тебя!

— И я люблю тебя. Никогда не думала... Не знала...

— И я не знал. Как мы раньше? Как?.. Прости...

— И ты прости... Я думала, это так, знаешь... Ты — спокойный, удобный, не жадный... А я люблю тебя, окзалось...

— А я! А я!

Несуразные какие-то слова, шепотом, секретно, из губ в ухо, щека к щеке. А ведь только что все было так спокойно...

\* \* \*

Спокойно было, никто не мешал, ускоритель действовал прекрасно, все приборы — тоже, и экспериментаторы, время от времени обмениваясь короткими замечаниями, вытирая пот и поглаживая голодные животы, за девять с лишним часов насинтезировали чуть ли не кубик нового сверхтяжелого элемента, доказав тем

самым, что возможно его производство и в промышленных условиях, где оно, несомненно, обойдется значительно дешевле. Работа шла к концу, и они собирались уже прекратить.

Никто из них не знал, и никто на целой планете не знал, и на вражеской планете тоже никто, — о выплеске Перезакония. Это не их физика, до нее им еще далеко было, требовалась, самое малое, еще одна мыслительная революция.

А первые щупальца волны уже шарили по их планетной системе, и одно из них неизбежно должно было задеть этот мир. И задело.

Никто, ни один астроном и ни один прибор ничего не заметил и не зарегистрировал. Потому что, строго говоря, нечего было и замечать: Перезаконие — субстанция не вещественная, даже не поле, а всего лишь определенное изменение свойств пространства. А со свойствами пространства связаны и действующие в нем законы, по которым строится и изменяется мир, в том числе законы фундаментальные. По сути, закон природы — это описание поведения материи в пространстве, обладающем данными свойствами. И пока свойства его не меняются, закон остается справедливым, и можно даже представить, что он вечен.

Однако стоит свойствам пространства измениться... Да разве такое возможно?

Лучше спросить: да разве могут они не меняться, эти свойства, когда все сущее находится в непрестанном движении и развитии? Не только могут — неизбежно должны меняться. Меняться — под воздействием развивающейся материи. Или — под влиянием каких-то иных сил, о которых мы пока подробнее не будем.

И меняются свойства скорее скачкообразно, чем постепенно, подобно тому, как скачком переходит вещество из одного агрегатного состояния в другое. Вода в лед, например.

Приблизительное, конечно, сравнение, и все же...

Перезаконие, о котором тут говорится (таким словом точнее всего будет обозначить понятие, которым пользовались при общении Фермер и Мастер, представители высоких, много знающих и могущих цивилизаций,) — Перезаконие есть всего лишь изменение определенных законов природы в связи с изменением свойств данного пространства.

Это было частное Перезаконие, и касалось оно — в первых своих волнах — лишь одного: условий существования атомов сверхтяжелых элементов. Потому что законы, по которым взаимодействуют частицы, точно так же зависят от свойств и качеств пространства, как и все остальные. И сверхтяжелые стали распадаться. Как если бы кусочек льда попал в горячую печь.

И первым разложился самый тяжелый — именно тот, синтезом которого так не ко времени занималась нулевая лаборатория в нулевом институте.

Трудно сказать, сколько было элемента, — много или мало. Смотря для чего. Планета в целом этого факта даже не заметила.

Но для института его оказалось предостаточно.

Грянуло. Испарилась камера, в которой накапливался новый элемент. Как не бывало мощных стен: бетон — вдребезги. Осели перебитые перекрытия. Содрогнулась земля. Покосились эстакады в окружающем районе. Кровля упала вниз.

Ускоритель, приборы, записи, люди — в пепел.

Хорошо, что было уже поздно, и в институте и вокруг него людей почти не было. Кроме, конечно, самих экспериментаторов.

Тревога, сигналы, сирены, сообщения, звонки, запросы, расследования — тут же, немедленно: дело не шуточное. Какие уж тут шутки. Неверный расчет? Диверсия? Еще что-нибудь? Кто виноват? С кого спросить? Найти! Не-мед-лен-но!

Найдут. Хоть на дне морском.

\* \* \*

Впервые за время их знакомства, за два года с лишним, Форама не поехал на ночь домой, хотя раньше наступал час — и все у Мики начинало казаться ему чужим, неудобным, стесняло, вызывало досаду, происходившую, наверное, от ощущения, что все, что хотел, он тут сделал, и пора отложить это в сторону, словно опустошенную тарелку, — отложить до следующего раза. Точно так же не приходило ему в голову заночевать в лаборатории — если, конечно, того не требовала работа.

Но сейчас он о доме не то чтобы не думал, но странным казалось ему, что он вдруг оторвется от внезапно

открывшегося ему родного и необходимого, чтобы замкнуться в (так теперь понималось) душевном неуютном одиночества, до сей поры его вполне устраивавшего. Форама даже не сказал Алике, что не поедет к себе, и она его не спрашивала: все и так было ясно, те двое, что еще существовали, когда Форама несколько часов назад появился на пороге, — те двое исчезли, и возникло одно, хотя и двойное, двуединое — как электрон (подумал Форама), обладающий как бы взаимоисключающими друг друга качествами, но живущий устойчиво несмотря на — или, может быть, именно благодаря этому. Они так и не вставали больше с постели, разве что воды напиться, безвкусной, примет не имеющей, но и безвредной зато водопроводной жидкости — и говорили, говорили, словами, а то и без слов: взглядом, улыбкой, слабым движением головы, кончиками пальцев. Все остальное ушло далеко, и Форама, например, не подумал даже, как будет он наутро добираться до работы по чужим каналам, где для его кабинки не предусмотрено гнезд в графике движения; не позаботился он заказать с вечера резервное гнездо (что было, в принципе, возможно) и не настроился на ранний подъем — если бы выехать часа на два раньше обычного, когда линии еще свободны, он добрался бы до института без особых затруднений, но тогда надо было соответственно настроить кабинку, прежде чем отпускать ее. Все это даже не появилось в мыслях, потому что понятия «завтра» не возникало, а было лишь всеобъемлющее «сейчас», и в нем заключалась вся жизнь и весь ее смысл.

Так они и забылись, тесно рядом, и от чужого тела исходило теперь не ощущение помехи, как оно непременно было бы раньше, потому что у обоих за годы одиночества выработалась привычка спать по диагонали даже на очень широком ложе, но ощущение спокойствия, уюта, близости, счастья. Они были сейчас — одно, и захлебнулись сном, когда уже не различить было, где что и — чье.

А когда они открыли глаза, вокруг находились чужие люди, и стояли, и смотрели на них, обнаженных и тесных, смотрели без любопытства или сочувствия, или осуждения, или зависти; смотрели деловито. Ни возмутиться, ни хотя бы удивиться всерьез любовники не успели; им тут же было сказано, что — срочно, важно,

а подробности будут потом. Фораме велели одеться; он не протестовал, потому что в зажженном свете разглядел уже на воротниках сердечки (червонной мастью звали этих ребят в просторечии), так что протесты оказались бы ни к чему, во вред только. В голове мелькали, по две дюжины кадров в секунду, спонтанные догадки о возможных причинах столь необычного для порядочного человека вызова; нет, не было на Фораме грехов, не то что сознательных, — об этом и речи нет, — но даже и случайных, произвольных; у него за последний год даже ни одного нового знакомого не появилось, в барах и локалах он не бывал, в компаниях тоже, характер у него был не очень общительный, ему с самим собою было хорошо и весело. Так что разболтать он ничего не мог, об остальном говорить не стоило... Пока это мелькало, и он в таком темпе приходил к выводу, что повод может быть связан только с институтом, — но тогда к чему червонные? — он, выполняя вежливое приглашение, попытался было встать, но не смог — Мин Алика не пускала, обхватила руками и ногами, забыв или не желая помнить, что была нагой перед полудюжиной посторонних, здоровых мужиков в соку, — обхватила, приросла, затихла. Может быть, блеснуло у нее в голове, что это — служба нравов, но тут она вины не ощущала: находились они дома, наедине, оба свободны, наркотиков не употребляли, денежных отношений между ними не было — никакая мораль не преступалась, даже с полицейской точки зрения... Фораме понимал, что медлить не следует, однако не стал отрывать ее от себя резко, но нежно попросил отпустить его, потому что все это — бред собачий и недоразумение и что за час-другой все выяснится и образуется. Да он и был уверен, что иначе просто не может стать.

Люди с сердечками не стали грубо торопить его, видя, что он и сам все понимает и зря тянуть волюнку не будет, ибо это лишь себе во вред. Они даже отвернулись от ложа и лежавших, бегло оглядывая стены, заглядывая в шкафчики, один вышел в душ и вскоре возвратился с пустыми руками, другой осмотрел одежду Форамы и, не стесняясь, женскую тоже, аккуратно сложенную Микой вчера. Мин Алика дышала рывками, а Фораме нашептывая, целовал и гладил ее, кое-как натянув сверху простыню, и наконец, повинувшись успокоительным звукам его голоса, женщина расслабилась,



и он сразу же поднялся, накрыл ее одеялом, тут же кивнул ожидавшим и прошел в душ. Чувствовал он себя почти бодро: осмотр, учиненный червонными, был поверхностным, не специальным, какой проводится по особому указанию, а сопутствующим, профилактическим, для какого ни указания, ни даже причины не требовалось. Значит, и на самом деле пустяки какие-нибудь.

Перед уходом он еще поцеловал ее — Мин Алика все лежала, без слов, без звука, лишь как-то странно содрогааясь всем телом, — и пробормотал: «Позвоню, как только выяснится. Ты сейчас же, как встанешь, сообщи на всякий случай моему законнику», — и успел записать координаты законника прямо на стенке; ему не препятствовали, он был в своем праве, лишь один из пришедших, старший, судя по трем сердечкам на воротнике, мельком просмотрел то, что написал Форама, потом глянул на часы на стене и потом на свои, на запястье. Они вышли, и лишь вдогонку им прозвучали первые за все время слова Мин Алики: «Не бойся, все будет хорошо», — сказала она четко, без призвука слез или ужаса, и Форама успел оглянуться, улыбнуться, насколько хватило сил, и кивнуть.

Таким способом решилаась для него транспортная проблема: червонные не пользовались линейным транспортом, в их распоряжении находился воздух. Лодка ждала на крыше. Дома, линии, эстакады, еще пустые, промелькнули внизу в предутренних сумерках, высоко вверху проскользили очередные тридцать два огонька, и еще столько же за ними, — все покосились на них равнодушно, зрелище было привычным, а все же каждый раз что-то заставляло поднять голову и хоть мельком, но увидеть: жило, видимо, в подсознании понимание того, что когда-нибудь огоньки эти могут оказаться последним, что ты увидишь в жизни... Форама не гадал, куда везут, знал, что вряд ли угадает, чего же зря терзать себя, привезут — скажут, сейчас важно одно: ничему не удивляться, не спрашивать и не возражать, иначе может возникнуть неблагоприятное впечатление, ибо кто не знает за собой вины, тот и не возражает, ерепенится лишь тот, у кого рыльце в пушку. Поэтому Форама думал сейчас только об Алике, жалел ее, оглушенную таким завершением их первой любовной ночи, первой — потому что два года до того в счет не шли;

жалел и представлял сейчас каждое ее движение и каждый взгляд так четко и неоспоримо, словно сам стоял рядом и видел ее, и сжимал зубы от томления и бессилия... Тем временем ровно нарезанные кварталы промелькнули внизу, и вот лодка повисла над чем-то непонятным. Словно странный цветок раскрыл внизу свои неровные, грязно-черные со ржавыми подпалинами лепестки. Не сразу понял Форама (шесть пар глаз впились в него в этот миг), что это был их институт, но не нормальный, каким выглядел он на снимках и рисунках, а нелепо искалеченный, обезжизненный, словно кто-то сверхсильный неумно буйствовал внизу и разорвал корпус вверх и в стороны. Так оно и было, но Фораме знать это было неоткуда, и лицо его застыло в удивленном ужасе, прикинув к окошку снижавшейся лодки, потом глаза на мгновение оторвались от развалин, обошли медленно, словно в поисках разгадки, всех шестерых, — те глядели сурово, — и снова приковались к искореженному бетону, от которого ещё поднимался тонкий и холодный дым.

Лодка села прямо в развалинах, все вылезли из нее и пошли тесной группой, окружив Фораму, но, впрочем, никак не стесняя его движений. Шли перекосившимися, полуобрушенными коридорами, светя фонариками, перелезая через завалы, где глыбы бетона с торчащими, разорванными, словно нити паутины, прутьями арматуры были перемешаны с обломками мебели, приборов, битым стеклом, обугленными тряпками, в какие превратились ковры, гардины, чехлы, спецодежда; людей, к счастью, не было в тот час на верхних этажах. Перебираться было трудно, местами — рискованно, шестеро помогали друг другу, в опасных местах оберегали Фораму — и все без слова, беззвучно. Спускались с этажа на этаж по лестницам, иногда висевшим на нескольких уцелевших прутьях; Форама лишь вздыхал, сокрушенно и недоуменно, но истина уже начинала брезжить перед ним, и когда они вошли в относительно уцелевшее, усыпанное только хрупкими осколками стекла помещение в самом низу, на ярус ниже бывшей их лаборатории, он, кажется, почти сообразил уже, что такое произошло или, во всяком случае, могло здесь произойти — хотя все, что он знал и мог предположить, не давало никаких оснований думать, что это должно было произойти. И он в нетерпении все убыстрял шаг,

Люди, поспевшие сюда до них, не томились в ожидании Форамы и не выглядели уже раздавленными происшедшим, хотя в первые минуты пребывания здесь наверняка именно такими и были. Они, разместившись кое-как вокруг нескольких железных верстаков (в соседнем помещении находилась мастерская), переговаривались вполголоса, как при покойнике; покойником был институт. Пощелкивали счетчики, показывая, что уровень радиации, хотя и по сравнению с нормами повышенный, оставался все еще относительно безопасным для людей: сверхтяжелый элемент распадался чисто. Слышались тут и другие звуки, ранее в институте не воспринимавшиеся, звуки улицы: рокот линий, приглушенное шелканье переходов, неожиданно четкие голоса редких в этот час пешеходов, переговаривавшихся с солдатами оцепления. Обнаружив, что за ночь привычное, соседствовавшее с ними, изменилось не к лучшему, люди связывали теперь открывшуюся им картину с ночным толчком и грохотом, которые большинство восприняло с испугом, быстро миновавшим, так как толчки не повторялись, а на экране в это время была игра, и отвлекаться не оставалось времени. Кроме того, обширная территория вокруг института, засаженная деревьями, пригасила звук... Звучал в теперешнем слуховом фоне и голос механизмов, уже доставленных сюда и принявшихся осторожно разгребать и растаскивать обломки, так что переговаривающимся в уцелевшем помещении людям пришлось поближе наклониться друг к другу, чтобы слова долетали. Все сошлись теснее и сдвинули головы, кроме Цоонго Буя, сидевшего поодаль и не участвовавшего в разговоре. И потому, что он держался поодаль и молчал, а остальные беседовали, возникало впечатление, что он был подсудимым, а остальные — судьями, и сейчас обсуждался вердикт. Форамы, увидев коллегу, тотчас же двинулся к нему, обойдя сваленные в кучу, привезенные, но никем не надетые антирадиационные костюмы; подошел, и они обменялись кивками. Форамы взглядом спросил, Цоонго пожал плечами, кожа его лица, чуть вспотевшего, отблескивала в несильном свете аккумуляторных ламп, смешивавшемся с крепнущим светом дня, пробивавшимся в проломы. Форамы уселся рядом с Цоонго, и

теперь «обвиняемых» стало уже двое. Форама оглядел остальных; тут были ученые — руководство института и кто-то сверху, из материнской организации; были стратеги и были вещи — все незнакомые, высоких уровней. Те, что сопровождали Форама, к начальству близко не подошли, и их словно бы и совсем не стало видно.

Обвиняемым, или кем они тут были, кивнули, приглашая присоединиться к остальным; кивнули не то чтобы очень дружелюбно, однако и не враждебно — коротко, по-деловому. После краткого колебания Цоцонго и Форама поднялись, и разговор стал общим, опять-таки не резкий, а деловой разговор, без обвинений и оправданий. Интерес и цель, как сразу было сказано, были у всех одни: понять, что же случилось, установить — как и почему. Для этого важно все, любая мелочь, самая, казалось бы, незначительная. Мар Цоцонго, почему на этот раз вы не приняли непосредственного участия в опыте? А вы, мар Форама? Странно, что от вашего присутствия отказались в самый решающий момент: вы же стояли, так сказать, у колыбели?.. Это понятно, что были два человека сверх установленного числа, странно только, что именно вас... Это неубедительно: кто стал бы в такой обстановке мыслить категорией чинов и званий? Вероятно, у руководства лабораторией были и другие мотивы, во всяком случае в тот момент? Как всем ясно, спросить их об этом мы, увы, не можем, но постараемся установить по каким-то косвенным признакам, по самой логике событий. Нет, никто ни в чем никого не подозревает, и вас в том числе; однако, истина ведь должна быть установлена, не так ли? Институт погиб, погибли люди, важнейшие данные, ценный материал, и тут, мар Цоцонго, уже не до мелких обид. Очень хорошо, что вы это понимаете, а вы, мар Форама? Тоже. Итак, что у нас есть? По каким-то причинам, которые пока будем считать не вполне установленными, вы оба не приняли непосредственного участия в заключительной стадии эксперимента. А в подготовке его участвовали? Конечно. Скажите, а не могло ли — не забудьте только, речь не о вас, вас ни в чем не обвиняют, мы обращаемся к вам скорее как к экспертам, к людям более сведущим, чем любой другой; итак, не могло ли в процессе подготовки произойти — или скажем лучше: не могло ли быть допущено нечто такое, что потом привело к взрыву? Мало ли: недосмотр,

небрежность, невнимательность кого-то из готовивших, не обязательно умысел, нет, не обязательно мина замедленного действия — почему вы решили, что мы не способны мыслить иными категориями? Вы спрашиваете, каков характер взрыва? Не было ничего такого, что могло бы взорваться? Видите ли, как раз это нас и интересует, но пока нет никакой ясности. Вот почему мы и хотим представить: не могло ли что-нибудь — скажем, небольшой инициирующий взрыв — привести к гораздо более сильному взрыву, связанному с экспериментом? Так, мы особо отметим это: вы полагаете, что сам элемент в условиях, в которых он находился во время эксперимента, никак не мог стать источником взрыва. Давайте разберемся более детально. Он что, вообще не способен взрываться, этот элемент? Не беспокойтесь, все, здесь присутствующие, имеют право на полную информацию... Да-да, я имею в виду ту самую цепную реакцию, о которой вы говорите. А почему вы так уверены, что критическая масса далеко не могла быть достигнута? Да, теория, разумеется, заслуживает всяческого уважения, но не бывает ли, что практика опровергает... Невозможно? Прекрасно, мы отметим это. Ну а не могло ли быть так, что производство элемента вдруг ускорилося? Я имею в виду, что по вашим расчетам в единицу времени должно быть получено такое-то количество, а на самом деле выход оказывается значительно большим? Они постоянно контролировали накопление элемента? Ну, а если они, допустим, увлеклись или были отвлечены чем-то другим? Не представляете? Откровенно говоря, я в это тоже не очень верю. А, вот это очень важно: вы полагаете, что если бы цепная реакция вдруг началась в том объеме элемента, который должен был накопиться к концу работы, то взрыв оказался бы слабее? Очень важное замечание. А что, элемент может взрываться только таким, строго определенным образом? Да, да распадаться. А других вариантов нет — с более значительным выделением энергии? Как вы сказали — могли бы быть, если бы прекратили свое действие законы природы? Я рад, что чувство юмора вам не изменяет, и мы тоже надеемся, что все законы продолжают действовать — и законы природы в том числе. Итак, если встать на вашу точку зрения, — а вы, мар Цоцонго и мар Форам, среди нас — единственные подлинные специалисты во всем, что касается подозре-

ваемого элемента, — то мы должны признать, что получаемый в процессе эксперимента элемент, по данным теории и накопленного к сегодняшнему дню опыта, не мог стать причиной и источником взрыва, тем более взрыва такой мощности, какой на самом деле произошел. При этом умысел со стороны кого-либо из людей, причастных к эксперименту, вы отрицаете, а что касается небрежности, то не можете представить, в чем она могла бы заключаться и как проявиться, я вас правильно понял? Чудесно. В таком случае давайте подумаем, проанализируем вместе. Квалифицированными специалистами неопровержимо установлено, что взрыв произошел в той точке института, где, судя по планам и схемам, находилась камера с так называемой средой стабильности — той, над которой работали вы, мар Цоцонго, если не ошибаюсь? Именно там накапливался элемент. Допустим, что в определении центра взрыва можно было ошибиться на метр, полтора. В этом объеме находится лишь то помещение, в котором люди наблюдали за ходом эксперимента. Следовательно, если взорвался не элемент в камере, то источником взрыва послужило что-то другое, находившееся в наблюдательном помещении. Ну а что вообще там могло взорваться — как из того, что входило в условия самого эксперимента и обязательно должно было там находиться, так и из того, что могло быть принесено туда лицом, о котором мы пока ничего конкретного не знаем? Вот уважаемые ученые высших уровней считают, что и ускоритель и вся прочая аппаратура эксперимента никакой взрывоопасности не представляли. А как полагаете вы? Прекрасно, итак в этой части — полное единомыслие. Что вы думаете об исходных продуктах эксперимента? И с этой стороны, следовательно, опасность не грозила. Ну а промежуточные и конечные продукты? Не кажется ли вам, что искать нужно именно здесь? Потому что, судите сами: если бы произошел, скажем, пробой изоляции, он привел бы к замыканию в цепи энергообеспечения, и мы отделались бы перерывом в ходе эксперимента, ну пусть выходом из строя ускорителя или даже всего лишь каких-то его секций, в самом крайнем случае возник бы пожар. Но не взрыв! Далее, исходные продукты: атомарный гелий, — у меня правильно записано? — свинец и золото. Ничто из них не взрывается. И остаются лишь два места поиска: сам процесс

синтеза и уже синтезированный элемент. Вот-вот, вы заметили совершенно правильно: процесс синтеза был испробован неоднократно, и не только теоретически, но и практически не должен был приводить и не приводил ни к каким непредвиденным осложнениям. Значит, остается одно: сам элемент. Повторяю: мы исключаем — пока — возможность злого умысла.

Да, мы готовы согласиться с вами, что здесь есть две стороны вопроса: сам элемент и условия его хранения, или, как вы это называете, среда. Что же, давайте продолжим наш анализ. Что представляет собой среда? Ах, перестроенное воздействием комбинации полей пространство. Ну хорошо... Могла эта среда нарушиться? Вы полагаете — могла, если бы — что? Если бы разрегулировались или вышли из строя поддерживающие ее устройства, или если бы прекратилась подача энергии к ним. Почему маловероятно? Тройная надежность, три параллельных цепи? Звучит убедительно. Могу добавить: цепи энергоснабжения находились под нашим постоянным контролем, — вы этого не знали, вам и не нужно было знать этого, — и до самого последнего мгновения (у нас есть записи) ничто не указывало на возможность какой-нибудь неисправности, перебоя. Итак, если отрицать наличие умысла... Но не будем пока об этом. Предположим простое совпадение: вышли из строя все три цепи. Теоретически такое ведь возможно, как вы полагаете? Я понимаю, что вероятность мала, но все же... Итак, они вышли из строя, все три; к чему это привело бы? Можно этим объяснить то, что произошло?

Вы говорите — исключено. Мы, конечно, смыслим в теории куда меньше вашего, но все же постараемся понять хоть что-то, и пусть наше невежество вас не смущает. Объясняйте смело. Итак, два периода полураспада; допустим. Один — вне среды, другой — в среде. Пока все понятно. Нет, формул не надо, словесно. Итак, если бы среда прекратила свое воздействие, элемент перешел бы из категории долгоживущих в категорию неустойчивых, но все же с периодом полураспада... не так быстро, пожалуйста... двенадцать с половиной часов приблизительно. Так; дальше? При наличии того небольшого, вы говорите, количества элемента, какое было синтезировано, распад его с данной скоростью не привел бы даже к сколько-нибудь заметному

увеличению радиации? Все это было бы прекрасно, если бы не одно обстоятельство: взрыв-то все-таки произошел, и это — непреложный факт. Вы по-прежнему утверждаете, что элемент взорваться не мог. Да, о массе вы уже упоминали. Критическая, подкритическая... Теория, знаете ли, хороша, когда она объясняет факты, но вот факт налицо, а теория объяснить его не в состоянии. И очень жаль.

Да, естественно, что вам тоже жаль. Удивительно, если бы было иначе. Да потому, что если взорвался не элемент, то взорваться могло лишь нечто, чего в лаборатории быть вообще не должно было. И тут уж никак не обойтись без понятия умысла. Но умысел существует, как вы понимаете, не сам по себе, а лишь в связи с определенным, конкретным субъектом — носителем умысла. И этот злоумышленник, мы уверены, находится не среди погибших, а меж уцелевшими. Об этом свидетельствует **наша** теория и **наша** практика. Так что лучше давайте-ка сначала попытаемся исчерпать все, что можно сказать и предположить по поводу элемента.

Что значит — мы вас запугиваем, мар Цоцонго? Отнюдь. Просто обстоятельства в данном случае складываются не совсем благоприятно для вас, а наша задача — анализировать именно обстоятельства. Какие именно? Пожалуйста, я назову их. От участия в завершающей стадии эксперимента вы оба каким-то образом уклоняетесь, это раз. Да, вы говорили, но проверить этого никто уже не в силах, к нашему глубочайшему сожалению. Второе: вы не ожидаете даже завершения эксперимента, что казалось бы для вас вполне естественным, но покидаете лабораторию и институт, едва лишь истекает официальное время работы. А ведь, как нам известно, вы неоднократно задерживались в лаборатории и по менее важным поводам, вряд ли вы станете опровергать это. Обида? Знаете ли, мар Форама, обида способна продиктовать и самые, казалось бы, неожиданные поступки, в том числе злонамеренные; я на вашем месте не стал бы ссылаться на обиду. Что ж, если вы настаиваете — пожалуйста... Итак, фактом остается, что оба вы поспешно покинули институт. Нам известна ваша другая причина, мар Форама, нам все известно. Но в связи с этим обстоятельством возникает, в свою очередь, целый ряд вопросов. Ну, например. Вы человек, скажем так, средних лет. Партнерша ваша...



да, ради бога, пусть — любимая, тем хуже, — итак, ваша возлюбленная значительно моложе. Интерес молодых женщин к мужчинам в возрасте, вы уж не обижайтесь, нередко бывает связан с чисто материальными стимулами. Нет, мы не беремся судить, с чем именно вы приезжали к ней, что дарили, и так далее. Мы сейчас не знаем точной суммы ваших расходов, но постараемся узнать, будьте спокойны. Какое отношение имеет? Самое непосредственное, не столь уж вы наивны, чтобы не понимать. Во-первых, эксперимент был связан с затратой немалых количеств золота. Вы знаете эти данные, да и мы тоже. Кто закладывал золото в камеру? Да, но под вашим надзором? Вот; а имели ли вы после доступ к камере на протяжении этих восьми часов? Видите! Следовательно, при всем уважении к вам мы... Взрыв, согласитесь сами, — прекрасный способ скрыть дефицит ценного металла, который сейчас на бирже оценивается... Что значит — не синтезировалось бы? Мы понимаем так, что синтезировалось бы, но меньше запланированного, а когда случилась заминка оттого, что золото кончилось раньше времени, — тут и грохнуло... Минимальная масса, необходимая для начала синтеза, иначе ничего не пошло бы? Но это вы так говорите, это еще проверить надо. А как мы сейчас проверим, если все в обломках? В ноль двадцать третьем институте? Что же, неплохая идея. Мы наведем там справки. Но, кстати, вовсе не обязательно дело должно заключаться именно в золоте. Это лишь одна из рабочих версий, гипотез по-вашему. Есть и другие. Вы не забыли, мары, что на свете существуют Враги? И что для них было бы очень кстати, если бы наш головной институт, занятый решением проблем, во многих отношениях представляющих важнейший государственный интерес, взлетел на воздух — как оно и получилось на деле. За такое удовольствие они были бы готовы заплатить куда больше, чем стоило то несчастное золото... Повторяю: это гипотеза, мы не сомневаемся, мар Форам, что вы не только лояльные граждане, но и патриоты, никто этого не оспаривает, вы зря возмущаетесь... Но тогда позвольте уж и мне быть откровенным: а в вашей любовнице вы тоже уверены? Так-то вы все о ней и знаете? А вы обращались к нам, чтобы мы дали заключение? Поймите правильно, мы не ханжи и не пуритане, человеческие потребности есть челове-

ческие потребности, и ученый тоже человек, никто не подвергает этого сомнению; но если бы вы обратились к нам, мы с радостью помогли бы вам сделать правильный и во всех отношениях достойный выбор; однако вы так не поступили, так что позвольте уж нам остаться при наших сомнениях — во всяком случае до тех пор, пока они не будут опровергнуты — безусловно, к нашему общему удовольствию. Мы уже принимаем некоторые шаги в поисках именно этих опровержений... А вы, мар Цоцонго, ваших партнеров по «мосту» хорошо знаете? Мы слышали, вам случается там и проникать, и не так уж мало. Не возникает ли у вас в этой связи нужда в дополнительных доходах, кроме тех, о которых вы сообщаете налоговому инспектору? Проверим, мар Цоцонго, проверим, проверить — наш долг.

Что у вас еще, мар Цоцонго? Да, разумеется, специалисты уже определили силу взрыва достаточно точно. Как оценивается она в пересчете на стандартное взрывчатое вещество? Кажется, есть. Сейчас, минутку... Да. Взрыв эквивалентен... м-м... Сколько это будет — десять в шестой степени килограммов? Тысяча тонн? Да нет, быть не может. Разрушения, конечно, велики, но... Ах вот как, вверх? Перекрытия представляли меньшее сопротивление, чем... Так, так... Подтверждения сейсмических станций, так... Да, мы знаем, что институт строился с учетом возможности подобных происшествий... Какой объем занимает тысяча тонн стандартной взрывчатки? Не знаю точно, полагаю, что... Вы спрашиваете, где она могла бы помещаться так, чтобы ее никто не заметил, и каким способом можно было бы доставить ее на место взрыва через всю систему безопасности института? М-да, это было бы и вправду затруднительно. Действительно, трудно предположить, чтобы в стенах института могло находиться такое количество взрывчатки. Пронести-то ее можно было бы и по килограмму... Но почему именно стандартное вещество? Почему не урановый заряд? Ах, нынешний уровень радиации был бы во много раз больше? Да, видимо, так оно и есть.

Ну что же, признаюсь: я очень рад. Рад тому, что версия о взрыве, произведенном при помощи каких-то посторонних средств, отпадает. Видимо, мы не успели предварительно взвесить все «за» и «против» этого

варианта, у нас просто не было времени, и я очень благодарен вам, мары, за то, что вы помогли нам прояснить некоторые важные детали. Надеюсь, что и в дальнейшем мы сможем сотрудничать так же плодотворно.

Однако из этого с очевидностью следует один вывод, а именно: мы должны снова вернуться к элементу. Почему нам так хочется? Во-первых, потому, что причина взрыва все же должна быть точно установлена — хотя бы для того, чтобы предотвратить подобные явления в дальнейшем. Во-вторых...

Во-вторых, — тут мы коснемся некоторых, так сказать, вопросов весьма важного, но и деликатного свойства. Вы, конечно, понимаете, мары, что те два представителя Стратегической службы, которые прибыли для участия в заключительной стадии эксперимента, — весьма достойные люди, память о них сохранится в наших сердцах, — прибыли далеко не случайно и не из чистой любознательности. Вы знаете, вероятно, что возможность использования нового элемента в качестве... э-э... рабочего вещества в некоторых устройствах, играющих важную роль в проблемах планетарной обороны... Знаете, да. Так вот, здесь как вы успели, конечно же, заметить, присутствуют другие, весьма авторитетные представители столь почитаемого нами ведомства. И не случайно. Взрыв, о котором все мы, разумеется, глубоко скорбим, — страшное же несчастье, погибли прекрасные люди, — взрыв получился, надо сказать, очень убедительным. Если действительно это взрыв элемента; но вы сами помогли нам опровергнуть иное предположение. Раньше тоже считали, что новый элемент сможет получить определенное распространение для упомянутых мною нужд. Однако тогда — го-мары подтвердят, — принималось, что понадобятся значительно большие его количества. Сейчас, когда есть основания считать, что столь грандиозные разрушения возникли при срабатывании крайне малого количества элемента — вы говорили, мар Форам, что... Да, не более кубического сантиметра, — стратегам, естественно, сразу же захотелось выяснить: а нельзя ли немедленно предпринять шаги в направлении, так сказать, полезного применения этого неожиданно открытого свойства. Тогда мы получили бы возможность конкретно думать о новых, гораздо более совершенных средствах защиты,

которые для своей доставки в нужные районы не потребовали бы столь громоздких устройств, как современные, и в то же время... В конце концов у всех у нас — одна забота. Таким образом, что требуется сейчас от всех нас, а от вас, мар Цоцонго и мар Форамы, в первую очередь? Думать. Интенсивно и продуктивно думать. И как можно скорее найти те обстоятельства, условия, события — как угодно, — которые привели к столь неожиданному результату. Потому что только выяснив все до конца, мы сможем повторять подобные взрывы уже сознательно, иными словами — ставить новые эксперименты, результатов которых будут с нетерпением дожидаться очень многие. Вы ученые, вы лучше меня понимаете, как добиться этого; мыслите теоретически, пробуйте практически — делайте все возможное. Мы понимаем, что трудно ставить вам какие-то конкретные сроки, но думаю, что справиться как можно скорее — прежде всего в ваших собственных интересах.

Да, мар Цоцонго, но не только потому, что это будет, безусловно, связано со многими отличиями и продвижениями, а также иными поощрениями. Но еще и потому, что если вам не удастся, невзирая на все усилия, найти обоснованное объяснение происшедшего, как некоего естественного процесса, связанного с особенностями нового элемента, то нам волей-неволей придется продолжать поиск в иных направлениях. Ибо, согласитесь, без причины институты не взрываются. И тогда нам снова придется, к нашему взаимному огорчению, вести разговор на личные, и порой весьма щекотливые темы. Так что, учитывая все сказанное... О чем, о чем я не упомянул? Ах, вот что... Да, конечно, нельзя не согласиться с тем, что в таком варианте могли бы возникнуть предположения, что в системе обеспечения безопасности вашей деятельности, деятельности института, оказались какие-то прорехи, слабые места, недоработки, на худой конец просто плохое несение службы теми, кто должен нести ее бдительно. Однако, мары, могу вас заверить: мы убеждены, что в нашей системе подобных недостатков не было и нет и взрыв никоим образом не связан с ее несовершенством. Никто, повторяю — никто не мог проникнуть со стороны и каким-то образом организовать катастрофу. За весь низший персонал мы ручаемся, он — вне подозрений. Что же

касается самих ученых... Но об этом мы сегодня говорили уже достаточно. Так что будет очень хорошо для всех, подчеркиваю — для всех без исключения, если окажется, что виновата тут природа, и никто другой. Природа — ну, в сочетании, быть может, с ошибкой или небрежностью, допущенной в роковой момент одним из тех несчастных, с кем мы уже более не можем побеседовать. Найдите эту ошибку, мары, научитесь повторять ее совершенно сознательно — на расстоянии, конечно, при помощи механизмов, мы не желаем жертв, — и из совершившегося несчастья мы сможем извлечь, не исключено, немалую пользу для нашей прекрасной планеты в целом и для каждого человека в частности...

\* \* \*

Таким был этот странный разговор. После того, как представитель вещей умолк, на столе как-то незаметно появились бутерброды, соки, молоко — все натуральное, все высшего уровня. Все и на самом деле чувствовали необходимость подкрепиться: нервов было потрачено немало, а расход нервной энергии при сидячем образе жизни, как известно, ведет к ожирению, неправильному обмену и множеству заболеваний сердечно-сосудистой, нередко столь пренебрегаемой нами системы. После импровизированного завтрака стратеги и все прочие составили сами собой один кружок, ученые же объединились в другом, где пошел разговор уже более конкретный.

Конкретным он стал, конечно, не сразу, никто просто не знал, с чего начать, за что зацепиться. Слишком невероятным было случившееся, и единственным, что они, люди знающие, могли по этому поводу сказать, было бы: «Такого не бывает». Но вот же было, однако. И теперь приходилось объяснять, что же случилось, как и почему. Задача, выходящая за рамки научного анализа, как прямо и заявил один из ученых высших уровней. Директор бывшего института, тоже змееносец, лишь потряс лысой головой и пробормотал: «Господи, вот уж действительно незадача, о господи!» — и этим его вклад в анализ проблемы пока что ограничился: совсем растерялся старик. Теоретик четвертой величины уже считал что-то на извлеченном из кармана калькуляторе, потом сказал: «Во всяком случае, это не аннигиляция.

Иначе тут осталась бы разве что воронка и немного пыли». Тут все встрепенулись: для научного анализа отрицание не менее важно, чем утверждение, значит, наметился путь: давайте сначала отметем все, чего быть никак не могло, а потом уже посмотрим, как можно интерпретировать то, что останется. И понемногу дело пошло.

Форама с самого начала, как только завершился тот, первый разговор, где ему явно или неявно кое-чем угрожали, ощутил некий прилив уверенности: в конце концов, если вдуматься, речь ведь шла о вопросе, относящемся к области его научной компетенции, случившееся можно было рассматривать и как нормальную проблему. Дело было всего лишь в очередной загадке естества — но не их ли и разгадывал он долгие годы? Цоцонго, как только разговор пошел о деле, тоже приободрился, почувствовал себя, словно на очередной научной конференции. И начал рассуждать вслух:

— Видите ли, как правило, такого рода неожиданности должны все же предупреждать о себе некоторыми странностями в поведении природы, определенными отклонениями от нормы. В естестве все обусловлено, хотя мы и далеко не всегда умеем проследить и обосновать эту обусловленность...

— Какие же странности были на сей раз? Вам удалось что-нибудь заметить?

— Не знаю, можно ли ставить в прямую зависимость... Как раз вчера, пока шел эксперимент, в котором мы с коллегой неожиданно не смогли принять участия... мы таким образом получили свободное время и смогли повнимательнее всмотреться в материалы предшествовавших дней. И вот при анализе снимков я подметил любопытную, кажется мне, закономерность... Я не ставлю этого себе в заслугу, с таким же успехом ее нашел бы и мар Форама, мне просто больше повезло... Я заметил, что скорость распада нового элемента, распада вполне естественного, самопроизвольного, закономерного и безопасного не оставалась постоянной, но варьировала.

— Каким же образом? — это директор начал оправляться от шока: знакомая лексика подействовала на него, как успокоительная музыка, как лекарство от нервов.

— Двойко. Во-первых, она, эта скорость, проявила четкую тенденцию к нарастанию...

— Теоретически ничем не обоснованную, — вставил Форама.

— Вот именно. И тем не менее вчера скорость распада, судя по фотографиям, была больше, чем позавчера. Позавчера — больше, чем днем раньше. Меня это заинтересовало, я взял часть снимков — сколько уместилось в портфеле — с собой, и вечером дома попытался сделать какие-то первоначальные выводы. И оказалось, что достаточно долгое время с начала работы по синтезу нового элемента скорость распада оставалась постоянной, и именно в теоретически предвычисленных пределах.

— И никаких аномалий?

— Вероятностные флюктуации, не более. Но затем, начиная с определенного момента...

— Минуточку, мар. С какого именно момента? Это важно.

— Сегодня — пятый день с тех пор, как все началось. Скорость распада начала увеличиваться как раз в последние дни.

— Скачками? Постепенно, равномерно? Подчиняясь какой-то закономерности? Можно ли отыскать функциональную зависимость?..

— Пока не удалось. Не так ли, мар Форама: четкой закономерности там не было или, во всяком случае, она смазывалась другим явлением.

— В общем, — вступил Форама, — тенденция ускорения была несомненной, но ускорение не выглядело, как функция какой-то переменной. Или, вернее, переменная сама возрастала без системы, не подчиняясь какой-либо закономерности. А смазывалось явление тем, что величина распада еще и варьировала в течение суток: становилась максимальной ночью и ослабевала к середине дня, несколько позже полудня. Причины этого пока совершенно неясны — для нас, во всяком случае. Видимо, нужно собрать дополнительные материалы.

— В чем вы нуждаетесь, мар Форама?

— Мы должны попытаться восстановить: не началось ли пять дней назад нечто, какой-то процесс, который так или иначе можно было бы связать с поведением элемента. Мы не имеем представления о характере этого процесса, поэтому надо принимать во внимание буквально

все. И то, что происходило в других лабораториях института, и в окрестном районе, и — кто знает, — даже у антиподов. Очень важно, что этот гипотетический процесс должен изменяться таким же образом, нарастая и ослабевая от полуночи к полудню.

— Громадный объем работы, — сказал директор. — Но, я уверен, нам помогут. Очень много заинтересованных.

Все невольно покосились туда, где заинтересованные сидели за другим железным верстаком и тоже, видимо, составляли свою диспозицию.

— Но уже сейчас, — сказал Форам, — запрашиваются некоторые предположения.

— Мы внимательно слушаем, мар Форам.

— Совершенно не исключено, что некое воздействие, вызывающее повышение скорости распада, связано с ориентацией планеты в пространстве. Если принять такое предположение, то придется учесть и возможность внешнего воздействия, иными словами, что источник возмущений может находиться вне планеты.

— Интересно. А вы, мар Цоцонго, тоже так считаете?

— Не исключаю. Хотя это и не обязательно. Например, воздействие радиоволн определенных частот. Известно, что проходимость коротких волн меняется от времени суток, и...

— Однако, мар Цоцонго, до сих пор считалось общепризнанным, что никакие воздействия такого рода не могут влиять на скорость распада неустойчивых элементов...

— Тут речь может идти о возмущении среды. Не забудьте: в нашем случае среда — пространство, организованное комбинацией полей...

— Об этом никто не может судить лучше вас.

— Раз уж приходится заниматься тем, что, по существующим воззрениям, вообще не должно происходить, то почему бы не допустить и такого предположения? Механизм влияния, конечно, нам пока непонятен. Но можно подумать, что вам ясен механизм внепланетного влияния!

— Нет, разумеется. Но тут остается возможность поисков. Скажем, какое-то жесткое излучение...

— Кто-нибудь его да зарегистрировал бы, — не согласился Цоцонго. — Ибо тут нужно необычайно мощное излучение, способное разбивать ядра. Это раз. А



во-вторых, оно должно нарастать, иными словами — мы должны сближаться с его источником. Видимо, нужно запросить обсерватории.

Подошедший к их столу вещей уже минуту-другую прислушивался к этому обмену мнениями. Сейчас он, видимо, счел, что наступил подходящий момент для того, чтобы повернуть ученое собеседование в надлежащем направлении.

— Прекрасно, — сказал он. — А вы не подумали, мары, что вражеская планета — тоже внешний фактор? И что поток излучений, о которых вы говорили, мог исходить именно оттуда? Мы срочно запросим обсерватории: в какое время суток их планета стоит в нашем небе выше всего и каково сейчас взаимное движение планет. Но если моя, пусть и не совсем научная гипотеза подтвердится, то неизбежно возникает вопрос: каким же образом наши враги с такой точностью узнали, какая именно работа ведется в вашем именно институте? Мы будем крайне серьезно интересоваться этим. И виновных, самое малое, в разглашении тайны мы неизбежно найдем.

— И все же я предпочитаю думать, — упрямо проговорил Форам, — что мы столкнулись с каким-то явлением природы, которое пока не можем объяснить.

— Мар Форам, — помолчав, сказал змееносец, директор института. — До сих пор, по крайней мере, наука исходила из стремления объяснять мир на основании уже известных нам и многократно подтверждавшихся на опыте явлений. Лишь при полном отсутствии другого выхода мы решаемся строить гипотезы относительно новых, неизвестных нам процессов. Вы это прекрасно знаете. В данном случае, как мне кажется, нет ни малейшей надобности измышлять какие-то дополнительные силы природы, потому что все, видимо, может быть истолковано на базе известных нам законов, а также тех обстоятельств, о которых нам крайне своевременно напомнил го-мар. — Старик, встав, поклонился вещему. — Думаю, что именно в этом направлении мы и направим наши объединенные усилия.

— Но ведь, в конце концов, мир развивается! Происходит движение материи! И...

— Мар Форам! Мир развивается по своим неизменным законам, и допущение иной возможности ставит допустившего вне пределов науки. Ставит на уровень

донаучных представлений. И я бы не хотел верить, что вы всерьез предполагаете...

Форама промолчал.

— Прекрасно, — бодро проговорил вещей. — Итак, будем и далее исходить из установленных законов физики — и психологии, и политики, и всего множества обстоятельств, которые постоянно влияют на нашу жизнь в самых разнообразных своих комбинациях. Да, мары, поведение не только ваших элементов, но и любного человека, его поступки, даже самые низкие, постыдные и отвратительные тоже обусловлены законами, и законы эти нам известны не хуже, чем вам — какой-нибудь закон тяготения. Это законы не природы, но общества; но общество обладает и иными законами, строгими и действующими неукоснительно, и направленными на полное искоренение таких поступков, о которых я только что упомянул. Сейчас мы продолжим работу; кроме астрономов, запросим и стратегических наблюдателей, и нашу славную внешнюю разведку... Однако поскольку опыт учит нас не пренебрегать даже самыми иллюзорными возможностями, я думаю, будет лучше, если вы, мар Форама и мар Цоонго, продолжите поиски в том направлении, какое, видимо, вам ближе — неизвестных явлений. Однако, если помимо этого у вас возникнут какие-то предположения относительно каналов утечки информации, мы будем вам только благодарны.

— Хорошо, — сказал Форама, вставая. — Тогда я поеду.

— Вряд ли вам следует сейчас покидать нас, — сказал вещей. — Дома у вас сейчас некоторый, я бы сказал, беспорядок: мы были несколько растеряны в первый момент, не застав вас там. А у прекрасной Мин Алики в данный момент находятся наши люди: нам все же необходимо до конца выяснить то, чего сами вы, к сожалению, нам сказать не можете: что она в конце концов за человек. Потому что тут у нас возникли некоторые неясности... Нет, мар Форама, и вы, мар Цоонго, — мы создадим вам все условия для напряженной работы и полного отдыха, условия не хуже тех, какие были здесь, в институте. И будем ждать результатов. Связаться с нами при нужде вы сможете мгновенно. А сейчас наши люди вас проводят...

Снова те шестеро материализовались из ничего, из каких-то завихрений воздуха — и окружили, оставляя свободным лишь направление к выходу. Фораме усмехнулся углом рта, расправил плечи, независимо заложил руки за спину, повернулся и зашагал. Цоцонго Буй шел за ним, оставшиеся у стола молчали и смотрели им вслед.

## Глава четвертая

Что верно, то верно: отдохнуть им здесь никто не помешает. Если даже и захочет, не помешает: просто не доберется до них, не преодолеет это множество постов, решеток, автоматических и охраняемых, под напряжением и без; заблудится в лабиринте подземных двориков, где ни единого человека, но полно собак, здоровенных, с теленка, с холодно-презрительным взглядом, готовых без предупреждения, не подав голоса, развернуться пружиной, броситься, повалить, запустить зубы в теплое и пульсирующее... Двоих провели по всем этим переходам и дворикам, предупредив, что разговаривать здесь не разрешено, собаки не любят человеческой речи; миновали еще одни ворота, которые запер за ними дылда с серебряными ключиками на высоком стояче-отложном воротничке, с цветом лица неестественно бледным (такой бывает трава, растущая в подвалах, куда не проникает естественный луч). Заперев ворота, дылда пересчитал приведенных справа налево: «Один, два», потом слева направо — тоже «один, два». Счет сошелся, он удовлетворенно кивнул, подобие улыбки ужом скользнуло по белесым губам. «Яйцеголовые, падлы, — сказал он в пространство, не глядя ни на кого в особенности, — допрыгались, зажрались, баб на лапались, книжек начитались, стали планету продавать, теперь побрызгаете красной юшкой, ублюдки грязные, метисы чертовы, чтобы тихо было, еще наслушаетесь, как другие орут, пока не придет ваш черед. Туда вам и дорога!» Холодные мурашки засуетились на спине, Фораме невольно передернул плечами. «Вместе, что ли? — спросил ключник. — Это что за мода такая пошла?» — И снова повернулся к двоим. «Зря не вызывать, за это — в рыло, и следа не останется, — пре-

дупредил он, все так же глядя поверх них. — Завтрак без вас сожрали, обед через четыре часа». Тот из шести, с тремя сердечками, что провел их по лабиринту, перебирая пальцами незримую нить, молча ухмылялся, наслаждаясь. «Падлы», — снова проговорил ключник, тогда сопровождающий впервые подал голос: «Не брызгай, Блин, это не твои постояльцы. Ну-ка, проводи нас к лифту — нам наверх». Ключник засопел обиженно, стараясь понять. «Это что же, — проговорил он затем, — спектакли тут разыгрывать мода пошла?» «Забыли тебя спросить, — откликнулся проводник, — приказано — выполняй». Форама облегченно вздохнул, когда они очутились в обычной кабинке лифта и поехали наверх. Сюда наверняка можно было попасть и более кратким и нормальным путем, но их специально провели через подвалы — чтобы до конца прониклись пониманием серьезности событий.

В конце концов они очутились в помещении, напоминавшем хороший гостиничный номер: две спальни, гостиная; в гостиной успели уже установить средней мощности вычислитель, информатор; телефон тоже был. Форама первым делом схватил трубку, но вместо автомата ответил человек: «Слушаю?». Форама после мгновенной паузы попросил: «Соедините с городом». «Связь только с начальствующим составом, — ответил телефонист. — С кем соединить?» «Не надо», — ответил Форама и положил трубку.

После этого они оба долго молчали, понемногу приходя в себя, нормальным образом выстраивая мысли: помогала привычная дисциплина рассуждений. Только сейчас они вдруг по-настоящему поняли, что произошло, до этого им все как-то некогда было сообразить: ведь что бы ни происходило с ними сейчас и что бы о них ни думали, в чем бы ни подозревали, но главным было то, что вся работа, по сути, пропала зря, в самом, казалось, счастливом конце уперевшись в непредвиденную, новую, мощную загадку. И — люди погибли, что еще хуже, хорошие, умные люди погибли безвозвратно. Но и этим беды не исчерпывались: планете ведь и на самом деле грозила опасность, они чувствовали ее интуитивно, да и не одни они чувствовали — однако корни опасности каждый пытался искать в привычном для него направлении: они — в своем, вещице — в своем. Что же на самом деле произошло, что могло произойти?

Не только престиж требовал докопаться, но и совесть: не кто иной, как они заварили всю кашу с новым элементом, и совесть требовала, чтобы сами они и расхлебывали ее в первую очередь.

Самое время было всерьез задуматься над этим. Но мысли далеко не всегда идут по намеченной для них тропке; и Форамма вдруг почувствовал, что как бы ни разлетелась вдребезги работа (а в ней еще недавно, сутки назад еще, видел он весь смысл жизни) и какие бы люди ни погибли, не это сейчас было для него главным. Иной образ возник перед ним, реально, осязаемо, словно Мин Алика вошла сейчас и остановилась посреди комнаты, печально глядя на него; не такая, какой была она в ту первую и последнюю ночь — раскрывшаяся вдруг женщина со всей ее великой женственностью и даром любви, какого она, может быть, и сама в себе не подозревала до самого последнего момента; не такой предстала она, но прежней — стесненной внутренне и от этого сдержанно-покорной, готовой услужить, но лишь потому, что традиция так велела, а не из потребности любви; аккуратно снимающей с себя и складывающей все, что на нее было надето, и поглядывающей при этом снизу вверх с выражением: я все правильно делаю, ничего такого, что было бы тебе неприятно? (Но ему было бы неприятно другое: если бы все делалось с показной, чужой лихостью, за которой часто кроется если не страх, то нежелание и подсознательная мысль: это не я вовсе и делаю и буду сейчас делать, но какая-то другая, та, что на время подменяет меня, а настоящая я стою в стороне, чистая...) И потом торопливо повиновавшуюся ему, угадывая все заранее, а вернее, просто выучив наизусть: фантазия у него не работала, и даже мысли не возникало: как сделать, чтобы было лучше — ей; повиновавшуюся, как человек в парикмахерском кресле спешит подчиниться каждому движению мастера, поднимая голову или опуская, поворачивая вправо или влево. Да, а о ней он думал в те минуты не больше — об ее удобствах, желаниях, удобствах — чем обедающий о жареном цыпленке: не все ли ему равно, как начнут его грызть?.. И вот такой явилась она перед ним, прошикнув в удобное, но все же запертое и вряд ли легкое для доступа посторонних помещение, проникнув вопреки уверенности подвальной травы с ключами на воротнике — в легкой

белой блузочке, в домашней юбке, которая была когда-то служебной, а потом понизилась в ранге (никогда Мин Алика не старалась подать себя, произвести впечатление; что было в ней от природы, то и было, и ни на грамм искусства), стояла, как бы радостно удивленная, но в то же время и испуганная немного, неуверенная, как пришедший экзаменоваться студент, точно знающий, что он и половины не прочитал, но уповающий на то, что другие этого не заметят; Мика стояла, опустив руки, но не вдоль бедер, а слегка перед собой, словно готовая в следующий миг поднять их в защитном движении, бледная, испуганная, потерявшаяся маленькая великая женщина... Вдруг Фораме стукнуло в голову, что и на отношения с ним она пошла не потому, что он показался ей чем-то лучше других; а пошла она на это потому, что он, наверное, просто оказался тем, кто этого всерьез захотел, когда она была одна, одиночество же, как он только сейчас понял, было не ее формой бытия. Форам застонал даже, вспомнив, а вернее — только сейчас поняв, как бездарен был по отношению к ней, как удовлетворялся самим фактом их близости — физической, не более, тем, что лежало на поверхности, — и ему даже в голову не приходило заглянуть и проникнуть поглубже, увидеть то, что жило в ней в полусне и ждало: планета ждала своего открывателя, да что планета — целая вселенная ждала, еще ни в какие каталоги не внесенная вселенная... Вот почему так рванулась она ему навстречу, навстречу глазам, впервые увидевшим ее, сердцу, впервые зазвучавшему не как мотор, а как оркестр, рукам, охватившим ее не как материал («Как рабочее тело», — подумал он, грубо насмехаясь над самим собой), но как что-то такое, что поднимают, чтобы поклоняться... Рванулась — потому что и сама возникла в тот миг из любовного небытия, словно любовь была до сих пор дешевой литографией на стене или базарным ковриком; но они шагнули — и поняли вдруг, что это не плоская картинка, что коврик — лишь занавес, а за ним — мир, в который вдруг открылся вход... Какие-то детали, все новые, всплывали в памяти только сейчас, подобно ныряльщику, поднимающемуся на поверхность, чтобы вдохнуть свежего воздуха, всю надобность которого только и понимаешь под водой; как он стоял в комнате, где повернуться негде было, держа Мiku на

руках, словно младенца, и не было ни тяжело, ни неудобно, как если бы они для того только и были созданы, чтобы он носил ее, а она, обхватив тонкими руками его шею, руками которые все время до того казались ему некрасивыми, слишком уж детскими или как от недоедания, — и прижавшись щекой, дышала куда-то под левое ухо, и было в этом спокойном и родном дыхании столько великого смысла, что рассказать его не хватило бы всех слов в языке... А потом — или наоборот — она лежала, а он стоял на коленях перед нею, стиснув руки, как для молитвы, и говорил что-то, но слова не удержались в памяти. А еще было: он лежал один, и створки двери вдруг распахнулись, ушли в сторону и в его каюту вошла она...

«Да нет же», — сказал Форама сам себе. «Какая каюта, какие створки?.. Ладно, ладно, — сказал он сам себе. — Мастер, черти бы его взяли, сделал по-своему, заставил меня. Нет, не меня, Форама. А я кто? Я и есть... Но насколько труднее было бы мне оказаться в этой каше, если бы не возникла она, даже сейчас, на расстоянии, держащая меня прямо, не позволяющая согнуться, да, прав был Мастер. — с этим я вдвое, втрое сильнее. Только почему это Мин Алика, ну ничем не схожая с Астролидой, зачем же меня так разминивать?.. Какая Астролида, — подумал Форама, — я в жизни не слышал такого имени, я не знал такой женщины, да и о каком мастере речь идет? Нет, Алика и только она стоит сейчас передо мной, вдвойне беззащитная оттого, что не может более оставаться равнодушной, оттого, что судьба только что сделала ее безмерно богатой — чтобы тут же другой рукой отобрать все дарованное, и тем сделать ее много беднее, чем раньше». А он, Форама, носитель счастья и несчастья, сидел сейчас в достаточно удобном помещении, где действительно можно было, наверное, и работать, и отдыхать, но откуда нельзя было не только выйти, но даже позвонить ей и сказать хоть два слова, приободрить, передать, что — любит, что — верит, что — обязательно будут они вдвоем, пусть даже не только институт — пусть даже вся чертова планета летит вдребезги...

Он подумал так и испуганно удивился: неужели он помыслил такое о планете, о своей родной планете, на которой и для которой он жил, работал, искал и находил, синтезировал новые элементы; которой желал не

меньше добра, чем самому себе? Ведь не было у него таких мыслей! Неоткуда было им взяться! Он прокричал это мысленно, и вовсе не потому, что как раз там, где он сейчас находился, было для подобных мыслей самое неподходящее место; пусть и не вслух они высказаны, а все же — кто знает?.. Нет, он и на самом деле всю жизнь понимал: если не родная планета, то кто же? Враги? Но Врагов он ненавидел с детства, с ними было связано все черное, мрачное, жестокое, ужасное, нечеловеческое — естественно, они ведь и людьми не были в полном смысле слова, это все знали; в лицо их, правда, никто не видал — кроме дипломатов, конечно, договоры-то заключать все же приходилось, дипломатов и других, кому по роду деятельности это было положено, — но по карикатурам каждый знал, что они не люди, а чудовища, даже глядеть на них было страшно. Нет, ничего не было прекрасней родной планеты, и что бы на ней ни происходило — все было правильно. Совсем раем была бы она, если бы не кружили над ней вражеские бомбоносцы, выбегая из-за горизонта и поспешно, словно стыдясь укоризненных взглядов, пересекая небосвод, каждые пять минут — новая шеренга. Так откуда же могла взяться эта, недопустимая даже в качестве обмолвки, грязная, отвратительная мысль о том, что пусть хоть вся планета взлетит на воздух — только бы с Микой ничего не приключилось? Непростительно; хотя, конечно, только представление о Мике беззащитной, растерянной, одинокой могло сложить в его уме слова в столь нелепую комбинацию. Только страх за Мин Алику, конечно...

— Держись, — сказал он ей, и настолько реальной виделась ему Мика в тот миг, что слово он произнес громко и четко, не проямлил, как бывает, когда человек говорит заведомо сам с собой. Цоцонго услышал и, поскольку их было тут лишь двое, воспринял, как обращенное к нему.

— А чего ж не держаться, — сказал он спокойно. — Продержимся, пока земля держит. Ну что: я считаю, что уже освоился. Может быть, пока все тихо-спокойно, поразмыслим над случившимся? В конце концов, для того нас сюда и доставили.

— Цоцонго, скажи: что за глупость? Почему я не могу отсюда позвонить по личному делу? Я добропорядочный гражданин...



Несколько секунд мар Цоцонго Буй смотрел на коллегу иронически-задумчиво, словно раздумывая, как ответить наиболее популярно. Потом сказал:

— Видишь ли, мне кажется, сейчас не только та информация, которой мы с тобой обладаем, но и само наше существование — секрет государственной важности. Никто ведь не знает, кому и зачем ты собираешься звонить. Может быть, как раз тем, кому вовсе не следует знать, что ты остался в живых после беды в институте. Ты дома ночевал?

— Знаешь ведь, что нет.

— Ну, вот. Все, кто тебя знал, полагают, естественно, что ты участвовал в эксперименте. И узнав, что институт взорвался, причислят тебя, естественно, к погибшим.

— Кому это нужно?

— Сложный вопрос, — ответил Цоцонго, потягиваясь. — И решение его, надо полагать, зависит от того, как все они станут выпутываться из этой истории.

— Они?

— Начальство. Много всякого начальства. Аварию в институте надо прежде всего объяснить. И решить, кто за нее ответит.

— Да за что же отвечать? Если все случившееся — результат какой-то неизвестной нам природной закономерности, стихии, о какой ответственности может идти речь?

— Ох ты, блаженный. Постарайся понять: тут два ряда явлений. Первый ряд — установить действительную причину взрыва, чтобы использовать ее в дальнейшем — и в целях безопасности, и в целях обороны, об этом нам достаточно ясно сказали. А второй ряд — на кого взвалить ответственность за взрыв. Этика не позволяет оставлять безнаказанными события, при которых гибнут люди — если только вмешательство природы не является настолько очевидным, как при землетрясении или извержении вулкана. Предположим, есть некто, от кого по тем или иным соображениям хотят избавиться. То ли он, как наш директор, больше уже мышей не ловит, но добром уйти не хочет, то ли кто-то другой... Вот в такой ситуации очень выгодно будет взвалить вину на него, независимо от истинной причины, которая так и останется в секрете, даже если мы с тобой ее установим однозначно.

— Ну, не знаю. Но пусть даже так — зачем при этом держать меня взаперти?

— О чем же я тебе толкую? Ты должен найти истинную причину взрыва; значит, ты будешь ее знать. И я тоже. Но если гласно будет объявлена другая причина, то возникает опасность, что мы, случайно или намеренно, разболтаем то, что нам известно, и получится небольшой, но все же скандал. Потому что у того, кто будет обвинен — не в том, что он устроил взрыв, конечно, но в том, что не сумел предусмотреть и предотвратить — тоже наверняка есть свои друзья и сторонники, и они уж постараются использовать то, что мы разболтаем. Больше того, они постараются это из нас вытащить, даже если мы будем молчать, как рыбы.

— Но мы же никому не станем говорить, Цоцонго!

— Как ты в этом уверишь? Куда надежнее подержать тебя в некоторой изоляции... особенно когда все будут считать, что ты распался на атомы вместе с остальными участниками. Согласись, это открывает возможность различных вариантов в решении нашей судьбы...

— Может быть, — хмуро проговорил Форам. — Хотя верить не хочется — не может же все быть так... Ладно, давай начнем работать. Очень интересно, что же такое у нас взорвалось на самом деле, тебе не кажется? Помолчим немного, подумаем...

\* \* \*

Они помолчали и подумали. Не только думали, впрочем; что-то и черкали на бумаге, время от времени то один, то другой подходил к информатору или вычислителю, заказывал информацию и получал ее или же давал какую-то, тут же на ходу составленную программу. Проходило немного времени — возникал ответ, скомканная бумага летела в корзину, и все начиналось сначала.

Часа через два Форам резко поднялся из-за стола, — тяжелый стул с грохотом упал.

— Кажется, я что-то начал понимать.

— Давно бы так, — сказал Цоцонго. — У меня пока без проблесков. Излагай. Желательно — так, чтобы я понял.

— Ты-то поймешь. Не знаю, как остальные... Хотя у них будет возможность повторить и проверить все мои рассуждения.

— Я готов воспринимать идеи.

— Я тут вытребовал все, что наш институтский мозг успел записать о ходе эксперимента. Просто прекрасно, что мозг — в централи, иначе и от него ничего не осталось бы. Ты, кстати, превосходно сделал, что забрал домой фотографии.

— Сохранил для потомства, да. За что мне, надо полагать, основательно достанется от этих... — Цоцонго произнес два слова на слэнге межпланетных десантников. — Снимки ведь тоже относятся к нулевому уровню молчания. И служат прекрасным доказательством того, что я, — а раз я, то, возможно, и другие, — нарушали правила секретности. Может не поздоровится и тебе.

— Никто не станет об этом думать, как только до них дойдет, чем пахнет дело.

— Значит, ты докопался до чего-то серьезного. Вот что значит быть спортсменом и ходить к девочкам. Ну, не делай страшные глаза: пусть к одной, это еще приятнее.

— Ты все поймешь сразу. Тут надо было просто привести все в удобный для решения вид... Начать с того, что никакой диверсии, конечно, не было и быть не могло. Способа влиять на скорость ядерного распада нет, но если даже какой-то небывалый гений у Врагов нашел такой способ и сразу же передал свою находку стратегам, как это, безусловно, сделали бы мы с тобой, то они не стали бы испытывать его на сверхтяжелых элементах, поскольку они в экономике и военном деле сегодня никакой роли еще не играют, но начали бы с тяжелых, потому что заряды наших охотников содержат именно тяжелые ядра, и это был бы прекрасный способ вывести нашу защиту из строя. Но вот охотники целехоньки, а взорвалась наша лаборатория.

— Да, по элементарной логике так оно вроде бы выходит, — помедлив, кивнул Цоцонго.

— Значит, остаются, как ты понимаешь, две возможности.

— Явление природы — раз; а вторая?

— Некая высшая цивилизация, о которой мы ничего не знаем и которая относится к нам не то чтобы враждебно, но без должного внимания, и занимается своими делами, не предполагая, что при этом может нанести нам какой-то ущерб.

— Мне этот вариант не кажется убедительным, — скривился Цоцонго, — хотя звучит он весьма успокоительно: если такая цивилизация существует, ее носители, надо надеяться, заметят, что сделали нам бо-бо и, догадываясь об уровне нашего развития и локальной космической ситуации, поспешат явиться с повинной... пока у нас тут не пооткручивали голов кому надо и кому не надо. Но это, думается, гипотеза чисто умозрительная, ни на каких фактах не основанная и ничем не подтвержденная. Вряд ли можно выходить с нею к руководству.

— Нет, конечно. Посмеются, и только. Да и сам я, откровенно говоря, в такую возможность не верю. И сделал такое предположение лишь, чтобы показать, что и такой вариант нами исследован.

— Значит, явление природы? — Цоцонго скептически поджал губы. — Уж больно необъятная категория. Помнится, ты говорил о каком-то потоке частиц или излучения. Если такой поток существует, это установят очень быстро или уже установили. Он не мог пройти сквозь стены или перекрытия института, не оставив следов, которые мы уже умеем обнаруживать и интерпретировать. А ведь стены сохранились, пусть даже и в обломках. Не говоря уже о том, что наши стратеги так пристально изучают всеми мыслимыми способами каждый квадратный дюйм неба, что мимо них вряд ли проскользнуло бы что-либо подобное.

— Поток, Цоцонго, это был бы очень неплохой вариант. Тогда осталась бы лишь задача — найти способ защиты от него, этакий зонтик, раскрыть его — и возобновить работу, потому что продолжать ее все равно придется... Это если во всем виноват поток частиц. Однако... — Форама нахмурился. — У меня странное ощущение: что на самом деле я знаю, в чем дело, но никак не могу понять — что же именно я знаю. Как будто знание и во мне, и в то же время где-то снаружи...

Цоцонго живо взглянул на него.

— Интересно: и у меня похожее состояние, некая уверенность, но не в том, что я все знаю, а в том, что все знаешь ты. Как будто похожие ситуации у нас уже бывали когда-то...

Форама пожал плечами.

— Специалисты называют это ложной памятью. Однако вернемся к делу.

— Жаль, — задумчиво сказал Цоцонго, — что никто другой на планете не занимался нашей темой. Было бы интересно узнать, уцелели их лаборатории или их так же исковеркало. Хорошо; ну а если не поток — что тогда?

— Четкого ответа у меня, как ты понимаешь, пока нет. Но — не кажется ли тебе, что в таких случаях, как наш, надо искать наиболее сумасшедшую гипотезу?

— Я-то всегда придерживался такого мнения. И что видится тебе самым безумным?

— Ну, я как раз стараюсь исходить из самых разумных предпосылок. Как говорит наш змееносец — интерпретировать факты, опираясь на известные и проверенные опытом закономерности. Могу добавить: не только проверенные опытом, но и теоретически обоснованные.

— Естественно. Иначе что осталось бы от науки?

— Как знать... Может быть, поднялась бы на иную ступень.

— Поднялась или опустилась? Черт знает, что ты хочешь сказать таким вступлением?

— Что вода кипит при ста градусах.

— Это и есть безумная гипотеза?

— Но кипит при давлении, которое мы считаем нормальным. А когда мы забираемся повыше, она закипает, скажем, при девяноста. И нас это не удивляет, поскольку нам известна зависимость между давлением и температурой кипения. А вот если бы мы этого не знали, то восприняли бы такой факт, как потрясение основ и поправление фундаментальных закономерностей, подтвержденных опытом и теоретически обоснованных. В особенности, если бы наш подъем в гору оказался настолько постепенным, что мы и не заметили бы перепада... Возник бы повод обвинить кого-то в преднамеренной порче термометров. И далеко не сразу пришли бы к пониманию механизма событий.

— То есть, что изменилось давление.

— То есть, что с нашим пространственным перемещением связано изменение каких-то законов, которые мы считаем неизменными, и что в этом плане пространство анизотропно.

— Ты считаешь, параметры пространства могли измениться?

— В этом роде. И нас угораздило создать свой сверхтяжелый именно тогда, когда мы оказались в зоне из-

менений какой-то из характеристик пространства или вещества, или еще чего-то...

— Своя логика в этом есть. Но как доказать?

— Методом исключения. Если остальные возможности отпадут...

— Ладно, допустим. Но скажи, милый мар Форам: с этим ты и хочешь выступить перед начальством?

— Что ж тут такого? Нам поручили...

— Дай договорить. Ты подумал, какие выводы однозначно следуют из твоего предположения?

— Ну, до выводов я еще не добрался.

— За ними далеко ходить не надо. Вот первый: если все обстоит так, как ты предполагаешь, то работы по созданию нашего сверхтяжелого будут заранее обречены на провал. Так?

— Н-ну... Безусловно, пока картина не изменится...

— Стоп. Второе: можно ли утверждать, что эти твои изменения характеристик пространства влияют только на наш элемент, а на другие, более легкие, не влияют?

— Очень возможно, что придет и их черед. Откуда мне знать? Ведь механизм явления нам пока неизвестен!

— И ты рассчитываешь, что наши высшие уровни согласятся...

— У тебя, Цоцонго, есть скверная привычка язвить по поводу тех, кто стоит на более высоких уровнях, чем мы с тобой. Я был бы очень рад, если бы ты эту свою привычку оставил.

— Знаешь ли, Форам...

— Я настаиваю. В конце концов, лояльность ученого...

— Погоди, мар. Я хочу сказать вот что: если завтра, или даже сегодня после обеда, начнется война, я надену мундир, возьму то, что мне выдадут и, по старой памяти, пойду грузиться на десантный корабль. Не пойду — побегу! Понятно?

— Молодец.

— И если даже в результате от меня останется лишь маленькое облачко где-нибудь на подступах к вражеской планете, я все равно до последнего мгновения буду считать, что поступил единственно правильным образом.

— И я тоже.

— Но — слушай и запомни: это не помешает мне, опять-таки до последнего момента, называть дураком того, в чьей глупости я абсолютно уверен. Ты знаешь,

что я много лет провел на стратегической службе, и не где-нибудь, а в космическом десанте, где безусловность повиновения и точного исполнения — даже не закон, а религия, культ. Но и там мы, не стесняясь своих малых звездочек, характеризовали своих старших так, как они того заслуживали.

— Как же так?..

— Потому что это разные вещи. Есть Планета, это — принцип. Это наша Планета, она — для нас. И за нее я буду драться с кем угодно, драться жестоко. Но не за тех, кто — беда Планеты, а не ее достоинство. На каких бы уровнях они ни стояли.

— И все-таки воздержись. Любая двойственность вредна.

— Ладно, мое мнение ты услышал. Не буду тебя нервировать, раз ты у нас такой нежный.

— Я ведь тоже служил, Цоцонго.

— Да, состоял при таком же, как тут, компьютере, только что носил мундир. Но вернемся-ка лучше к делу, продолжим рассуждения. Если твои предположения справедливы, то от неприятностей не гарантированы и наше оружие, наши энергоцентралы, залежи ископаемых, наконец... Дальше: где проходит граница, за которой эти новые свойства пространства перестанут действовать? Что уцелеет? Титан? Железо? Алюминий? А золото, серебро, платина? Промышленность, экономика?

— Это ужасно, Цоцонго.

— И, главное, защиты не будет: от законов природы не укроешься ни в какое убежище.

— Но что я могу сделать! — сказал Форама в отчаянии. — Я и на самом деле не вижу иного объяснения! Нельзя строить гипотезы по принципу «нравится — не нравится»! Это же наука!

— Наука — пока этим занимаешься ты. Ну я, допустим. Наши коллеги — исследователи. Но вот представь: ты доложил свои выводы тем, кто ожидает результатов. Поставь себя на их место. Естественно, они тоже ужаснутся. И в первую очередь потребуют чего? Чтобы их успокоили. Утешили. Указали выход из положения. Или хотя бы направление, в котором этот выход искать. Пойми: бремя руководства заключается в том, что все, что происходит в сфере его влияния, хорошее и плохое, приписывается ему, даже если на самом деле от него нисколько не зависит. И поскольку никто не

отказывается, когда им приписывается хорошее, то трудно возражать и когда приписывают плохое: как ни доказывай, мнение массы все равно останется прежним.

— Ну, пусть так...

— Как же, по-твоему, должно почувствовать себя руководство, которому ты заявляешь, что при нем может наступить всего-навсего конец света? И к тому же не можешь подсказать, как его предотвратить. Хотя бы ценой колоссальных усилий. И как оно, по-твоему, должно поступить?

— Как же?

— Самое малое — просто-напросто с тобой не согласиться. Поверят они сами или нет — дело другое, но вслух они не согласятся. Отвергнут. Скажут, что ты снятил. Мы оба — если я стану тебя поддерживать. Будут рассуждать по такой схеме: если и предстоит конец света, пусть раньше времени никто ничего не знает. Чтобы не было паники. Ужаса. Смуты. Всего прочего. И тут есть своя логика.

— Но на результат это не повлияет!

— Естественно, Форам.

— Постой. Но почему мы вдруг начали думать в этой плоскости? Ведь и на самом деле может найтись какой-то выход! С какой стати мы примиряемся с мыслью о невозможности спасения? Давай думать, Цоцонго, давай думать, пока еще есть время! Во-первых, мы не знаем, с какой скоростью будут происходить эти изменения. Так что до железа, быть может, дойдет еще очень не скоро; не исключено, что и вообще не дойдет. К счастью, не все тут надо решать сразу. В первую очередь — тяжелые, Цоцонго, в них опасность. О сверхтяжелых я не говорю, их — ничтожные количества... Тяжелые элементы. В рудах — не так страшно: там они в очень рассеянном виде. Просто эвакуировать людей подальше. Конечно, будет великое множество микровзрывов, немалая в сумме энергия уйдет в пространство, возникнут, быть может, нарушения климата, но с климатом можно еще побороться... Оружие? Срочно выбрасывать в пространство, и подальше. Нацелить хотя бы на солнце, что ли...

— А энергоцентрали?

— Стопорить. Вынимать горючее. В ракеты. И — туда же.



— Планета без энергии?

— Вовсе нет. Речь идет только о тех станциях, что работают на тяжелых элементах. Половина, в крайнем случае. И может быть, Цоцонго, это и к лучшему. Будет меньше дерьма, меньше роскоши, реклам, оружия, отравы в атмосфере...

— Конец цивилизации.

— Но не жизни. Живые могут искать выход. У мертвых выхода больше нет.

— И этим ты хочешь успокоить начальство?

— Что же делать, если другого пути не найдется?

— Предложишь им остаться без оружия?

— Цоцонго, обожди. Если я прав, то и у Врагов не лучше...

— Не лучше, да. Но ведь они не явятся, чтобы доложить об этом. Если даже знают. Но есть вероятность, что мы, благодаря нашему сверхтяжелому, столкнулись с этим эффектом первыми. А те спохватятся, только когда в их лабораториях начнут фукать ядра полегче нашего. Но и тогда они будут держать все в строжайшей тайне, как и мы. Будут надеяться, что, может быть, как раз мы ничего не знаем, что у нас начнется паника — а тогда бери нас голыми руками. Только руки нечем будет довести: флота больше не будет, придется восстанавливать доисторические конструкции на химическом топливе. Итак, что будет происходить на той планете, мы узнаем далеко не сразу. А чтобы и они не узнали, что происходит у нас, даже те меры, которые решатся принять, будут строго засекречены. Демонтаж централей будут объяснять ремонтом, а кое-где — уступкой мнению окружающего населения, а что касается оружия, то за него будут держаться до последней возможности.

— Последний, предпоследний... Цоцонго, надо немедленно установить наблюдение во всех институтах, где есть сверхтяжелые. Обеспечив безопасность, конечно. Эвакуировать людей... Если мы правы, то элементы будут разрушаться в строгой последовательности, от больших номеров к меньшим. И по скорости этого процесса мы сможем составить представление о его характере — равномерен он, ускоряется или замедляется и о том, каким временем мы вообще располагаем. Я думаю, это первое, что должна сделать администрация. И надо до-

казать им, что наибольшая опасность — именно в оружии, и его надо выкинуть поскорее.

— Попробуем... Только, видишь ли, Форам, оружие ведь не обязательно запускать к солнцу.

— Ты хочешь сказать...

— На врага. Чтобы грохнуло не зря: глядишь, и уложат двух зайцев сразу. Но ведь это и тем наверняка придет в голову...

— Цоцонго, знаешь что? Я только что понял: ситуация настолько неопределенная, что предпринять что-либо можно только с ведома и согласия Врагов.

— Эй, Форам! Чем это пахнет?

— Но есть ведь у нас договоры об оружии! Почему не заключить еще один? Тут дело поважнее.

— Дело, действительно, важное. И ты предлагаешь ни более, ни менее, как раскрыть врагу самый, может быть, большой секрет, каким мы обладаем в текущем столетии!

— Но ведь не сами же мы! Мы предложим...

— И сделаем большую ошибку: вторгнемся в чужую область деятельности. Из ученых станем делаться политиками. А это ни к чему. Этого никто не любит. Тебе нравится, когда политики начинают устанавливать научные законы? Так же и им. Да и мы, действительно, не имеем нужной подготовки и не можем себе представить всех сложностей, связанных с этими делами.

— И все же я...

— Советую тебе мысленно проститься со своей красоткой, Форам: другой возможности у тебя не будет.

— Что ты говоришь, Цоцонго!

— Простые вещи. Достаточно уже и того, что мы, по стечению обстоятельств, стали обладателями настолько секретной информации, какая нам по уровню вовсе не полагается.

— Мы же сами сделали открытие!

— Открыть — еще не смертельно. Но заодно мы получили возможность заглянуть в будущее, увидеть, как будут развиваться события в планетарном масштабе и даже в межпланетном. Такого нам никто не позволял.

— Но послушай...

— Нет, выговаривать тебе за это не станут. Но мало ли что может потом приключиться. Случайно.

— Говори, сколько хочешь — я не поверю.

— Я лишь советую: доложи о физической стороне вопроса. И тебя внимательно выслушают. Но даже там, где выводы лежат на поверхности и напрашиваются сами собой, не делай их. Предоставь другим. Сам же старайся показать, что ты понимаешь ровно столько, сколько тебе полагается. Ни на волос больше.

Форама помолчал.

— Ну, а если они этих выводов сами не увидят? И надо будет, чтобы кто-нибудь подсказал? Тоже молчать?

Цоцонго ответил не сразу:

— Можешь меня презирать, однако, с точки зрения здравого смысла, самым лучшим было бы — не говорить ничего вообще. Не нашли, не разобрались — и дело с концом. К сожалению, мы люди честные и не сможем промолчать. А то бы благодать: в конце концов все свалили бы на вражеских лазутчиков, мало ли на них валили в разные времена... Но мы скажем, и уже тем самым навредим себе предостаточно. А что касается твоего вопроса... Знаешь, мне как-то неохота, чтобы мою кабинку, когда я в очередной раз поеду на работу или домой, на перекрестке случайно перетолкнули бы не в соседний ряд, а скинули с третьего яруса эстакады на мостовую. Или какие-нибудь отверженные с лучеметами ворвались ночью в мое жилище.

— Неужели общество не выскажет своего мнения?

— Репортеров там не будет, могу гарантировать.

— Цоцонго, — сказал Форама вполголоса, но решительно. — Они ведь могут просчитаться. Без нас наделают глупостей. А Планета — это ведь прежде всего люди. Но я тебе не верю, Цоцонго. Они не такие. Они — государственный разум. И всё поймут, и всё сделают, как надо.

Цоцонго зевнул, потянулся.

— Ну и наговорили мы... Давно уже я столько не грепался. Знаешь, мар, меня все это не особенно и волнует. Я подохну без особого сожаления, потому что буду хоть знать причину, один из немногих. И девушки, с которой мне было бы так жалко расстаться, у меня нет. Но почему-то я чувствую, что обязан помочь тебе. Вот почему я предостерегаю.

— И все же я скажу им, Цоцонго.

— Скажешь, скажешь. Только, пожалуйста, хоть не все залпом. Посмотрим, как будут слушать, как станут развиваться события. Нужно будет — скажешь, а там хоть трава не расти. Вот если бы ты мог предложить принцип аппарата для нейтрализации этого явления, для локальной нейтрализации, чтобы мы уцелели, а те — нет, вот тогда тебя любили бы, кормили и гладили по шерстке. Знаешь, чем черт не шутит — ты заяви, что намерен работать над этой идеей. Будет полезно для здоровья. А обо всем остальном они забудут через пять минут, потому что у них возникнет множество проблем, о которых мы с тобой и представления не имеем. Серые мы люди, Форам, знаем только свои ядра и частицы, от и до, не более. Что поделаешь... Знаешь, у меня что-то аппетит разыгрался. Есть-то нам дадут?

Едва слышно щелкнул замок, дверь гостиной отворилась. На пороге стоял сопровождающий из шестерки, из-за его плеча выглядывал тот самый ключник, что принимал их внизу.

— Оба, с вещами, — сказал ключник, дыша в сторону.

— Вот беда — вещей нет, — сказал Цоцонго.

— Положено с вещами, — ответил ключник и еще пошевелил губами, без звука. — Ладно, валийте так. У вас все не как у людей... Гуляйте здоровы, еще увидимся.

— Думаешь? — спросил Цоцонго весело.

Ключник неожиданно усмехнулся как-то совсем иначе, открывшись в этой улыбке на миг, сделавшись проницаемым и незащищенным.

— Есть здесь у нас нечто, — совсем другим тоном сказал он, словно равный заговорил с равным, но опытный — с неопитом. — Нечто, от чего тебе уже не избавиться, когда вдохнешь его; а вы уже вдохнули. И оно тянет, как многоэтажная высота подмывает броситься вниз, навстречу тому, что и так неизбежно... — Он брякнул ключами. — И однажды поймешь, что лучше прийти сюда самому, чем ждать. Здесь — мир определенности и покоя, гавань, куда выносит потерпевших крушение... — Он на миг закрыл глаза, а открыв, устремил их на сопровождающего. — Ладно, катитесь, падлы, — снова вошел он в защитный свой образ, — языком тут стучать с вами — без толку...

— Слишком мало времени, — проговорил Фермер. — А твои люди почему-то медлят.

— Они мои, пока я не отпускаю их от себя, — откликнулся Мастер. — Я ведь не подменяю своими людьми тех, под именем которых они выступают. Там возникает своего рода симбиоз. И моя информация, кажется им, не приходит извне, а возникает в них самих. А они привыкли не очень доверять себе. Что же, сомнение — прекрасная черта...

— Это один из точных признаков, по каким узнаешь заторможенную, скованную в своем развитии цивилизацию: предположения и догадки о существовании иных, высших культур, и попытки добиться контакта с ними технологическими средствами, — в словах Фермера звучало не пренебрежение, но сожаление. — А ведь контакт, как они это называют, так прост!

— Неизбежная примитивность мышления, — откликнулся Мастер. — Для того, чтобы уверовать в контакт, людям подобных цивилизаций необходимо увидеть снижающийся корабль сверхнебывалой конструкции. Скрытая форма идолопоклонства, не что иное. Им нужен голос с неба, чтобы понять, что это — откровение. Их логика не позволяет им понять, что для любой высшей культуры самый простой и употребимый способ передать свои знания низшей — вложить их в уста одного из них.

— Мне трудно признать такую категорию, как безнадежность, — сказал Фермер. — Но когда думаю о них, порой опускаются руки и хочется предоставить все дела их течению.

— Нет, — не согласился Мастер. — Когда садовник складывает руки, в рост идут сорняки. А потом приходится их выжигать.

— Потом они сжигают сами себя, освобождая место, — поправил Фермер. — Но это немногим приятней.

— Ты хочешь сказать, что не в состоянии помешать им?

— Я — Фермер. Могу засеять поле, но не в состоянии помогать росту каждого стебелька в отдельности. Даже каждого ствола. И уж давно не могу сделать так, чтобы из семечка яблони вырос дуб. Даже не дуб, а хотя бы яблоня другого сорта. Что могу, я делаю. Хотя

я посылаю только мысли, а ты — своих людей. И при этом не одних только эмиссаров.

— Посылаю. И мне жаль их, Фермер. Им приходится нелегко. Вы же знаете задачу эмиссара: его объект — люди, а не события. И пусть он в силах влиять на человека, порой выступать от его имени, поддерживать его до определенной степени, чтобы, когда эмиссар уйдет, этот человек и сам был в состоянии продолжить начатое дело, — но этим его возможности, по сути, и ограничиваются. Я могу оказать непосредственную помощь лишь в критических ситуациях: вмешательство со стороны бросается в глаза и подрывает доверие. Во всех остальных случаях мои люди должны обходиться своими силами. И очень хорошо, когда они могут черпать поддержку друг в друге — чаще всего даже не понимая, что оба они из одной команды и что встреча их — не первая. Правда, опытный эмиссар чувствует это почти сразу. Но опытных там у меня, как ты знаешь, — всего один. И ему придется нести тяжесть не только его собственной задачи, которая достаточно сложна, но и как-то поддержать другого, который, по обстоятельствам, должен будет сыграть там главную роль.

— Ты уверен в успехе, Мастер?

— Уверен? Не знаю. Я верю — это, пожалуй, точное слово.

\* \* \*

С Форамой из дому ушло шестеро, но еще двое остались. Мин Алика лежала, свернувшись клубком под одеялом, по временам крупно вздрагивая; мыслей как бы не было, но каждый раз, когда кто-то из оставшихся двигался, на нее нападал страх: их было двое, здоровенные молодчики, она — одна, защищенная лишь тонким одеялом, а слышать о таких ситуациях ей в разные времена приходилось разное. Боялась она так, что это, наверное, было заметно; во всяком случае один из оставшихся, глянув на нее, вдруг усмехнулся и сделал пальцами козу, как маленькому ребенку, и Мин Алика послушно и поспешно улыбнулась, хотя не до смеха ей было. Однако пока что они вели себя чинно, ничего себе не позволяли, а вскоре и совсем затихли, словно задремали на табуретках по обе стороны двери: привыкли, видимо, ждать, терпения у них было намного больше нормального. Понемногу Мика осмелела: не расставаясь

с одеялом, стала по очереди дотягиваться до своих вещичек и под одеялом же одеваться. Было это не очень удобно, но куда безопасней: самое страшное — когда тебя видят и ты становишься вдруг для них конкретной и досягаемой. Она ворочалась под одеялом, но они только мельком покосились на нее: ощущали, видно, что никакого подвоха с ее стороны не будет, а может быть, и беглых взглядов им было достаточно, чтобы понять, что она там под одеялом делает и чего не делает.

Так Мика вползла в домашние брюки, — в них она чувствовала себя совсем уверенно, — и тогда уже встала; комнатные босоножки аккуратно стояли подле, как она сама их вчера поставила. Тогда только один из сидевших встал и шагнул к ней; Мика сжалась, готовая кричать и отбиваться, но тот в двух шагах выжидательно остановился. Она поняла и, не убирая постели, ушла в душевую. Противно было, что чужой начнет сейчас копаться в постели, которая теперь была уже не просто местом, где спят, но — соучастником и свидетелем, молчаливым другом, с которым можно без слов вспоминать и переживать бывшее; да, противно — но Мин Алика понимала, что таким было дело этих людей, которое и им самим, может быть, не бог весть как нравилось, но они его делали, у каждого из них были на то, наверное, свои причины и мешать им так или иначе было бы бесполезно. Когда она, намеренно не спешившая, вернулась в комнату, вещей как раз заканчивал водить над постелью маленькой черной коробочкой, едва слышно жужжавшей; вот он выключил приборчик, сунул в карман, вернулся к своей табуретке и снова замер, как ненастоящий. Алика включила плитку, поставила воду для кофе, стала собирать небогатый завтрак. Минутку поколебалась: предложить им или не стоит? Тут возможны были две линии поведения: или поза человека обиженного, никакой вины за собой не чувствовавшего и потому относящегося ко вторгнувшимся с подчеркнутой холодностью: вы, мол, мне не нравитесь и скрывать этого не хочу, потому что за одно лишь это вы мне ничего не сделаете, а что подумаете — мне безразлично; вторая линия предусматривала поведение человека своего, все понимающего и даже сочувствующего, и опять-таки совершенно безгрешного: что поделать, ребята, я понимаю, что вам и самим не бог весть как нравится сидеть здесь, бывает работа и повеселее, но что делать, служба

такая, я тут ни в чем не виновата и ничем помочь не могу, терпите, я вам сочувствую... В первом случае приглашать их к столу не надо было, а во втором — надо; Мин Алика решила не приглашать, тем более что, с их точки зрения, ей и следовало быть злой: выдернули мужика из постели, не дали еще побалдеть, — да и какие такие ресурсы у девятого уровня, чтобы так вдруг, не готовясь специально, угощать кого попало? Им не понять было, конечно, что хотя она ощущала и обиду и боль, однако после всего, совершившегося ночью, такое обилие добра накопила в себе, что и на них хватило бы. И все же она их не пригласила, продолжая держаться с некоторым опасением, потому что если начнешь показывать себя своим человеком и сочувствовать, то кто может сказать, какого сочувствия им еще захочется: жалеть, так уж до конца; а если бы она сама не поняла или не решилась, то им могла прийти и такая мысль в голову, что надо помочь доброй девушке понять, надо растолковать на пальцах... Мин Алика чуть не улыбнулась, на краткий миг ощутив себя тем, кем была на самом деле и представив — воображение у нее было живое, — каким боком обернулась бы для них подобная попытка; но улыбаться сейчас было совершенно ни к чему, и внешне она осталась такой же испуганно-серьезной, какой выглядела с самого пробуждения.

Щелкнул тостер, одновременно шапкой поднялся кофе — черный, густой, совсем как настоящий — для тех, кто настоящего никогда не пробовал. Те двое, наверное, пили — они лишь повели носом и уголки рта у них показали не то, чтобы презрение, но четко выразили мысль: каждому — свое. Мин Алике пришлось самой задвинуть ложе в стену, — Опекун, видимо, был гостями отключен на время их пребывания здесь: лишний контроль ни к чему, да и — не баре, приберетесь и сами. Перед тем как сесть к столу, она включила приемничек и даже не глядя почувствовала, как напряглись те двое. Но коробочка была прочно настроена на местную программу, шла музыка пополам с торговой рекламой, и все это каждые пять минут прерывалось отсчетом времени, чтобы никто не прозевал свою минуту выхода, свою кабину. Что-то сегодня было, видимо, не в порядке в атмосфере — или с городскими помехами, и музыка порой перемежалась тресками и шорохами; но



так бывало нередко, и двое, расслабившись, вернулись в привычный режим ожидания. Позавтракав, Алика сунула посуду в мойку, а сама стала быстро наводить марафет для выхода. Это была как бы проба: ей могли, усмехнувшись, сказать, что не трудись, мол, зря, выпускать тебя не приказано, если мажешься, чтобы нам нравиться — тогда, конечно, пожалуйста... Те ничего не сказали, не покосились даже. Щелкнув, распахнулась дверца кабинки; створки еще только начали отодвигаться, а оба беззвучно оказались уже возле нее с мускулами, натянутыми, как струны, казалось, чуть звенящими даже. Но кабинка была пуста, она пришла за Аликой. Женщина натянула плащик; тот, с черной коробочкой, вышел из кабины. Алика взяла сумочку, постояла секунду, нерешительно помахивая ею; но на нее по-прежнему не смотрели, видимо, в дамском багаже успели разобраться заранее. Тогда она вошла в кабинку; пока створки сходились, успела заметить, как губы второго сидящего шевельнулись — в углу рта у него была приклеена таблетка микрофона. Значит, незримо надзирать все-таки будут.

Теперь времени у нее было — целое богатство: полных две минуты, пока кабинка не минует внутреннюю сеть и не окажется на магистрали. Сработала инерция поведения, все продолжилось, как и должно было: мгновенное расслабление, приступ настоящего страха, с дрожью рук, с нахлынувшим отчаянием... Внутренне Минн Алика улыбнулась этой точности игры, в которой больше не было никакой нужды. Теперь надо было обезопаситься. Она закрыла глаза, мысленно прислушиваясь ко всему, что, явно или неявно, звучало в кабинке, потом безошибочно подняла руку к воротничку, под ним нащупала тоненькую булавку, вколотую ими, наверное, пока она еще лежала. Булавку Минн Алика воткнула в сиденье снизу. Теперь пусть сигналист, пока не иссякнет ресурс.

Две минуты спустя кабинка выщелкнулась на точно подоспевшее пустое место на линии и поехала вместе со множеством других, меняя, когда надо, ряды и когда надо — направления. Чуть поодаль и намного выше, над всеми ярусами эстакад, не опережая и не отставая, как собачонка на привязи, скользила маленькая, на двоих, лодка, и внутри ее, на небольшом экране, яркая точка держалась в центре, а следовательно — все было в порядке.

Казалось бы, и не так долго пробыли они в отсутствии, и все же возникло у Форамы такое ощущение, когда они снова очутились на воле, в городе, словно он из какого-то абстрактного пространства, чисто математического, снова родился на свет и, ошеломленный всеми его шумами, красками и запахами, с кружащейся головой, пытается разобраться в открывшемся ему великолепном многообразии, подсознательно стараясь при этом выделить из множества линий, красок и ароматов — очертания, цвета и запах одного человека, одной женщины. Фораме даже замедлил было шаг, но его вежливо поторопили; ясно было к тому же, что Мики здесь нет и не могло быть: вряд ли она успела узнать что-то определенное о его судьбе; да не только она — он и сам ничего не знал, строил только предположения, которые не оправдывались.

К таким предположениям относилось, например, что их с маром Цоонго должны были доставить вроде бы туда, откуда увезли: в то, что осталось от вчера еще могущественного института, цитадели физики, на который даже стратеги поглядывали с уважением — а они, как известно, не любят уважать что бы то ни было, кроме самих себя. В институт, пусть даже искореженный; даже камни его были, казалось, до такой степени проникнуты физическими мыслями, что думать там о чем-то другом бывало просто невозможно, зато о работе мыслилось быстро и хорошо; а значит, где же, как не там, следовало продолжить разговор на начатую утром научную тему? Однако лодка, в которую их вежливо, но решительно усадили (они и не собирались, впрочем, возражать) взяла курс в другом направлении. Фораме не часто приходилось разглядывать город с высоты, но Цоонго был человеком куда более искушенным, и уже через несколько минут полета, оторвавшись на миг от окошка, сообщил Фораме, что направляются они, насколько он мог судить, в самую область слабых взаимодействий. На языке физики это означало, что летят они в атомное ядро, но именно так на их полудурачливом жаргоне давно уже назывался тот район необъятного города, где помещалось все то, что в обиходе общо и неопределенно называли одним словом — «правительство», или порой, для разнообразия, — «адми-

нистрация». Услышав это, Фораме встрепенулся. Посетить резиденцию правительства было, пожалуй, лишь немногим менее любопытно, чем и на самом деле оказаться в середине подлинного атомного ядра. И там, и тут предполагалось, в общем, что происходящие процессы известны, поскольку можно непосредственно наблюдать их результаты, и в какой-то степени даже предугадывать их, — однако на втором плане всегда присутствовала мысль, что знание это — рабочее, временное, сегодняшнее, принятое потому, что оно не противоречило явлениям — и тем не менее могло оказаться совершенно неверным, если говорить о механизме осуществления этих явлений. Точно так же (думал Фораме) видя человека, минуту назад зашедшего в табачную лавку и теперь вышедшего оттуда с пачкой сигарет в руке, мы с уверенностью предполагаем, что он купил ее там — хотя на самом деле он мог, конечно, купить ее, но мог и украсть, и отнять, или просто вынуть из собственного кармана, вспомнив, что пять минут назад уже купил сигареты на другом углу и сюда зашел лишь по инерции, задумавшись о чем-то. Однако наше объяснение нас вполне устраивает, поскольку сам по себе процесс, в результате которого в руке прохожего оказались сигареты, интересует нас куда меньше конечного результата — потому, может быть, что мы хотим попросить у него сигарету — или напротив, заговорить с ним о том, что курение вредно и аморально. Это в определенной степени напоминало то, что Фораме знал о процессах, происходящих в атомном ядре; что же касается правительства, то о нем физик имел еще более слабое представление.

Не он один, впрочем. И дело тут было не в недостатке любознательности у граждан или в отсутствии информации. Было и то и другое, но — до определенного предела. Правительственные учреждения все были известны, в них можно было, если угодно, зайти, походить по этажам и коридорам, поглазеть на людей, осуществляющих руководство: клерков, начиная с низшей, двенадцатой степени, и до шестой, даже до пятой; людей четвертого уровня и выше было на свете вообще не так уж много, а в каждом департаменте — единицы, и увидеть их можно было только при определенном везении или настойчивости, подкрепленной конкретным и достаточно убедительным поводом. Возглавлялись эти де-

партаменты обычно советниками третьей и второй ступени, но вообще-то второй уровень занимали уже Гласные, и видеть их приходилось разве что на экранах. Что же касается первого уровня, наивысшего, то даже из Гласных его имели лишь немногие, и то уже в почтенном возрасте, когда большая часть жизни была за плечами. Но пусть на экране, пусть раз-другой в году, все же видеть можно было и их; и, однако, не было безоговорочной уверенности в том, что именно они, Гласные, и являлись правительством. Тут начиналась область неопределенностей и предположений. Как и когда они впервые возникли — сказать трудно, но, во всяком случае, достаточно давно, когда Форама еще и на свет не рождался. Слухи эти официально никогда не опровергались, потому что официально их и не существовало, законным правительством были Гласные. На чем основывались слухи, сказать было трудно, сейчас они были уже традицией, в момент же их возникновения — существовала, надо полагать, какая-то причина, информация, какой-то огонек, к дыму от которого принялись и до сих пор.

Заключались слухи в том, что настоящим, подлинным, реальным правительством были вовсе не Гласные. Они, по этой теории, представляли собой лишь промежуточное звено — своего рода преобразователи, наподобие радиоприемников, преобразующих неуловимые для чувств электромагнитные колебания в уловимые звуки или изображения. За смысл и содержание передач аппарат, однако же, не отвечает... Отсюда, кстати, выводили и название — Гласные, поскольку они, следовательно, были голосами, артикуляционным аппаратом, которым управлял кто-то другой.

Кто же? Слухи на этот счет тоже были, как казалось, вполне определенными, однако по существу крайне неконкретными. Говорили, что те, кто представлял собой подлинное правительство, не были группой людей, уединившихся в каких-то неприступных убежищах, наподобие тех, в которых располагались планетарные электронные устройства — Политик, Полководец и прочие, — уединившихся, чтобы, отрешившись от всего мирского, мыслить, провидеть и решать; напротив, по традиции считалось (хотя официально и не признавалось), что люди эти жили в самой гуще жизни, среди всех прочих людей, занимались какими-то повседневными делами, как и все

смертные, и вовсе не на командных постах, а иногда и в самом низу пирамиды уровней: так, уверяли, что один из подлинных правителей служил швейцаром в самом фешенебельном ресторане города — «Аро Си Гона»; однако в этом суперресторане было двенадцать подъездов, на каждый — по три смены швейцаров, по два человека в смене, и кто именно из семидесяти двух увитых шнурами и осыпанных золотом персон являлся живым воплощением могущества, сказать никто не мог; сами же швейцары, когда с ними заговаривали на эту тему — кто хохотал, кто надувался, в зависимости от характера и темперамента. Смысл такой анонимности (согласно той же системе слухов) заключался в том, что находясь всегда кто в самом низу, кто — где-то в середине, правители были в курсе всего, что происходило на Планете, не получали информацию из чужих рук, а собирали ее сами, и поэтому имели возможность реагировать на все должным образом и своевременно. Известно, что причиной заката многих могучих некогда правительств было именно отсутствие объективной информации или же нежелание к ней прислушаться. Если верить слухам, правительству Планеты такое не грозило. Как эти неизвестные попали в правительство или, вернее, стали им, за счет каких людей пополняли свои ряды — объяснялось следующим образом: то ли сами эти люди, но скорее какие-то их предшественники, может быть, даже прямые предки некогда стали таким вот анонимным руководством вследствие того, что в их руках сосредоточилась — тут мнения делились: кто говорил, что экономика, и следовательно — деньги, дающие реальную власть; кто — что это была военная сила, тоже позволяющая властвовать реально; третьи полагали, что в руках первых властителей была секретная информация обо всем, в первую очередь о людях, в том числе и о тех, кто составлял тогдашнее официальное правительство. При помощи одного, другого, третьего или же всего вместе неизвестные властители подчинили себе то официальное правительство, обратив его лишь в провозвестников своей воли, своего рода глашатаев; название «Гласные» пришло не сразу и официально должно было означать, что правительство все делает и обсуждает вслух, на глазах у общества, у всей Планеты, и что секретов у него нет. Так оно и шло — годами, десятилетиями, а может, и столетиями.

И вот теперь, когда Фораме услышал, что везут их не в институт и не куда-нибудь еще, а именно в резиденцию правительства, он сразу же подумал: интересно, а вот в таких случаях эти анонимы появляются? Может быть, он увидит хоть кого-нибудь из них? Может быть, даже узнает? — такой человек мог спокойно оказаться его соседом по лестничной клетке, мог попасться на глаза в магазине или скользящей мимо кабине. Затем мысль Фораме побежала дальше: «Хорошо, а вообще-то они показываются? Хотя бы своим Гласным, каждый из которых, как говорят, представляет одного властителя? Или же сообщаются с ними иначе — по телефону, радио, письменно, еще как-то — при помощи голубиной почты, скажем? Могут ли Гласные сами обращаться к властителям, ставить перед ними вопросы, требующие незамедлительного решения, вот как сейчас например, когда информация поступает непосредственно наверх, и неизвестные никак не могут почерпнуть ее на тех уровнях, на которых проходит (если слухи верны) их повседневная жизнь? Или же функции Гласных ограничиваются лишь обнародованием того, что им указывают? Конечно, это была не физика, но и тут было немало интересного, как и во всякой проблеме, решение которой не поддавалось фронтальной атаке».

Разобравшись во всех своих мыслях, — полет все еще продолжался, — Фораме несколько успокоился, пришел даже в относительно хорошее настроение (так бывало с ним всегда, когда предстояло увидеть что-то интересное, а тем более — принимать в нем участие), и стал оглядываться, рассматривать лодку и тех, кто находился в ней, направляясь в атомное ядро власти.

Тех, кто сопровождал его и Цоцонго, было уже не шестеро: к ним прибавилось еще двое, обильно вооруженных, — видимо, ценность Фораме и Цоцонго изрядно возросла, пока они сидели взаперти и рассуждали, пользуясь гостеприимством надзирателя-философа, иначе зачем было усиливать охрану: не могло же взбрести кому-то в голову, что физики собираются удрать, еще чего не хватало! И лодка была другая — просторная, бронированная, с мягкими сиденьями, крохотными ит-люминаторами и очень мощными (судя по почти неслышному, без малейшей натуги гудению) моторами. Все молчали, никто ни на кого, казалось, не смотрел; Фораме, однако, было свойственно чувствовать обращение

на него взгляды так же недвусмысленно, как и прикосновения; и он ощущал, что самое малое половина спутников смотрит на него. Как могли они делать это, не поворачивая головы, не скашивая глаз, он понять не мог: видимо, они были в своем деле специалистами хорошего класса, как он — в своем и, тоже как он, не делали, невзирая на это, хорошей карьеры — иначе их не посылали бы в качестве охраны. Фораме пришлось на миг в голову, что и в той службе, как и у него, как и в любой, наверное, области деятельности существуют свои радости и горести, свои торжества и разочарования, удовлетворение и зависть, везение и невезение, и простые эти вещи для отдельного работника порой значат куда больше, чем суть той работы, которую он выполняет; для других же, глядящих со стороны, важна лишь эта работа, и на выполняющего ее они смотрят лишь как на носителя функции, прочее в нем им неинтересно — и потому людям еще долго будет очень нелегко понять друг друга... Трудно сказать, о чем подумал бы Фораме дальше, но тут антигравы смолкли, пол стал уходить из-под ног, пилот что-то забормотал в микрофон, какие-то числа и отдельные слова, снаружи что-то мгновенно промелькнуло — и лодка с великой осторожностью коснулась грунта.

Их пригласили выйти, и они вышли и оказались в небольшом дворике, со всех сторон окруженном глухими стенами — попасть сюда можно было лишь по воздуху. Вошли в неширокую дверь и очутились в кабине, похожей на обычную транспортную, но много просторнее: в ней разместились все прилетевшие и еще двое каких-то здешних, встречавших их, и еще оставались места. Кабина тронулась; надо полагать, то было внутреннее сообщение — резиденция правительства занимала обширную площадь, на много этажей уходила в высоту, а на сколько под землю — этого Фораме не знал. Ехали несколько минут, по-прежнему молча. Вышли в просторном зале. Фораме сделал шаг и остановился в растерянности: со всех сторон, под разными углами, разом шагнули к нему Форамы в неисчислимом количестве и тоже застыли. Зеркальный холл — что-то такое он слышал в детстве. Цоцонго тоже словно споткнулся, остальным же, очевидно, это было не в новинку. Они вежливо подождали, пока гости — или кем тут являлись физики — пришли в себя; потом не то, чтобы

окружили их, но все же как бы эскортируя подвели к одному из больших, до пола, зеркал на стене (были зеркала и на квадратных колоннах), оно откатилось — это была дверь, за ней открылась комната, в которой было много людей; видимо, тут и происходило то, для чего Форам и Цоцонго понадобились. Им вежливо проговорили: «Входите, не медлите», — они вошли, дверь за ними неслышно затворилась, и они, стараясь выглядеть уверенно, сделали несколько шагов вперед.

\* \* \*

Тут не было зеркал, была удобная, деловая обстановка, не один большой стол, а множество маленьких, невысоких, с мягкими креслами подле них, с сифонами, соками, фруктами, карандашами, блокнотами в коже с правительственными символами на крышке, с маленькими аппаратами правительственной всепланетной связи. Большинство кресел было занято; прежде всего в глаза бросались яркие мундиры стратегов, мундиры поскромнее, темных оттенков — вещей; именно мундиры: лица этих людей все равно не были знакомы ни Фораме, ни даже Цоцонго, и к тому же лица эти чем-то походили друг на друга, производили почему-то одинаковое впечатление. То были как раз те люди, что еще не показываются регулярно на экранах, но уже и не позволяют себе слишком часто появляться среди толпы. Только тот вещей, что участвовал в предыдущем разговоре, оказался знакомым; он дружелюбно кивнул. Знакомыми, конечно, были и ученые: и те, что были утром в институте, и другие, с большими змеями, каждый в отдельности — глава из учебника, все вместе — раздел ежегодника «Их Знают Все». Не совещание, а Пантеон какой-то, — подумал было Форам, скользя взглядом по столам, и вдруг напрягся. На этот раз не мундиры приковали его внимание; люди, заставившие его подтянуться, были в строгих гражданских костюмах, костюмы были похожи, зато лица разные — никогда не встречавшиеся в жизни, но многократно виденные на экранах. Да, то были Гласные, и, глядя в их уверенные глаза, рассматривая строгую и вместе свободную осанку, не хотелось вспоминать о каких-то слухах, потому что сразу становилось ясно: эти вот и есть — администрация, правительство, они и есть власть.



— Мы пригласили вас раньше, чем предполагалось, — сказал Первый Гласный, на этот раз он, конечно же, лично вел совещание. — Мы пригласили вас не для того, чтобы услышать от вас какие-то новости: вряд ли за столь ограниченный срок вы успели прийти к конкретным выводам. Мы пригласили вас, чтобы, напротив, поделиться новостями с вами. Не стану скрывать: это дурные новости.

Цоцонго кивнул, словно заранее знал, что так оно и будет. Форамма лишь вздохнул.

— Прошу вас, го-мар, — кивнул Гласный сидевшему неподалеку главе ученого мира, на студенческом жаргоне — Великому Питону.

— Недавно, приблизительно час тому назад, — начал Питон, — несчастный случай, или трагическое событие, как бы его ни называть, произошел в региональном институте Второго полушария. Как вам, видимо, известно (тут Питон привычно кривил душой, этого требовали приличия, на деле же он прекрасно знал, что сотрудникам этого института ничего подобного известно не было, так же как и ученым того института — об этих; то были своего рода заочные бега, способ контроля, а также повышения надежности прикладной науки, словно параллельная цепь управления каким-то ответственным механизмом), они занимались той же темой, что и ваша лаборатория. И вот... Мы успели лишь передать предупреждение, чтобы все данные и записи были немедленно сообщены нам; мы даже не знаем, успели они сделать это или информация осталась на уровне институтских компьютеров и хранилищ памяти. Таким образом, в данный момент мы еще точно не знаем, на каком этапе работы они находились, очередной ответ мы должны были получить лишь завтра; известно, однако, что и у них был назначен окончательный эксперимент. Видимо, они начали проводить его; у них была иная методика, но результат должен был возникнуть тот самый: накопление сверхтяжелого элемента с теми же параметрами. До вашего прибытия мы успели обменяться мнениями с коллегами и с представителями иных функций Планеты, здесь присутствующими; правительство, таким образом, в курсе дела. События заставляют нас прийти к выводу, что предположение о хорошо организованной диверсии становится все менее правдоподобным: нет фактов, какие указы-

вали бы на подобную возможность. Следовательно, приходится предположить, что тут и на самом деле играют роль какие-то естественные процессы, хотя характер их пока остается для нас совершенно неясным. — Он помедлил. — Если, конечно, у вас не успели возникнуть никакие соображения по этому поводу. Поскольку нет сведений о том, что в институте Второго полушария кто-либо из работавших над темой уцелел, — к сожалению, в отличие от вашего случая, катастрофа там произошла в рабочее время, — мы возлагаем надежды на вас. Мы со вниманием выслушаем все ваши пожелания относительно научно-технического обеспечения вашей работы, мы предоставим в ваше распоряжение лучшие лаборатории и любых специалистов, каких вы сами нам укажете. У нас лишь одно требование: разрабатывая теоретические предпосылки, вы должны незамедлительно делать из них выводы прикладного характера и передавать их соответствующим специалистам для разработки. Вот то, что я хотел вам сказать.

— Ни минуты времени не должно быть потеряно, — произнес Первый Гласный, как бы завершая напутственную часть, после чего все головы повернулись к Фораме и Цоцонго.

— Что дали астрономы? — спросил Цоцонго.

— Ничего, — ответил Питон, — что могло бы быть интерпретировано, как... Взаимное положение и движение двух планет не совпадают с флуктуациями скорости распада. Ничего общего. Никаких энергетических потоков не фиксировалось ни с каких направлений ни гражданскими, ни военными обсерваториями, ни соответствующими учреждениями Службы вещей.

— Не было ничего. Уж мы бы не проспали, — убежденным басом проговорил один из генералов — с тремя голубыми ракетами на расшитом золотом воротнике. — И ни одного корабля в поле зрения. Диверсантов, пояись они, мы испепелили бы еще на дальних подступах. Так что эти варианты — и с атакой диверсантов, и насчет излучений — кажутся нам маловероятными. Что касается внутреннего саботажа, то это уже не наша служба. — Он умолк и перевел дыхание.

— Есть у вас, мары, какие-либо гипотезы? — спросил Питон.

— Да, — невозмутимо сказал теперь уже Фораме: он решился, хотя Цоцонго делал ему страшные глаза

и попытался даже толкнуть ногой под столом. — Одна есть. Достаточно безумная, но она дает нам указания на то, где следует искать, пусть и косвенные, ее подтверждения. Если наша гипотеза окажется справедливой, положение, го-мары, окажется куда более серьезным, чем кажется сейчас.

— Можете ли вы изложить ее нам — хотя бы в самых общих чертах? — спросил Первый Гласный.

— Разумеется, го-мар, я мог бы. Скажу сразу: она целиком основана на предположении о естественном, вернее — природном характере происходящего. Анализируя сохранившиеся материалы, мы смогли, как нам кажется, заметить некоторые признаки...

Его, судя по всему, внимательно слушали, и он заговорил, все более увлекаясь, переводя глаза с одного на другого (что являлось нарушением этикета Высшего круга, но что было спрашивать с какого-то яйцеголового шестой величины!), жестикулируя, порой полемизируя сам с собой и с молчавшим Цоцонго. Когда он кончил, лицо Первого Гласного было столь же скульптурно-неподвижным, как и в начале, на большинстве остальных лиц заметна была усталость вследствие непривычного напряжения. Великий Питон едва заметно покачивал головой, то ли не соглашаясь, то ли от удивления, но вслух возражать не стал. Он сказал лишь:

— Таковы, следовательно, ваши предположения. Не сказал бы, что они дают привлекательную перспективу, однако...

— Мы все привыкли смотреть фактам в глаза! — уверенно сказал Верховный Стратег.

— И тем не менее... Какие есть способы убедиться, хотя бы косвенно, в обоснованности ваших выводов, мар Форам?

— Я считаю, го-мар, нужно не мешкая запросить все институты, где имеются какие-то количества, скажем, трех сверхтяжелых элементов, синтезированных последними — тех, что предшествовали нашему. Пусть сообщат, наблюдаются ли какие-то изменения скорости распада элементов, или хотя бы одного из них, и каков характер изменений. Получив данные, мы сможем сопоставить их с тем, что известно относительно нашего элемента. Как я уже сказал, мы не строим предположений относительно механизма явления. Мы слишком мало знаем. Но сейчас нам кажется самым важным —

констатировать, существует ли это явление вообще. Если нет — можно предположить, что никакой нарастающей угрозы нет, просто мы достигли — для нашего уровня возможностей, разумеется, — потолка в области синтеза сверхтяжелых, что природой наложен здесь некий запрет, иными словами — вступают в действие какие-то новые закономерности, не проявлявшиеся на низших уровнях, и чтобы добиться желаемого, следует искать обходных путей.

— Хотелось бы думать, что дело обстоит именно так.

— Совершенно с вами согласен, го-мар. Однако, проверка может показать и другое: что явление существует, и скорость распада увеличивается не только для наших экспериментальных ядер. Если так, наше предположение относительно изменения характеристик пространства можно было бы принять в качестве рабочей гипотезы, попытаться установить величину ускорения, иными словами — тот запас времени, которым мы обладаем для действий по достижению безопасности — и сделать выводы. Практические выводы. Разрешите несколько слов о них?

Великий Питон чуть заметно пожал плечами и взглянул в ту сторону, где сидели Гласные; взгляды тех, в свою очередь, повернулись к первому из них.

— Сформулируйте вкратце, — проговорил тот отрывисто и негромко. Но слова были услышаны всеми, и все, оставаясь неподвижными, каким-то непонятным образом излучили внимание свое и почтение.

— Я патриот, — сказал Форама. — И исхожу из своих представлений о том, что необходимо предпринять для сохранения самой Планеты, ее населения и нашей культуры — хотя бы ценой отказа от многого...

Его слушали, на этот раз все более настораживаясь, все чаще поглядывая в сторону Гласных. Энергетика? Но этого не перенесет экономика... Вооружение? Что же нам капитулировать перед Врагами, так прикажете понимать?

— Благодарю вас, — сказал Первый с тем же неподвижным лицом, когда Форама закончил — закончил как-то неубедительно, не на высокой ноте: почувствовал все холодеющее отношение слушателей к его мыслям и к нему самому. — Благодарю. Разумеется, мы примем во внимание ваши суждения. Однако мы внимательно слушали вас и полагались на вашу эрудицию, пока речь

шла о научных категориях. В области же применения этих категорий к реальной жизни мы привыкли придерживаться наших собственных методов, продиктованных опытом и традициями. Надеюсь, это вас не обидит... — Он коротко кивнул Фораме, тот спохватился, что все еще стоит, словно школьник, выслушивающий нотацию учителя, и поспешно уселся на свое место, даже съежился, чтобы привлечь поменьше внимания. Но на него и не смотрели уже, с ним на данном этапе было покончено, нужное из его информации было принято, остальное — отброшено, и не ученым же (а у этого и змей еще не было в петлицах), не им решать судьбы цивилизации.

Да так и правильнее было, наверное: если бы и практические выводы доверено было сделать ученым, то они, погрузившись в исследование теоретических и философских аспектов рабочей гипотезы, до конкретных мероприятий добрались бы не через день и не через два. Но Высший Круг, заседание которого здесь и происходило, состоял в основном из политиков, близких к стратегам, и стратегов, близких к политикам; научную сторону вопроса они приняли безоговорочно, как и все, исходящее от науки, по принципу: понять это невозможно, приходится верить (горький опыт научил их относиться к проблемам именно так). Но в вопросах практических они уступать инициативу никому не собирались, и тут же, не сходя с места, взялись прежде всего за решение стратегического вопроса: чего, исходя из возникших условий, следует добиваться и каким именно способом.

Собравшиеся, люди неглупые, хотя и обладавшие не столько кругозором, сколько, если можно так сказать, сектором обзора, достаточно узким (но это — непременное условие целеустремленности), прежде всего, даже не обменявшись еще ни словом, поняли, что вся их досиюминутная военная стратегия, основанная, как и стратегия Врагов, на принципе: «Попробуй, тронь — тебе же хуже будет!», лишается своего основного аргумента: бомбоносных армад, которые в обозримом будущем обещали, если верить новой гипотезе, исчезнуть с немалым шумом. Поэтому стратегия могла пойти сейчас по одному из двух направлений: либо ждать, пока бомбоносцы сами собой не взорвутся, используя это время для рывка в области естественных, как принято

было говорить — иными словами, неядерных — средств обороны: когда обе планеты окажутся ядерно-обезоруженными, преимущество будет на стороне той, которая лучше подготовится к иным способам активной самозащиты; активной, вот именно. Другой же принцип заключался в том, чтобы не ждать, пока бомбоносцы полетят ко всем чертям, но использовать их, пока они еще существуют, для той же активной обороны, постаравшись одновременно обезопасить себя от чего-либо подобного со стороны Врага — коварного, как известно, и подлого, но в данном случае (хотелось надеяться) приотставшего. Ни стратегическая, ни научная разведка пока еще не имели никакой информации об изменении или просто некоем шевелении в области вражеской стратегии и оборонной науки. Хотя исходить следовало из того, что если гипотеза верна, то подобные же явления со сверхтяжелыми ядрами должны были произойти и у Врага, но не было известно, занимался ли уже Враг их синтезом; если не занимался, то никаких взрывов там и не могло произойти, и о надвигающейся беде там не знали, а следовательно, у Планеты был налицо выигрыш во времени: тут уже знали о предстоящем, и могли принять меры.

— Велика ли вероятность того, что ваши враги находятся в курсе событий, го-мар? — обратился Верховный Стратег к Главному Змееносцу, Великому Питону тож.

— Как вам известно, научного обмена с Врагами мы не ведем уже довольно давно. Однако, по нашим данным, они не прилагали адекватных усилий в области синтеза сверхтяжелых, поскольку их оборонная наука особое внимание обращала и обращает на различные комбинации тяжелых и легких ядер. Работая в этой области, они на данной стадии не могут столкнуться с интересующими нас явлениями, пока не начнется аналогичный процесс в тяжелых.

— Если начнется вообще, — обронил Верховный Стратег.

— К сожалению, сомнений в этом почти не остается. Пока вы обсуждали положение, мы получили запрошенную маром Форамой информацию и успели первоначально осмыслить ее. Теперь уже можно почти с абсолютной уверенностью сказать, что ускорение распада является реальностью и можно даже в первом приближе-

нии вывести его зависимость во времени. Можно также предполагать наличие тенденции распространения процесса на ядра тяжелых элементов. Правда, тут еще желательны уточнения.

— Благодарю вас, — прервал Питона Первый Гласный. — Когда же, по-вашему, может начаться этот процесс в тяжелых ядрах? Иными словами — каким запасом времени мы обладаем?

— Следует, видимо, исходить из двух недель. Плюс-минус, конечно.

— Две недели... — задумчиво повторил Гласный. Он повернул голову к Верховному Стратегу: — Что можно сделать за этот срок в области развития естественных средств самозащиты?

— Зависит от постановки вопроса, — не сразу ответил тот. — Если иметь в виду пассивную оборону от возможного десанта Врага, то за две недели мы можем развернуть стратегические коконы, довести их до полного состава за счет резерва и хранящегося в арсеналах вооружения. Это реально. Что же касается проблем обороны активной, то... некоторые идеи нуждаются в уточнении, и может быть, на менее широком заседании...

— Понимаю вас, — сказал Первый. — Объявляю перерыв на несколько минут.

Он встал и в сопровождении остальных Гласных покинул комнату собраний, выйдя в заднюю дверь. Оставшиеся зашевелились, почувствовали себя расслабленнее. Зашелкали пробки, зазвенели стаканы, зашипели сифоны.

— Да, славно бы, — сказал Верховный Стратег Питону, — если бы они там ничего еще не знали, ни сном ни духом.

— В этом я уверен, го-мар. И не только по той причине, какую я уже изложил. Дело еще и в том, что в нашей области многое зависит от качества умов, работающих над проблемами. Вот например, — он понизил голос, — наш мар Форам Ро — явление в этом плане выдающееся, хотя некоторые его личностные качества не позволяют понять и оценить это сразу.

— Он как ребенок, — с досадой сказал Стратег.

— Увы, да. Но с этим приходится считаться. Он... — Великий Питон поискал Фораму глазами, не нашел. — Кажется, они уже удалились?

— Вероятно, — кивнул Стратег. — Вопросы, которые будут обсуждаться здесь после перерыва, не требуют их участия. Видимо, их предупредили об этом.

— Прекрасно. Я как раз должен был напомнить им об этом... Да, я хотел сказать вот что: хотя обе планеты и близки по уровню развития, это вовсе не значит, что специалисты одного масштаба возникают и тут и там одновременно. История науки доказывает противное...

И они продолжали разговор.

Однако ни Форама, ни Цоцонго не покинули комнаты заседаний. Не думая ничего дурного, они, воспользовавшись перерывом, отошли от своего столика и присели на диванчике в углу, за колонной, где можно было выпить стакан сока не на глазах высокого начальства, которого оба они стеснялись. Стоял диванчик так, что Гласные со своих мест могли видеть лишь уголок его.

— Слушай, — тихо сказал Форама коллеге. — О чем еще совещаться? Не понимаю, о чем тут еще думать. Ведь все ясно! По-моему, они все равно придут к тому, что я уже предложил. Потому что другого выхода нет, ты же понимаешь, что нет!

— Это с твоей точки зрения, — усмехнулся Цоцонго.

— А тут только одна точка зрения и может быть.

— Оставь. Ты никогда не занимался политикой, даже в рамках института. Ты в этом отношении эмбрион. Так что лучше оставайся в границах чисто научной информации.

— То есть?

— Не суди о том, чего не понимаешь.

— Цоцонго! Но ведь всякое иное решение — это гибель людей! Гибель, может быть, всего!

— И что?

— Ну перестань! — сказал Форама. — Ты не смеешь так думать о Высшем Круге. Только что мы видели их здесь. Вполне достойные люди, вызывающие доверие и уважение. И в конце концов, разве не вся Планета избрала Гласных, доверила им свою судьбу?

— Кстати, как ты полагаешь: зачем было сейчас делать перерыв?

— Какое это имеет значение? С перерывом или нет, но если они не согласятся с тем, что я предложил, я встану и скажу...

— Не спеши вставать. Я не зря спросил о перерыве. Ты наверняка ведь слышал разговоры...



— Разговоры? — Форама на миг умолк, соображая: мысли сейчас были полны другим. — Ах, о Неизвестных? Ну, знаешь, побывав здесь, я в это больше не верю.

— Но примем, как одну из гипотез, что они пошли сейчас не просто посоветоваться в узком кругу, но чтобы снести с — ну, с кем-то, — и получить определенные инструкции.

— Не знаю, Цоцонго. Да и какое это имеет значение? Кто бы ни занимался поисками выхода, но если выход один, он должен быть найден этим ищущим. А если он не найдет, я помогу ему!

— Видишь ли, тут есть разница. Тех, кто принимает решения, в принципе можно переубедить. Тех же, кто лишь получает и транслирует дальше инструкции, переубедить нельзя: они не решают, они лишь объявляют. Так что в этом случае ты и подавно выскочишь зря.

— Не верю.

— Я тебе желаю добра, Форама...

— Понимаю. Но... я верю Высшему Кругу, понимаешь? Кому же еще я должен верить по-твоему?

— Ищущий веру — найдет. Только имей в виду: Круг, хотя он и Высший, — еще не горизонт. В пределах горизонта есть многое другое, во что можно верить.

— Мне сейчас не до абстрактных рассуждений. Я...

Задняя дверь в этот миг распахнулась, Гласные вошли. Были они так же невозмутимо непроницаемы. Расселись. Первый обвел комнату взглядом, глаза его задержались на опустевших местах двух ученых, и он удовлетворенно кивнул, полагая, что лишних в комнате не осталось.

— Продолжаем. Го-мар Верховный Стратег, насколько я понимаю, говоря об активной обороне, мы имели в виду применение десанта?

Стратег кивнул:

— Вот именно. Как считают наши эксперты, мы в данной ситуации через две недели можем остаться без средств десантирования, или во всяком случае без уверенности в их безотказности: наш десантный флот, напомним, работает на тяжелых элементах. А следовательно: либо мы начинаем активно-оборонительные действия, самое позднее, через неделю, либо придется ожидать, пока не будет воссоздан флот на химическом топливе и топливо это будет получено в нужных коли-

чествах. Но это — месяцы и годы, и мы лишимся фактора внезапности, имеющего первостепенное значение.

— Нет, — сказал Гласный. — Терять его мы не должны.

— Значит, надо искать иной вариант. Вы разрешаете? Гласный помолчал.

— Иной вариант очевиден, — негромко ответил он затем. — Пока мы еще можем с уверенностью оперировать тяжелыми, надо попытаться использовать максимум возможных комбинаций. Включая и ту, вероятность которой возникла в связи с новыми обстоятельствами.

Он кашлянул.

— Сегодня мы еще обладаем всем: и бомбоносным флотом на орбите над планетой Врага, и десантным флотом, и тактическими средствами, основанными на тяжелых элементах. Ясно, что всем этим обладает и Враг. Однако сейчас у нас есть и новый сверхтяжелый... Великий Питон решил возразить:

— Простите, го-мар. Его у нас как раз больше нет.

— Но ведь технология производства сохранилась? Да и специалисты, что присутствовали здесь... Однако этот элемент нам, собственно, и не нужен, для нас важно лишь, что он является средством, значительно более эффективным, чем все, что до сих пор было известно. Не так ли?

— Вы совершенно правы.

— Теперь вами установлены какие-то закономерности, которые дадут возможность рассчитать: какой нужен нам элемент, чтобы самопроизвольный взрыв его произошел, учитывая развитие процесса, ну, скажем, через четыре дня. Верховный Стратег, вы хотите что-то сказать?

— Никак нет, го-мар. Я лишь не вполне понимаю... но вы, очевидно, подразумеваете возможность направления к их планете средств доставки с этим новым элементом?

— Именно.

— Но сможем ли мы обеспечить их охрану, защиту от вражеских охотников?

— В этом нет нужды. Мы исходим из того, что противник будет считать их обычным оружием, и, следовательно, приготовится к их уничтожению на заранее

определенных рубежах его безопасности. От чего зависят эти рубежи, го-мар?

— От типа, от массы приближающихся снарядов. Чем массивней он, тем больше расстояние от планеты, на котором он должен быть атакован и уничтожен.

— Совершенно верно. Так вот: наши средства и сами заряды будут значительно меньше существующих и, следовательно, их подпустят ближе. А там уничтожить их просто не успеют: они взорвутся раньше. И благодаря тому, что мощность их заряда окажется намного большей, чем будет предполагать Враг, ему будет нанесен значительный ущерб. Все, что нам нужно — это чтобы ученые дали нам элемент с нужной точностью взрыва. Мы не требовали бы этого, если бы взрывом можно было управлять произвольно, как было со всеми другими веществами...

— К сожалению, это невозможно, го-мар.

— Итак, вы дадите нам такой элемент?

Великий Питон помолчал.

— Боюсь, что гипотеза, — назовем ее даже теорией, — осторожно ответил он наконец, — на сегодняшнем уровне не может обеспечить необходимой точности. Тут можно было бы идти только экспериментальным путем...

— Идите — мы будем только приветствовать.

— Извините, я хотел бы закончить мысль. Идти таким путем в данном случае значит — синтезировать сверхтяжелые от больших номеров к меньшим. Если бы у нас были все номера, было бы проще, но в нашем распоряжении — далеко не все элементы, и об отсутствующих членах ряда можно судить лишь гадательно. Итак, придется синтезировать; высшие номера будут взрываться — только так мы сможем установить, что это еще не то, что нам нужно.

— Разве на планете мало институтов? Используйте все! Сверните все остальные исследования!

— Дело не только в этом, го-мар. Будут гибнуть люди. Ученые!

— Нельзя ли автоматизировать процесс?

— В принципе — да. Но в принципе можно и разработать теорию в нужной степени. Однако на то и на другое нужно время.

— Времени у нас нет. Начинать надо немедленно.

— А кроме того, — негромко вставил до сих пор молчавший Великий Вещий, — все это должно происхо-

дить при минимальной внешней суете и минимуме вовлеченных и информированных лиц. Все должно выглядеть, как обычно. Иначе Враг начнет что-то подозревать, и будем смотреть правде в глаза — нельзя стопроцентно гарантировать полное сохранение секретности.

— Следовательно, — сказал Питон, — участие людей в экспериментах необходимо. И при каждом взрыве они будут гибнуть. По пять, шесть, восемь ученых...

— Сколько же может понадобиться таких экспериментов?

— Во всяком случае, более одного, я полагаю. Три, четыре, может быть, пять — пока не найдем искомое.

— Хорошо, — сказал Первый Гласный. — Пусть будет пять. Пусть по восемь участников в каждом... Неужели вы не найдете у себя сорок хороших физиков? В таком случае, на что же мы давали деньги?

— Но... — пробормотал Питон, — они же погибли!

— Полно! — вступил в разговор Верховный Стратег. — Когда мы посылаем воинов выполнять свой долг, то заранее знаем, что немалая часть их погибнет. Война есть война, и ваши физики ничем не лучше других.

— И пять институтов...

— Го-мар! — сказал Первый. — Победив, мы построим вам не пять, а двадцать пять таких институтов. И до самой крыши набьем их первоклассными мозгами. Проигравший платит. Но, чтобы выиграть, нужно сперва что-то поставить на кон.

— Да, конечно... — еле слышно проговорил Питон. — Да, мы сделаем... Но — простите, если я вторгнусь в чужую область знания, однако, наука приучает к определенной дисциплине мышления. Мы слышали здесь ту прекрасную диспозицию, что изложил здесь го-мар Первый Гласный. Однако... Настолько мы все разбираемся в науке обороны... как только над их планетой произойдут взрывы и будут, видимо, уничтожены их центры, управляющие бомбоносным флотом, — их корабли, витающие над нашими головами, перестанут получать постоянный сдерживающий сигнал и автоматически начнут атаку, даже если наши охотники не увеличат скорость ни на миллиметр. Таким образом, мы все равно получим ответный удар!

— Я не спрашиваю, откуда вам известно о сдерживающем сигнале: знаю, что ваши ученые разрабатывали

подобное устройство для нужд нашей обороны, — ответил Первый. — Однако вы понимаете далеко не все.

— Нам была изложена, — снисходительно пояснил Верховный Стратег, — лишь основная линия предстоящих оборонительных действий. Их, так сказать, директриса. Продумать остальное — наша, стратегов, задача, и мы, будьте уверены, выполним ее на совесть. Чтобы успокоить вас, чтобы вы действовали без оглядки, могу сказать, что ваша безопасность будет гарантирована. Как только вы дадите нам достаточное количество элемента — кстати сказать, мы немедленно включим в его синтез соответствующую отрасль оборонительной промышленности, а вы знаете, какой мощностью она обладает, инженеры же уверили нас, что понадобится лишь минимальная переналадка промышленных ускорителей, — да, как только мы получим элемент, мы сразу же начнем им, кроме тех средств доставки, о которых говорил го-мар Первый, еще и ракеты второй ступени.

— Заатмосферные? Но какой в этом смысл?

— Великий, собрат мой, великий. Эти ракеты мы используем еще до начала основной атаки именно для того, чтобы вывести из строя бомбоносцы врага. Они, как известно, могут автоматически перейти в атаку и предпринять действия по собственной защите только в случае, если охотники — или другие снаряды — приближаются к ним на расстояние хоть на метр меньше установленного договорами о безопасности. И, так же как при атаке на планету, наши маленькие ракеты, начиненные новым веществом, взорвутся, еще не достигнув этого предела и таким образом не дав бомбоносцам возможность что-то предпринять. Вы сами понимаете, что взрыв таких зарядов на якобы безопасном расстоянии выведет из строя все их машины. Попросту расколлет их на куски. И висящая над нами опасность наконец-то перестанет существовать!

— Это можно было бы только приветствовать...

— После чего мы сможем с чистой совестью поднять с планеты наш десант, а перед ним пустить те самые средства доставки, о которых уже говорил го-мар Первый; таким образом, мы создадим условия для успешного десантирования.

— Очень хорошо, — сказал Первый Гласный. — Просто блестяще. Я думаю, Стратегическая служба

немедленно займется детальной разработкой этого варианта.

Великий Питон откашлялся; голос его чуть дрожал, когда он сказал:

— Вы нарисовали убедительную и логичную картину, го-мар... Конечно, все это будет связано с немалым количеством жертв с обеих сторон... на фоне которых наши двадцать или сорок физиков покажутся совсем ничтожной потерей... Но все же мне трудно было бы примириться с подобной мыслью, если бы не сознание того, что принимаемые нами меры вызваны происходящими на планете Врага ужасами, о которых мы все наслышаны... и если бы не то, что это будет последняя война в истории наших планет и что жертвы эти будут — последними жертвами...

Пауза наступила после слов старика; по лицам политиков и стратегов, словно легкая рябь на воде, промелькнули улыбки, Верховный Стратег сказал:

— Да, разумеется, го-мар. Мы все на это надеемся. Однако... история учит нас, что подобные надежды чаще всего не оправдываются. Ибо мы, высказывая их, не принимаем во внимание неопишемого, сверхчеловеческого коварства наших исконных Врагов.

— При чем тут коварство, — не понял Питон, — если они, как я понял, будут разбиты наголову?

— Разбиты они будут, безусловно. Расшатанное внутренними неурядицами и осложнениями, их общество не сможет оказать сколько-нибудь значительного сопротивления нашим десантам. Но вы ведь не думаете, го-мар, что мы собираемся уничтожить всю жизнь на их планете? (Ученый испуганно дернул головой.) Мы тоже так не думаем. Жизнь сохранится. Сохранится, хотя и будет несколько нарушена их экономика, сохранится их Круглый Стол — хотя в нем и произойдут, разумеется, некоторые изменения; им придется забыть о своих амбициях и обратиться к нам за помощью для восстановления разрушенного и для дальнейшего развития. Мы, разумеется, помощь эту окажем — из чисто гуманных соображений, памятуя, что семьдесят с лишним лет назад они подобным же образом поступили по отношению к нам: тогда им удалось каким-то способом возобладать над нами в вопросах обороны... Мы не освещаем этого в школьных учебниках истории, но впечатления вашего детства, го-мар, должны быть связаны с

этим, да и каждого или почти каждого из нас. Да, мы поможем им восстановить хозяйство. Так что же вы думаете, как только их промышленность снова наберет обороты, они не вспомнят о реванше? Не станут развивать оборонные отрасли? Вооружать Стратегическую службу? Станут, го-мар, и еще как! Так что пройдет несколько десятилетий, и вопрос «кто кого» будет стоять так же принципиально, как сегодня. Другое дело, что и мы постараемся не потерять времени даром, так что сразу же после заключения мира вам, го-мар, придется бросить еще больше сил на развитие оборонительной науки.

— Однако, го-мар, — нерешительно, почти испуганно проговорил Питон, — наверное, я чего-то не понимаю... Зачем же позволять им восстанавливать Стратегическую службу, оборонительную промышленность и все прочее? Ведь в наших силах будет не допустить этого раз и навсегда!

— Может быть, теоретически это и возможно, мой ученый собрат, — ответил Верховный Стратег, — однако практически здесь возникло бы множество трудностей. Никто в наши дни не в состоянии провести грань между промышленностью мирной и оборонительной, между предприятиями, работающими на мирный рынок — и на стратегию. Взять хотя бы ваши институты... Но дело не только в этом. Мы живем в обществе, го-мар, все мы — частицы его. И наше, и их общество наделены определенными функциями, которые мы считаем нормальными. К ним относится и функция обороны. Так неужели кто-нибудь решится настаивать на создании ублюдочного общества, лишенного какой-либо из его нормальных функций? Что это будет за общество? Мне не хотелось бы жить в таком, да и никому из нас, я думаю, тоже... Нет, наше общество вполне нас устраивает, и мы не собираемся менять в нем ничего. Вот почему они будут снова вооружаться, и вот почему мы всегда будем готовы к очередному акту самозащиты, как готовимся к нему сейчас. Вы поняли меня, го-мар?

Наверное, старик понял. Потому что можно было бы сказать и проще: если это последняя война, то что после нее станем делать мы, стратеги? Не захотят ли вечно недовольные налогоплательщики и пакостная пресса вообще обойтись без нас под тем предлогом, что мы требуем слишком много денег, а практической надоб-

ности в нашем существовании уже не будет? Нет, мы не собираемся допустить ничего подобного, потому что нам нравится наше занятие и еще потому, что без нас нарушится равновесие сил, регулирующих ход общественных процессов, и чем это может кончиться — никто предсказать не в состоянии... Наверное, старик понял; во всяком случае он больше ничего говорить не стал, лишь кивнул несколько раз и стал смотреть в стол.

И тут вскочил Форам. Его тут не должно было быть, лишь недосмотром тех, кому надлежало, можно объяснить, что его вместе с Цоцонго не вывели своевременно и не вернули в приятное уединение или же в новую лабораторию, или еще куда-нибудь, куда было бы сочтено полезным. Но они остались и слышали то, что им слышать никак не полагалось; но вместо того чтобы, сознавая свой грех, примириться с судьбой, какая после этого могла их постигнуть, Форам выскочил из-за прикрывавшей его колонны и осмелился заговорить.

— Го-мары! — не сказал, а почти выкрикнул он, хотя рассудок подсказывал ему, что лучше было бы говорить спокойно и уверенно; ничего он не смог с собой поделывать, помешал глубоко запрятанный обычно темперамент. — Го-мары, неужели не ясно?.. Все это строится на песке — нет ведь уверенности, что элементы поведут себя строго заданным образом, что природа не несет нам никаких новых неожиданностей. А главное — раз в жизни, да что в жизни — раз в истории, может быть, нам представляется возможность, не возможность — необходимость круто повернуть руль, направить историю в ином, лучшем направлении, а мы — а мы пренебрегаем такой возможностью и собираемся идти на громадный риск ради того только, чтобы все осталось по-старому... Го-мары, неужели нельзя опомниться, неужели нельзя...

Он запнулся, наткнувшись на взгляды — испуганные, недоумевающие, неприязненные, холодные; все глядели не на него, а мимо или сквозь — и все же взгляды эти жалили его. Он умолк, но упрямо стоял, словно готов был ждать ответа до самого конца; стоял, внутренне сам не понимая, что это его вдруг занесло, ужасаясь — но капитан Ульдемир лучше знал, что сейчас надо делать.



— Почему вы здесь, мар Форам? — негромко, как всегда, спросил Первый Гласный. — Вам придется, полагаю, дать исчерпывающий ответ на этот вопрос несколько позже... (Великий Вещий разгневно оглянулся; к нему уже спешил подчиненный, другие наверняка ждали за дверью.) Занимайтесь своим делом, мар. На прощанье скажу вам: в политике безумные идеи не нужны. Они вредны. Они враждебны. И не знаю, перевесят ли ваши научные заслуги всю тяжесть того, что вы позволили себе только что.

«Высший Круг, — думал Форам, — вот как решаются здесь дела. Иная логика, система ценностей, иерархия целей — все иное!»

Он оглянулся. От двери уже приближались. Надо было что-то сделать. Неожиданное. Что-то придумать. «Ну, капитан! — прикрикнул он сам на себя. — Думай! Быстро! Как в полете!»

— Го-мар Первый! — сказал Форам сдержанно, и это заставило головы снова повернуться к нему — именно уверенная сдержанность голоса. — Перед тем, как выйти, разрешите заметить, что есть способ значительно сократить и ускорить ход намеченных вами экспериментов.

Первый Гласный взглянул на него — на этот раз уже не враждебно, хотя до дружелюбия было еще далеко.

— Только самую суть, пожалуйста.

— Из элементов, синтез которых предполагается в процессе экспериментов, три номера были уже созданы нами в ходе подготовки к основным работам. Созданы в количестве, позволяющем использовать их нужным образом... — Форам положил, как бы между прочим, ладонь на плечо коллеги. — Они хранились в институте, в крайне надежных контейнерах, в мощных сейфах, в скальном основании. Если до сих пор не поступало сообщений о повторных взрывах в развалинах института, значит, они еще сохранились...

— Можно ли добраться до них?

— Разрешите мне проникнуть туда и убедиться.

— Не рискованно ли? — Произнося это, Первый смотрел не на Фораму, а на Великого Вещего; тот еле заметно пожал плечами.

— Однако, другой возможности нет. Дело в том, что я — единственный оставшийся в живых, на чей биошифр настроены замки. Конечно, доступ туда затруднен, но

я в прекрасном состоянии, и если мне дадут нескольких человек в помощь...

— Безусловно, — усмехнулся Великий Вещий.

— Ваше мнение? — обратился Первый к Питону.

— Да-да, — сказал тот, — конечно... Он упорно смотрел в стол. — Риск, конечно, велик, но и польза...

— Какой выигрыш во времени могут дать эти элементы?

— Дня два, может быть, три.

— Очень ценно. Мар Форам, мы благодарны вам за инициативу. Будем ждать известий о вашем успехе. Идите.

Неизвестно, в какой миг приблизившиеся двое уже стояли за спиной Форамы.

— Можно идти, — сказал один из них почти беззвучно и снова вхолостую задвигал челюстью, растирая жвачку.

Форам непринужденно кивнул, Цоонго встал, наконец, с диванчика и остановился рядом с ним.

— Я тебе понадобится там?

— Нет... — и почти беззвучно: — Рыцарь...

Цоонго усмехнулся углом рта, кивнул и первым вышел в зеркальный холл. Форам, идя за ним, мельком глянул на многочисленных Форам, кинувшихся на него из зеркал, и безмятежно засвистел песенку. «Как приятно, — насвистывал он, — в теплый солнечный день быть вдвоем с красивой и доброй светловолосой девушкой на пустынном морском берегу, где лишь ветер коснется нас — но он никому, никому не расскажет...»

А в комнате, из которой они вышли, совещание продолжалось. Первый Гласный давал указания Великому Питону:

— Поскольку Круг, видимо, согласится с предложенным здесь образом действий по активной обороне, немедленно займитесь отбором персонала для экспериментов и их инструктированием. Берите их из разных мест и так, чтобы обо всем, связанном с экспериментами, у них не было ни малейшего представления или догадки. Кодовое название операции установим — «Чистое небо». Никакого самостоятельного обмена информацией между группами — только через вас. Мы, со своей стороны, обеспечиваем сорок пенсий второго ранга семьям погибших физиков, сорок посмертных дипломов Спасителей Нации — с обнаружением после одержания

победы — и сорок памятников; однако тут мы еще подумаем — памятник, возможно, воздвигнем групповой — тоже после победы, разумеется. У вас есть вопросы? У кого есть вопросы?

— Го-мар, — сказал Великий Вещий. — Полагаю, что в целях соблюдения секретности этих сорок человек, как и всех прочих, кто будет связан с проектом, и этих двоих, если они уцелеют, — он бегло глянул в сторону двери, — следовало бы немедленно перевести на охранительный режим.

— Только сделайте это как можно деликатнее. Ваши люди порой забывают о необходимости соблюдения покоя... Чтобы ни у кого не возникло тяжелого впечатления и чтобы сами эти лица не утратили рабочего настроения.

— Нет, — сказал Вещий, — рабочего настроения они не утратят, это мы обеспечим. Система поощрения, и прочее.

— Хорошо. Последнее: никакой информации в широкую сеть. Наоборот. Мы срочно пошлем на их планету делегацию для переговоров по каким-нибудь актуальным проблемам межпланетной торговли. Представительную и многочисленную делегацию с видным деятелем во главе — на уровне, скажем, третьей ступени. Об этом дадим самую широкую информацию по всем каналам.

— Еще два десятка пенсий, — негромко сказал кто-то из политиков, кажется — Главный Финансист, и эти слова как-то четко вписались в неожиданную паузу, так что их услышали все.

— Победа, — сказал Первый спокойно, — требует жертв. Именно они остаются в памяти истории и потомков. А кто помнит о бескровных победах? Да и бывают ли такие вообще?

## Глава пятая

Кабинка уличного сообщения равномерно плыла по заданному маршруту, а маленькая лодка с наблюдателями все так же неотступно следовала за ней, негромко жужжа антигравом, а Мин Алика, хрупкая, большеглазая женщина, находилась уже далеко от того места, где, как наблюдатели полагали, она сейчас обретається.

Как и в какой именно момент удалось ей ускользнуть из кабины, да еще так, что никто этого не заметил — ни один не взялся бы объяснить, потому что для такого объяснения следовало бы признать вещи не менее неожиданные для большинства спокойно мыслящих чем, скажем, такое изменение свойств пространства, о котором совсем уже догадался Форама. Ускользнула; для простоты можно предположить, что она в момент, когда кабина, закончив спуск по этажам, на миг замерла, чтобы в следующую секунду начать движение по горизонтальному руслу, ведущему к магистрали, — что в этот момент Мин Алика с неожиданной для хрупкой женщины силой раздвинула дверцы, протиснулась между створок и ступила на узкую — едва устоять — бетонную ступеньку, прижалась грудью к стене, а когда кабинка перешла на ленту горизонтального потока — женщина осторожно сделала несколько шагов по выступу и (сзади и сверху слышался уже негромкий рокот других набегających кабин, был час пик, люди ехали на работу) нырнула, отворив железную дверцу, в узкий ход, предназначенный для наладчиков домашних транспортных каналов. Отсюда можно было выбраться по узким и пустынным коридорчикам — она знала это, хотя ни разу здесь не бывала и никаких планов или схем не видала — в единственный в блоке подъезд для пешеходов, где, как Алика рассчитывала, никто ее не поджидал, а и если бы — она нашла бы способ уклониться от встречи. Оказавшись на улице, Мин Алика быстро и не оглядываясь прошла те две сотни метров, что отделяли ее от перехода на нижний транспортный ярус нерегулярных сообщений. Минуты две здесь пришлось ожидать поезда; пассажиров в этот час было мало, время нерегулярных поездок еще не наступило, — проехала две остановки, вышла, перешла, не поднимаясь на поверхность, на линию индивидуальных кабин свободного движения. Там была очередь, и пришлось подождать около пятнадцати минут. Наконец она села, сунула в кассу кабинки монету (можно было и просто задать номер своей карточки, но не стоило оставлять следов, излишним было бы — выказывать пренебрежение к принятым здесь способам скрыться от чересчур пристального внимания) и задала маршрут, поглядывая на светившийся над кассой план маршрутной сети нижнего яруса и нажимая клавиши с нужными номе-

рами. Теперь у нее было с полчаса времени, разыскать ее в кабинке свободного движения, одной из десятков тысяч, практически было невозможно. Прежде всего Мин Алика задумалась: что дальше? Она примерно представляла, как должны развернуться события в ближайшем будущем — если только не вмешается нечто неожиданное. Свою задачу она знала: поддерживать соратника и — иногда — направлять едва заметными движениями, как опытный водитель легкими, как бы самопроизвольными движениями руля заставляет машину как можно меньше отклоняться от прямой. Первой задачей было — получить свободу действий; она не была уверена, справится ли с этим он сам, настолько она его еще не знала. Где находился он сейчас? Ей захотелось его увидеть. Это удалось женщине почти сразу: его рассудок и чувства в эти минуты работали очень интенсивно, уловить их для Мин Алики труда не составляло. Ей не понадобились для этого какие-либо дополнительные средства, вроде того устройства, что было вмонтировано в замочек ее сумочки и служило для превращения в информацию, адресованную ей одной, тех шумов и помех, что сопровождали утреннюю передачу местного вещания. В устройстве этом не было ни грамма металла, не работали в нем и электромагнитные поля, и черная коробочка, какой пользовались вещи — анализатор — помочь им ничем не могла: такое поле анализатором не воспринималось. Итак, Фораму она увидела без помощи сумочки, увидела — и немного успокоилась; однако ей все же следовало быть к нему поближе. Она задала кабинке новый маршрут, не переставая смотреть и слушать; но обстановка изменилась, и в результате Мин Алике пришлось еще раз задержать кабину на полном разгоне и изменить направление; кабина не обиделась на это, ничего не проворчала и даже не подумала — она была лишь автоматом четвертой категории. События теперь приняли такой оборот, что целых несколько часов Мин Алика могла использовать для собственных дел — если бы такие у нее были. Поразмыслив, она направила кабину в один из тупиков, какие использовались для стоянок лишнего транспорта в часы слабого движения; здесь можно было находиться, не выходя из кабинки, неопределенно долгое время — опуская лишь монеты в кассу, когда звоночек позвякивал очередной раз.

Эти несколько часов покоя следовало, пожалуй, использовать для занятия, столь высоко оценивавшегося древними: для познания самой себя — что для Мин Алики в настоящем ее положении вовсе не было лишним. Она с немалым интересом познакомилась с собственной биографией, иногда при этом кивая, иногда хмурясь, а порой высоко поднимая брови и усмехаясь. Вот уж действительно лихую жизнь она прожила — при всем ее достаточно еще молодом возрасте успела она воистину немало. «Бедный ты мой Форам, — подумала Мин Алика с улыбкой, — вот уж не обрадовался бы ты, выяснив все подробности! Однако тебе знать их не зачем, а если я тебе о них и сообщу, то не сейчас, а когда-нибудь потом, и не здесь, а где-нибудь совсем в других местах...» Порой Мин Алика, анализируя собственное жизнеописание, сама с собой спорила, иногда даже весьма серьезно и непримиримо, как если бы две чужих и достаточно разных женщины ссорились; но разве не так оно и было на самом деле? Однако, в конце концов Мин Алика пришла в согласие сама с собой и со всем своим прошлым, которого было не переделать; с настоящим, переделывать которое не было надобности, и с будущим, которое переделывать нельзя было хотя бы потому, что его еще не было.

Покончив с этим, Мин Алика снова вывела кабину на линию и задала маршрут. До намеченной ею конечной точки поездки оставалось еще минуты три-четыре, когда кабина вдруг стала замедлять ход, а потом и вовсе остановилась. Засветилось табло: «Линия перекрыта. Выберите маршрут объезда». Женщина кивнула, не испытав особого удивления. Не раздумывая, она набрала маршрут, согласно которому кабинке следовало вернуться на три перегона назад, там свернуть под прямым углом и ехать дальше. Но когда кабина, мигнув желтым огоньком согласия, готова была уже тронуться, Мин Алика оттянула дверцу и выскочила. Кабинка чуть помедлила, но створка отъехала не настолько, чтобы включить автоматическую отмену маршрута, и узкий ящик скользнул, уносясь по заданному пути.

Так Алика потерялась в очередной раз. Она обождала, пока огонек кабины не скрылся за изгибом туннеля, и пошла вперед, уже не опасаясь, что ее собьют: раз движение перекрыто, значит, здесь не могло быть никакой езды. Пешком пройти надо было примерно с полчаса;

видимо, на пути туда, куда она шла, встретится еще самое малое один, а то и два рубежа перекрытия; однако если там и окажутся люди, то лишь в самом конце пути. Но она свернет раньше.

Она шла по туннелю легкой, непринужденной походкой, помахивая сумочкой, словно прогуливалась по бульвару, когда впереди слышался негромкий рокот, потом сверкнул огонек. Кабинка шла навстречу, судя по звуку — на предельной скорости. Мин Алика могла бы попытаться остановить кабину, но решила, что сейчас этого не нужно: все отлично шло само собой. Ей пришлось сжаться, притиснуться к стене туннеля, закрыть глаза даже, чтобы избежать мгновенного головокружения: она ведь была женщиной, какими бы знаниями и каким бы опытом ни обладала, она не терялась в самых серьезных переделках, а вот на чем-то мелком могла и споткнуться... Рокот нарастал, вот он уже расчленился на несколько отдельных звуков: шум роликов на направляющих полосах, свист токосъема по шине, приглушенное жужжание мотора, — налетел, обдав теплым, пахнувшим озоном воздухом, промчался — и снова наступили полутьма и тишина. Мин Алика перевела дыхание, открыла глаза. Она не смотрела, конечно, на кабину в миг, когда та проносилась мимо, но и так прекрасно знала, кто в ней находился: не одними же глазами видит человек — во всяком случае начиная с определенной ступени очеловеченности... Теперь идти дальше не было смысла, там Форама обошелся без нее, возникали совсем другие ситуации и комбинации. Но и здесь, в туннеле, ей делать было вовсе нечего: туннели время от времени просматриваются службой контроля, зачем привлекать к себе внимание? Туннель — не место для пешеходов... Мин Алика быстро зашагала назад, к тому месту, где движение было перекрыто и где она рассталась с кабинкой: пущенная ею по замкнутому кругу, кабинка должна была через несколько минут снова оказаться в том же месте, и можно будет снова сесть в нее и ехать дальше по делам, которых у Мин Алики еще оставалось великое множество.

\* \* \*

Люди пробирались по институтским подземельям, светя себе сильными фонарями и все же налетая на неожиданные углы и ребра вдруг неизвестно откуда взяв-

шихся глыб, обломков стен, провалившихся перекрытий с торчащими когтями арматуры, обрывками кабелей, кусками металла и пластика, еще недавно бывшими мебелью и оборудованием. Коридор этот был знаком Фораме давно, изучен вроде бы как свои пять пальцев, — сейчас сориентироваться здесь казалось невозможным, все было не так, ни одной привычной черты, линии, предмета; пройденное расстояние можно было учитывать лишь интуитивно, порой пять пройденных метров могли показаться пятьюдесятью, иногда же — наоборот. Все трое молчали, только изредка шедший впереди Фораме произносил: «Осторожно», или: «Внимание!», а если предупреждение запаздывало или не так воспринималось, сзади доносились одно-два слова, высказанных негромко, но экспрессивно, а еще чуть позже подобные же слова, точно эхо, возвращались, отраженные замыкавшей шествие четверкой. Чем дальше, тем идти становилось опаснее и страшнее, люди, видимо, приближались к месту взрыва, обломки в тысячи килограммов весом грозились один на другом, иногда, как безошибочно определял Фораме, в состоянии крайне неустойчивого равновесия; очень хотелось вернуться, но он сам заставлял себя идти вперед: в конце концов, сам он это придумал, и в придумке этой был немалый смысл. Остальные же понемногу отставали, потому что ситуация не казалась им такой, где уместно было бы жертвовать жизнью: то была бы не та жертва, за какие ставят памятник и навечно заносят, а просто придавило бы тебя глыбой, насадив на зубья арматуры, как маринованный грибок на вилку — вот и вся романтика... Наконец, Фораме определил, что где-то здесь и надо было начинать поиски нужных ему дверей; он остановился, обернулся и, осветив сопровождающих, проговорил негромко:

— Обождите немного, здесь опасно. Попробую обнюхаться...

Опасно, собственно, было и до этого, и раз уж он специально предупредил, значит, следовало ожидать чего-то особенного. Так оно и было: тут громадный кусок перекрытия, равный по площади целой комнате, лежал на ребре другой внушительной глыбы, словно доска примитивных качелей, и даже покачивался немного. Фораме направил на эту комбинацию луч фонаря, чтобы сопровождавшие, что стояли теперь компактной кучкой, убедились: предупреждал он не зря. Миновать



препятствие можно было, лишь проползая под ним, пробираться поверху казалось еще более рискованным: там, в проломе, собралось множество обломков поменьше — но каждого из них хватило бы, чтобы раздавить лошадь, — упиравшихся друг в друга, но так ненадежно, что похоже было: стоит хоть чуть-чуть нарушить равновесие качелей — и все хлынет вниз, давя всех и окончательно уже перекрывая проход. Фораме постоял, обдумывая; шестеро сопровождавших понемногу подступили вплотную и остановились за спиной, беспокойно дыша, один из них с хрипотцой пробормотал: «Гроб». Лезть Фораме очень не хотелось, но надо было. Он попросил остальных отойти подальше и опустился на колени. «Эй, — сказал старший, — ты это что?» «Я попробую, — ответил Фораме. — Все равно ведь мне пролезть надо, первым или не первым, а вот вам рисковать не обязательно». То ли это так уж убедительно звучало, то ли не очень хотелось им, людям вежливым, спорить с ученым — только возражений не последовало, шестеро медленно переглянулись, насколько позволял полумрак — и промолчали. «Если почувствуешь что не так — сразу вылезай назад», — сказал старший. «Ясно. А если пролезу — крикну, тогда и вы двинетесь по одному», — пообещал Фораме. «Кричи только потише», — посоветовал другой, проведя лучом фонаря по глыбам. «Ага», — согласился Фораме. На всякий случай вокруг пояса ему обвязали тонкий, прочный фал — оказался у них с собой, — хотя если бы Фораме там придавило, то вытянуть останки было бы, пожалуй, затруднительно... Фораме подождал, пока закрепили узел, лег на живот и пополз, освещая дорогу. О том, что воздвигалось над ним, он старался не думать, чувствовал только, что это и была одна из тех ситуаций, о каких предупреждал его Мастер — капитана Ульдемира предупреждал, разумеется. Всерьез он сейчас думал лишь о том, как провести вперед руку, как подтянуть ногу, как перенести тело еще на двадцать сантиметров вперед. Так он прополз метра три или чуть больше, но путь этот ему показался немногим короче, чем к центру планеты. В двух местах он едва не застрял, казалось, ни за что ему не пробраться, он и не представлял, что может оказаться таким плоским, а каждое прикосновение спиной к накрывавшей глыбе мгновенно вызывало произвольное ощущение громадного давления сверху — словно все

начинало сразу же оседать на него, и Форама разевал рот и беззвучно кричал от страха... Вдруг он даже не увидел, но всем телом почувствовал, что давить перестало; он поднял глаза — осторожно, как будто движение это могло вызвать обвал. Перекрытие наверху исчезло, кончилось. Форама направил луч фонаря вверх — над ним метрах почти в трех находился потолок, потрескавшийся, но целый, пол тут оказался почти без обломков. Дополз-таки.

На это и рассчитывал он с самого начала, зная, что и опоры, и перекрытия, и стены были здесь намного массивнее, чем во всем остальном здании, обладали многократным запасом прочности. Форама ведь работал в институте с самого начала и даже раньше — при нем здание достраивали и монтировали оборудование... Он стал водить лучом по завалу, видимому теперь с тыла. Отсюда сгрудившиеся обломки выглядели еще грознее. Форама осторожно, стараясь не дергать, захватил узел фала на спине, перевел его на живот, развязал, сделал широкую петлю, накинул на один из обломков. «Эй! — донеслось словно из дальнего далека. — Как ты там?» Форама склонился к щели, из которой только что вылез, и ему показалось невероятным, что можно было как-то проползти там и что он это сделал. Секунду-другую он колебался, потом сморщился, как от чего-то гадкого, тряхнул пальцами, словно смахивая с них что-то. «Сейчас! — крикнул он сдавленным голосом. — Тут такое место хитрое, сейчас попробую...» «Ты вылезай лучше назад, хрен с ним, — посоветовали с той стороны. — Не то, чего доброго, как таракана...» Форама знал, что увидеть оттуда ничего нельзя: лаз под нависавшей плитой не был прямым, приходилось лавировать между валявшимися обломками того, что стояло раньше на этом этаже и было раздроблено рухнувшей тяжестью. «Ладно, — крикнул он в ответ. — Сейчас попробую...» — и слова эти можно было понимать и толковать, как угодно, как понравится. И сразу же за этим, набрав воздуха побольше, он крикнул — пронзительно, отчаянно, безнадежно, бессмысленно: «А-а-а!...» — и умолк резко, словно перехватило горло. И одновременно сделал то, что успел уже придумать за эти секунды, исходя из увиденной обстановки: светя перед собой, коротко разбежался, взлетел в прыжке, — не зря в молодости он занимался спортом, играл в баскетбол

даже, — и всеми своими семьюдесятью пятью обрушился на край перекрытия-качели; ощутил, как бетон дрогнул и стал уходить из-под ног; чудом удалось Фораме удержать равновесие, он резко повернулся, взмахнул руками, — луч фонаря метнулся по потолку, — и прыгнул назад. Коснулся пола и побежал изо всех сил, спасаясь от настигавших его, глухо, уверенно грохотавших глыб и обломков, что, утратив равновесие, хлынули, как он и предполагал, сверху через пролом, большей частью не сюда, а в ту сторону. Не исключено, что те шестеро слышали крик — для полной убедительности это было бы неплохо, все вместе давало достоверную картину бесславной гибели проштрафившегося наивного ученого.

Теперь можно было постоять, переводя дыхание, унимая дрожь в теле и борясь с тошнотой, накатившей вдруг — от страха, наверное, от сознания, что и не так ведь могло получиться, совсем даже не так... Прохода больше не было, он оказался засыпанным наглухо, лишь мощными механизмами или взрывчаткой можно было бы разрушить или разобрать его, но Фораме полагал, что ради его бранных останков никто не станет сейчас заниматься этим — у всех были дела и поважнее. Эти шестеро вернутся и доложат, доложат четко и убедительно, — пережитый страх поможет им, — отрапортуют так, чтобы ясно было, что они сделали все, что могли, показали себя просто настоящими героями; ну а он, Фораме, был и вовсе герой, достойный памятника не меньше, чем те, кому погибнуть по диспозиции еще только предстояло, но был он немного не в себе, его удерживали, а он полез, ссылаясь на приказание начальства. Если и остались у шестерых сопровождавших какие-то сомнения, то они сохраняют их для личного пользования, не то их еще погонят назад — уточнять, убеждаться и даже пробиваться, а им это вовсе не с руки. Конечно, сейчас они для собственного спокойствия, для очистки совести, повозятся здесь, убедятся, что фал памертво зажат или может быть, пересечен обломком, а даже самую скромную глыбу им и вшестером сдвинуть не под силу; потом станут расспрашивать друг друга — кто что видел, что подумал и как считает; придут к единому мнению (как путаются в показаниях неопытные люди, им хорошо известно) — и, покричав на всякий случай, отбудут восвояси. Фораме вслушался,

и ему на самом деле показалось, что с той стороны завала доносятся крики, словно еще можно было надеяться на отклик. Ему стало уже немного жаль их: все же люди были и теперь, возможно, переживали за него, он ведь для них хотя и был чужаком, но лишь в той степени, в какой для них вообще были чужаками все, кто не относился к их службе, а так за ним ничего не значилось, и только он один знал, что сделал сейчас окончательный выбор между таким продолжением, какое диктовалось всей его досегоднешней биографией, и тем, что подсказывала и чего потребовала вдруг совесть и еще что-то другое, чему он сразу не смог найти названия. Да, они там кричали — или, может быть, это у него звенело в ушах? «Вечно залезаешь ты в какие-то дела, Ульдемир», — вдруг подумал неожиданно для самого себя мар Форам Ро, физик, и на мгновение словно увидел себя самого и все, его окружающее, как бы сверху, из какого-то иного измерения то ли пространственного, то ли временного (это и был миг, когда Мин Алика захотела увидеть его — и увидела, миг неосознанного контакта с нею); но промелькнула секунда — и все исчезло, и снова Форам Ро остался один в подвале погибшего института, в той его части, в которой должны были быть оборудованы убежища для персонала на случай чего-либо такого; до конца их, правда, так и не оборудовали — не успели как-то.

Теперь бо́льшая половина дела была сделана, оставалось лишь выбраться из института незаметно. В этой части корпуса ни наружных дверей, ни окон не было, подвал есть подвал, но ведь выход — это не обязательно дверь или окно: в подвале это прежде всего — путь вверх. А здесь были и вентиляционные шахты, и узкие винтовые лестницы, на всякий случай; основным средством сообщения между этажами были лифты, но сейчас на них рассчитывать не приходилось. Форам помнил, где располагалась ближайшая лестница и, подмигнув самому себе, как бы одобряя все, им так хорошо и хитро сделанное, пошел прочь от завала по пыльному, но свободному от обломков коридору, оставляя позади то место, где могла бы находиться в стене бронированная дверь сейфа с образцами сверхтяжелых элементов — могла бы, если бы такой сейф вообще существовал, но его никогда не было тут, как и самих этих элементов не было... Форам уходил, стараясь ступать негромко в

гулком коридоре; он хотел было запеть от прилива чувств, но тут же приложил палец к губам: никаких глупостей, никаких случайностей. Он погиб — и мир праху его. Воскреснет, когда придет срок.

По уцелевшей винтовой лесенке он поднялся повыше, на уровень первого надземного этажа. Отсюда он рассчитывал, воспользовавшись одним из зашифрованных запасных выходов, выбраться на улицу, укрыться где-то (он еще не знал — где, ясно было только, что не у себя и не у Мин Алики) и уж тогда спокойно и не торопясь обдумать план дальнейших действий, целью которых было, ни много ни мало, спасти Планету, и не только свою, но и ту, вражескую, впридачу — потому, что ведь в конце концов и там живет свое человечество, а человечества, как он теперь вдруг почему-то начал понимать, — человечества не бывают врагами друг друга; отдельные люди бывают, а человечества — нет, если даже они во многом отличаются одно от другого. Спасти две планеты; не много ли для одного человека? Да уж немало; это даже невозможно, как невозможно долей грамма гремучей ртути взорвать огромное сооружение или мощнейшее боевое устройство. Однако ведь именно столько гремучей ртути содержится в капсуле; она не взрывает, но ее дело — начать, подсказать плотной массе прессованной взрывчатки вокруг: «Взрывайся, ты — можешь, только делай, как я», — и загремит все. Что надо сделать — он уже понял, не знал только — как. Но это придумается; он был уверен, что придумается, недаром всю жизнь делал то, что заранее спланировать до конца было невозможно, однако интуиция подсказывала ему, что сделать — можно, надо только посерьезнее подумать и поискать. Итак, сейчас главным был запасной выход. Форама отыскал один из них без труда, однако воспользоваться не удалось. Видимо, шестеро сопровождавших не до конца поверили в его гибель в подземелье, а может быть, и поверили, но обязаны были подстраховаться, пока не разгребут обломки и не соскребут с них то, что должно было от Форамы остаться; а еще вернее — услышав от него же, что в институте еще сохранились какие-то нужные вещества, начальство позаботилось об охране и, следовательно, Форама сам себе осложнил задачу. Так или иначе, добравшись до выхода, прежде чем задать шифр и отворить дверцу (механизм ее был примитивен, и

Форама надеялся, что сотрясение от взрыва не вывело дверь из строя), он — просто так, на всякий случай — нагнулся и глянул в поляризованный глазок: в свое время кому-то, к счастью, пришла в голову мысль оснастить двери такими глазками. И Форама увидел, что оцепление, с самого утра выставленное вокруг бывшего института, не только не было снято (на что он почему-то рассчитывал), но сделалось гуще, и кроме солдат здесь появились и офицеры, а помимо стратегов оказались в немалом количестве и полиция, и даже вещие; они не стояли на постах, но находились в постоянном движении. Выйти сейчас означало бы — разом перечеркнуть все, что уже удалось, и Форама стал пятиться от двери, словно бы и с той стороны могли вдруг увидеть его; потом он крадучись спустился туда, откуда только что пришел. И, уже спускаясь, услышал шум. Форама постоял возле лестницы, прислушиваясь; шум доносился со стороны завала, и нельзя было ошибиться в его происхождении: это были микровзрывы, сквозь завал хотели пробиться. «Дался я им», — с досадой подумал Форама, и тут же понял: не его останки искали, но хотели пробиться к придуманному им сейфу с элементами, вот что, и тут уж они не отступятся... Поняв это, Форама ощутил вдруг неожиданную и предельную слабость и опустился прямо на пыльный бетонный пол, съехав спиной по такой же пыльной стене. Вроchem, это для него роли не играло: ползя под обломками, он и так уже превратил свою одежду в грязные лохмотья, и лишь сейчас с каким-то отвлеченным интересом подумал: как же это он рассчитывал показаться в таком виде на людях и не привлечь ничьего внимания?

Он просидел так несколько минут, пытаясь собраться с мыслями; интуитивно он чувствовал, что лазейка есть, должна существовать, не могло в таком большом хозяйстве, как институт, не остаться ни одной не заткнутой дыры, когда все полетело кверху ногами. И когда он уже нашел и отбросил несколько комбинаций, вдруг пришла ясная и сама собой, казалось, напрашивавшаяся с самого начала мысль: гараж! Институтский подземный гараж, связанный с убежищем отдельным переходом, гараж, в котором стояли кабинки всех институтских работников, имевших право на личные кабины, а Форама принадлежал к ним, как-никак, не последним человеком в институте был Форама, отнюдь. Подумав, он

понял, почему не наткнулся на мысль о гараже сразу: институт был разрушен, и все его службы как-то сразу перешли в сознании Форамы в категорию вышедших из строя; но гараж-то находился на одном уровне с убежищами, и вполне мог сохраниться!

Так оно и оказалось; и кабинки находились в готовности — и его личная в том числе. Он сел в нее и привел в движение; он боялся, что не сработают устройства, открывавшие выезд, могла оказаться обесточенной и тяговая сеть. Однако все сработало: тяговую сеть питал энергией город, а не институт, а кроме того, тут были и резервные кабели: вся эта система и была задумана на случай катастрофы, той, которую ждали так долго, что в конце концов перестали ждать, а она нагрянула с другой стороны.

Потребовав от кабины предельной скорости, чтобы как можно быстрее отдалиться от института, Форам даже не заметил прижавшейся к стене туннеля фигурки — женщины с закрытыми глазами. Он погрузился в мысли о том, что предстояло ему сделать теперь; ему начала представляться (не в полном еще объеме, но хотя бы в первом приближении) вся трудность того, на что он обрек себя, и он откровенно пожалел (и зябко ему стало от этой жалости), что пошел на эту авантюру, тем самым враз порвав все связи с нормальной, удобной, вполне обеспеченной, не лишенной перспектив и приносившей достаточное удовлетворение жизнью, — и в то же время понимая, что не в силах был поступить иначе, просто не в силах. Хотя откуда вдруг взялось в нем такое, он не мог бы объяснить. Еще вчера он был готов, вероятно, махнуть на все рукой, да что вчера — еще сегодня, сидя под замком у философствующего надзирателя: а пусть делают как хотят, я за это никакой ответственности не несу, со мной по таким вопросам не советуются, мое дело — наука, это я люблю, в этом разбираюсь, а что из этого получается в конечном итоге — это уже вне моей компетенции, и, слава богу, на кой ляд мне лишняя ответственность?.. Так рассуждал он; однако что-то в нем сдвинулось. Может быть, из-за того, что он стал участником высокого совещания? Пусть с ним там никто не советовался, он был лишь поставщиком определенной информации — и все же ему показалось, что коль скоро он в этом действе участвует, то какая-то тень от-

ветственности падает и на него, а раз так, и раз то, что собираются принимать, ему не нравится, то он просто обязан высказать хотя бы свое несогласие (если большего не может) и тем самым выполнить свой долг гражданина. Древними временами веяло от таких мыслей, но не все древнее ведь устарело, и не все новое лучше того, что было прежде нас... Форама высказал свое мнение и мог бы, кажется, на этом успокоиться; за одно это еще не убили бы, ну — выругали разве что. Однако Форама, видите ли, считал, что за ним стоит истина, ни более ни менее; а у истины есть некое качество, без которого и самой истины не бывает: она вселяется в человека, как микроб, и заражает его, и он уже себе не хозяин и ничего не может с собой поделаться, и когда надо молчать — он говорит, и надо бездействовать — а он действует, он поднимается на гору в грозу — и молнии неизбежно бьют в него, и самое смешное, что он это знает заранее — и ничего не может, потому что истина сильнее его. Вот и Фораме почудилось, что в данном конкретном вопросе конкретная истина — у него, а не у них, и когда он сказал, а с ним не согласились, он как-то не раздумывая ощутил, что надо действовать, потому что от слов отмахнуться легче, чем от действий.

Форама отчетливо понимал сейчас одно: фантастическая по масштабам и вместе реальная по сущности своей опасность угрожала не только всей планете (это было достаточно отвлеченным понятием, человеку трудно мыслить такими категориями, а абстрактные понятия приводят лишь к абстрактным решениям), но и лично ему; и это бы еще полбеда, потому что Форама издавна привык к мысли, что при всех своих способностях (цену которым он знал) он не вправе претендовать на что-то больше того, на что может рассчитывать каждый; следовательно, и с общей гибелью он примирился бы. Но оказалось вдруг, что в той же степени опасность грозила и Мин Алике — женщине, рядом с которой и через которую он только что постиг вдруг, что любовь есть понятие не абстрактно-обобщенное, но реальное, осязаемое, зримое, что она — не приправа к обычной жизни, но сама — иная жизнь, иной мир, столь же реальный, как тот, в котором Форама жил до сих пор, но совершенно на него непохожий — как одно и то же место кажется совершенно иным в нудный осенний водосей и весенним днем веселого солнца и бескрайнего неба.



И, попав в этот мир, Форам не хотел больше отдавать его никому и ни за что, и мысль о том, что самому великому чуду мира, центру притяжения и жизни в нем — Мин Алике грозит опасность исчезнуть в ревущем смерче ядерного распада, — эта мысль заставила его вынести всю предшествовавшую жизнь за скобки, отказать от всего, что было или казалось в ней ценным, поставить себя вне права и закона и сейчас мчаться в кабинке подземного уровня — мчаться неизвестно куда.

Впрочем, в самом скором времени, успокоенный движением, Форам смог подумать и о смысле и цели своего маршрута. Но тут странное явление возникло: он, Форам, вдруг словно бы разделился на двух разных человек, из которых один — и был собственно он, мар Форам Ро, ученый физик; другой же был — тоже он, но почему-то не Форам, и не физик даже, а какой-то капитан Ульдемир, неизвестно откуда взявшийся — и, однако, не чужой, а тоже тот же самый человек, но с другим опытом, другими знаниями и суждениями. Сначала Форам испугался было, что сходит с ума; но, не зная, как убедиться в этом — или в обратном, предпочел считать, что все в порядке, хотя и не так, как обычно. И вот они заговорили, заспорили, эти два человека, и стали вместе разрабатывать диспозицию на дальнейшее.

— К политике нас тут не очень подпускают, верно, — сказал капитан Ульдемир. — Однако что-нибудь мы да сообразим. Что — или кого — можно противопоставить Высшему Кругу? Армию?

— Нет, — ответил Форам. — Главные из стратегов сами принадлежат к Высшему Кругу. Власть и так у них — пусть не вся, но немалая часть ее. А остального они и не хотят: слишком много иных проблем, решать которые они не привыкли.

— Вывеска, значит, их не влечет. Какие еще силы есть в государстве?

— На Планете, ты имеешь в виду? Ну, собственно... Избиратели, народ.

— Народ, — сказал Ульдемир без должного почтения в голосе. — А на что он способен?

— Как это — на что? Миллиарды людей...

— Живой вес — не самое главное. Организации есть?

— Организации? Конечно, сколько угодно. Профессиональные, например. Вроде клубов: можно прийти, поболтать с коллегами, немного развлечься...

— Только-то?

— А чего еще?

— Ну, скажем, борьба за лучший уровень жизни.

— Разве наш уровень плох? По-моему, у нас все разумно. Каждый знает свое место, свой уровень. И все, что полагается ему в силу этого уровня, он получает. Чего же лучше? За всю историю планеты людям никогда не было так хорошо и спокойно.

— Слабовато у вас с равенством.

— Ты ошибаешься. Равенство, как мы его понимаем, заключается в том, что все люди одного уровня, независимо от профессии, получают одно и то же. Вот если бы, скажем, стратег или ученый шестого уровня получал больше художника или инженера шестого уровня, это было бы неравенство. А так — все в порядке.

— И это, ты считаешь, равенство? Слушай, а там, у Врагов, — как у них устроено?

— Да точно так же, говорят. Те же двенадцать уровней...

— Из-за чего же вражда? Что не поделили?

— Ну, это было когда-то страшно давно... Не помню точно, я ведь не историк. Суть в том, что они не признают нашего главенства. Хотя наше общество возникло раньше. Они, наоборот, считают, что мы должны признать их главенство. Потому что, возникнув позже, они развивались быстрее, что ли... Не знаю, одним словом. Да и какая разница? Враги есть враги.

— Ну ладно, это другой разговор. Значит, организаций у вас нет.

— Ничего подобного: много. Спортивные клубы, университетские, общества коллекционеров, рыболовов...

— Это все не то. Могут клубы выступить против Круга?

— Ну что ты. Кто им позволит?

— А без позволения?

— Нет, конечно. Это не разрешается.

— Опять двадцать пять. А без разрешения?

— Ну... так не поступают. Это было бы неприлично. И незаконно.

— Вот. А ты говоришь, народ — сила.

— Ну, сейчас — другое дело. Речь идет о жизни и смерти. О самом существовании людей. Я думаю, тут не надо никакой организации, чтобы люди высказали свое мнение.

— А как они узнают, что их жизнь под угрозой?

— Я скажу им.

— Встанешь посреди улицы и закричишь?

— Глупо, конечно.

— Обзаведешься собственной радиостанцией?

— Это мне не по средствам. Да и времени нет. Что-то надо предпринять уже в ближайшие часы.

— Что же именно? Думай, ученый, думай!

— Может быть, обратиться на радиостанцию, которая ведет ежедневные передачи?

— А они тебе поверят? Ты бы поверил, если бы...

— Не знаю. Пожалуй, вряд ли. Вот если бы я знал человека лично, как серьезного и эрудированного специалиста — не исключено, что и поверил бы.

— Значит, нужен человек, который знает тебя именно с такой стороны. Есть такой?

— Постой, постой... А знаешь, пожалуй, есть.

— На радио?

— Нет. Но почти то же самое. Он журналист. Известный. Такой, который пишет порой очень резкие статьи. Мы все читаем их с удовольствием. Даже удивляемся нередко, как терпят его в Высшем Кругу. Но что они могут с ним поделать? Он свободный журналист и говорит то, что считает нужным.

— И его печатают?

— Разумеется. Он привлекает читателей.

— Ну что же, — сказал капитан Ульдемир. — Откровенно говоря, не очень-то я верю в могущество печати. Но — попробуй. Лучше, чем ничего.

— Пожалуй, сейчас же направимся прямо к нему.

— Откуда ты знаешь его? Или он тебя?

— Он писал о нашем институте. И обо мне там было немного. Он прекрасный человек. С характером. Смелый. Словом — то, что нужно.

— Тогда поехали.

На этом кончился неслышный разговор Форамы с Ульдемиром, человека с самим собой, с другой своей ипостасью. Ничего удивительного в этом и на самом деле нет, некоторое раздвоение личности; пожалуй, его

можно квалифицировать, как легкое психическое заболевание. Форам сразу почувствовал себя значительно бодрее, подтянулся, напрягся — ну что же, есть, значит, какие-то возможности, еще посмотрим, кто кого, мы еще спасем старую добрую планету, мы еще проживем на ней, проживем без огоньков над головой, без страхов, честно и открыто... Почти не глядя на маршрутный план, твердо и уверенно нажимая клавиши, Форам Ро направил кабину по нужному пути.

\* \* \*

Кто его знает, по каким признакам присваивался уровень журналистам, да и не всегда можно было, разговаривая с кем-либо из них, понять, на какой ступени находится собеседник: знаков различия они предпочитали не носить, чтобы, может быть, не смущать тех, с кем беседовали, а возможно — чтобы еще раз подчеркнуть независимость своей корпорации и самой профессии от тех, кто устанавливал и присваивал уровни и степени, показать, что сами-то они, журналисты, всего этого и в грош не ставят, и если не говорят об этом вслух, то единственно из вежливости, а на самом деле у них свой подход и свои способы оценки и самих себя, и всех прочих людей — способы, имеющие с официальными мало общего. Так было принято считать в обществе; и все же когда Форам, доехав до нужной остановки, собрался подняться на поверхность, его охватили вдруг сомнения: а так ли встретит и примет его журналист, как Фораме представлялось? Правильно ли поймет и захочет ли ввязываться в важнейшее, безусловно, но очень хлопотное и вообще какое-то не такое дело? Форам весьма критически оглядел себя; выглядел он, действительно, как бродяга древних эпох, никакого доверия его облик внушить не мог, а если прибавить сюда то, что он собирался журналисту сказать, то и подавно могло возникнуть представление, что Форам просто-напросто сбежал из сумасшедшего дома, и единственное, чем можно ему помочь — это как можно скорее водворить его туда. Продолжая колебаться, Форам попытался хоть как-то облагородить свою внешность: снял вконец изодранную куртку, вывернул ее подкладкой наружу и перебросил через руку (погода позволяла явиться в таком виде), кое-как сбил густую подваль-

ную пыль с брюк, о пятнах же на некогда белой рубашке и вообще предпочел забыть, поскольку поделаться с ними ничего нельзя было. Да и в конце концов (пришло ему в голову) журналист не мог не знать о приключившейся в институте беде, он же писал об институте, а внутренняя информация у этих людей, надо полагать, поставлена отлично — так что потрепанный вид физика должен был, пожалуй, не только не поколебать веру в справедливость его рассказа, но напротив — укрепить ее. Решив так, Форама с минуту помедлил еще в кабинке, решая — то ли отправить ее назад, в гараж, то ли задержать: она могла еще понадобиться. Он решил, что лучше ее все-таки отправить: до институтского гаража вскорости доберутся, и если обнаружат, что его кабинки нет, то поймут, что вовсе он не погиб, а сбежал именно таким путем, а когда кабинку найдут здесь (что будет нетрудно), то поймут, где следует разыскивать и самого Фораму — и разыщут, конечно. Форама предполагал, что журналист, выслушав его и пожелав включиться в кампанию по спасению Планеты (а какой журналист, по разумению Форамы, не захотел бы не только присутствовать при зарождении подобного движения, но и непременно участвовать в нем), предложит Фораме убежище у себя и превратит свое обиталище в нечто вроде центра, как бы штаба нового всепланетного движения. Выглядело все это в фантазии Форамы достаточно приятно и многообещающе, и, подогревая себя такими вот размышлениями, он решительно поднялся наверх, дошагал, не обращая внимания на косые взгляды прохожих (немногочисленных, правда), до нужного подъезда и, не воспользовавшись лифтом, стал подниматься на нужный ярус по лестнице.

Вот тут его снова стали одолевать мысли относительно уровня, к какому мог принадлежать его предполагаемый соратник. Потому что Форама, не придавая главенствующего значения материальным и прочим признакам, присущим различным рангам, все же весьма неплохо в них разбирался. И уже в подъезде, мысленно даже сравнив не с тем домом, где жила Мин Алика и где ютились люди не выше восьмого уровня, но и со своим, где обитали седьмые — пятые, понял, что сейчас он попал в такое место, где даже и с человеком четвертого разряда никто, пожалуй, не станет здороваться

первым. Уже чистота и богатая отделка стен и потолка, уже ворсистая дорожка на полу, начиная от самой двери, наводили на такие мысли; когда же, сделав два шага по направлению к лестнице, он был остановлен вспыхнувшим вдруг красным огоньком и услышал выходявший из узкой щели в стене на уровне его головы голос: «Назовите го-мара, к которому вы, го-мар, направляетесь», — Форама окончательно понял, что живущие здесь — не ему чета, и даже усомнился в том — имеет ли его предприятие смысл. Однако не отступать же было теперь, да и куда отступать? Некуда... Что-то (интуиция, наверное) побудило его ответить на заданный вопрос так: «Мастер по электронике». Голос несколько минут помолчал, словно бы автомат соображал, потом последовало указание: «Ваша лестница крайняя слева, ваш лифт с обратного подъезда». «Ладно, чего там лифт», — подумал Форама и послушно направился к крайней лестнице, не столь широкой, как две остальные, и где вместо позолоты и мрамора наружу выступал самый натуральный бетон, хотя, надо сказать, и гладко затертый.

Таким способом добрался он до нужного этажа (координаты журналиста прочно хранились в его памяти, цепкой и надежной, с той самой единственной, но продолжительной и достаточно приятной встречи). Двустворчатые, массивные на вид двери выходили на площадку; Форама остановился перед искомой, зная, что если он останется на месте больше пяти секунд, сработает дверное устройство, и о его приходе будет оповещен хозяин дома. Однако пришлось постоять не две секунды и не пять, а куда больше: журналист не спешил открывать. Может быть, его вообще не было дома? «Скорее всего так, — пришло на ум Форама, — если человек не находится на регулярной службе, это вовсе не значит, что он в рабочие часы обязан торчать дома: не обязательно же он сидит и пишет что-то, может быть, журналист как раз занимается сейчас подготовительным циклом к очередной своей работе — сбором материала, или как это у них называется...» Прошло более трех минут, и Форама уже собрался написать отсутствующему хозяину краткую записку, попросить его быть дома хотя бы вечером, — но спохватился, что писать ему нечем, да и не на чем: все лишнее из карманов он, по привычке, перед сном вынул, а утром, внезапно

разбуженный, забыл взять с собой, и все так и осталось лежать на туалетной полочке Мин Алики, захватить же с собой что-нибудь из помещения, где они с Цоцонго размышляли сегодня, или с совещания — просто не догадался... И когда он успел по-настоящему огорчиться собственной непредусмотрительности, изнутри, несколько измененный динамиком, раздался голос: «Да входите же, черт бы вас взял... Толкните дверь плечом, у меня замок скис, и топайте ко мне, вторая дверь налево или, может, третья — не помню...» Было все это не очень понятно, однако Форама обрадовался и такому признаку жизни, послушно налег на дверь, проник таким способом в прихожую, на миг даже остановился, чтобы полюбоваться, — богатая была прихожая, ничего не скажешь, — потом прошел дальше по коридору, одну дверь пропустил, вторую отворил; на широченном, поперек себя шире, диване валялись скомканные простыни, подушка торчала углом в отдалении, на полу, словно макет вершины, покрытой вечными снегами — слегка, впрочем, потемневшими. Ни одной живой души в комнате не было, хотя Форама на всякий случай заглянул даже и под диван и обнаружил там грязный треснувший стакан, ничего иного. Он вышел из комнаты почему-то на цыпочках, приблизился к очередной двери, отворил ее. Тут было больше порядка: стояли кресла, столик, у стены мерцал включенный большой дорогой синтезатор (не имевший, невзирая на название, никакого отношения ни к физике, ни к химии: у журналистов так называлось устройство, давно уже заменившее в работе и стол, и машинку, и бумагу, и все прочее старье). На экране синтезатора почти ничего не было — только в середине виднелись какие-то два слова, — судя по тому, что располагались они на разных строчках, принадлежали эти слова совсем различным предложениям: «Наша» было одно слово, второе, пониже и правее — «вопреки». Когда глаза чуть привыкли, Форама заметил, тоже в разных местах, еще два слова, стертых, но неудачно, так что они еще светились, хотя и слабо: «довлеет» и «высветило». Синтезатор был, видимо, слегка расстроен. Еще были в комнате шкафчики — картотека, определил Форама, и кристаллотека; стоял информатор; в углу находился выход городской почты, выход белого цвета; под ним валялось с полдюжины почтовых капсул, никем не рас-

крытых и не прочитанных; дешифратор на столике по соседству опрокинулся набок, шнур его, закрученный узлами, был выдернут из розетки. Кабинет; хозяина, однако, не оказалось и тут. Пожав плечами, Форам вышел в коридор, постоял, позвал негромко: «Го-мар, вы где?» Молчание было ответом, но, прислушавшись, Форам уловил отдаленный звук воды, хлещущей из крана, и пошел, ориентируясь на звук. Шум усиливался. Источник его находился за широкой, толстой пластиной матового стекла, заменявшей дверь. Форам осторожно приотворил. В небольшом бассейне, вода из которого уже переливалась через край, храпел журналист — голый, большой, рыхлый; мокрые, длинные седые волосы падали на лицо, подбородок его упирался в грудь, затылок неудобно лежал на верхней грани бассейна и, наверное, от этого неудобства губы спящего были трагически изогнуты, в них была жалоба и просьба о помощи. Немного подумав, Форам сходил в спальню, взял подушку, принес в ванную и попытался, пренебрегая водой, подsunуть ее журналисту под голову. Тот на миг приоткрыл один глаз — тусклый, страдальческий. «Брось к бабушке, — прохрипел он. — Иначе я вообще до послезавтра не очнусь». После паузы журналист продолжил: «Ничего, я скоро. Иди, пока посиди там, чего-нибудь выпей. Через сорок минут принесешь мне стакан и два кубика льда». «Ага», — согласился Форам не совсем уверенно. «Извини», — бормотнул хозяин дома и уснул опять.

Эти сорок минут Форам провел в первой комнате — там был бар. Пить Форам не стал, не до того было, хотя сейчас — он чувствовал — и не помешало бы; он решил наверстать упущенное после разговора, а пока послушал музыку, у журналиста были прекрасные альбомы, а звукотехника, как прикинул физик, на уровне второй ступени, никак не ниже. Точно через сорок минут он налил стакан, взял лед и вернулся в ванную. Журналист уже шарил рукой по краю бассейна, не открывая еще, впрочем, глаз. Форам вложил стакан в дрожащие пальцы. Через мгновение журналист сказал: «Ухх!» — со свистом втянул воздух ноздрями и раскрыл глаза. Несколько секунд бессмысленно смотрел на Фораму, потом глаза ожили. «Узнал тебя, — сообщил он. — Физика. Институт». Память у него тоже была профессиональная. «А я думал, что ты — баба, — сказал он



затем и расхохотался. — Вот был бы номер, если бы я тогда мог двигаться, а?» Он смеялся еще минуту, не меньше; потом спросил: «А баба где?» Фораме пожал плечами: «Не знаю». — «Слиняла, стерва. Ты хоть ею воспользовался?» — «Ее тут не было». — «Жаль, я с ней рассчитался авансом, вот она и слиняла. Ладно, прах ее поberi». Расплескивая воду, он выбрался из бассейна, закрутил кран, сорвал с вешалки купальную простыню, завернулся в нее. «Ты не думай, я не того. Просто у меня сейчас материал такой: собираюсь писать о Шанельном рынке. А оттуда только на бровях и можно вернуться, такое это место. Бывал там?» «Нет, — ответил Фораме, — не случилось». «Много потерял. Конечно, и помимо рынка бывает... Для нервов это необходимо, — добавил журналист. — Ты по делу или просто так, на огонек?» — «По делу». — «Интересное?» — «Расскажу, суди сам». — «Ай-о. Годится. Сейчас я еще нормочку приму, чтобы раскрутить восприятие, надену портов каких-нибудь... Ты давай дуй, возьми банку из бара, стаканы, лед. Закусываешь?» Фораме пожал плечами. «Ну, чего-нибудь разыщем, а нет, сойдет и так, закусывать вообще вредно, мне врачи говорили. Давай, я через пять минут».

Через пять минут он и на самом деле оказался в кабинете — успел одеться по-домашнему, причесать волосы, после второго стакана пальцы перестали дрожать. Он уселся в кресло напротив Форамы, налил обоем, но сразу пить не стал, только посмотрел на свет, понюхал и опустил руку со стаканом. «Давай, — кивнул он, — излагай. Я тебя внимательно слушаю».

Фораме рассказывал с полчаса. Журналист слушал, временами понемногу отпивал из стакана, лицо его оставалось неподвижным, глаза прятались под массивными веками. Когда Фораме закончил, журналист с минуту помолчал, громко сопя носом, вертя пустой уже стакан в пальцах. «Ты это всерьез? — спросил он Фораму, внимательно оглядел его и сам себе ответил: — Всерьез, понятно. Значит, по-твоему, если не принять срочных мер, все это (он широко повел рукой) в скором времени хлопнет?» «Девяносто пять из ста», — ответил Фораме, так и не притронувшийся к стакану. «Тогда выпей, — посоветовал журналист, — терять все равно нечего. Ну, наконец-то, значит». Фораме не понял: «Что — наконец?» — «Наконец кончится лавочка. Давно

пора». — «Ты о чем?» — «Да вот обо всем этом. — И журналист снова повел рукой. — Сподоблюсь, значит, увидеть. Не зря, выходит, жил». Форама все никак не мог уразуметь. «Погоди, — сказал он. — Ты скажи толком: можешь ты помочь? Написать? Все равно куда, газета, радио — что угодно, — но надо, чтобы люди узнали, чтобы заявили, что нельзя так, что надо спасти цивилизацию, спасти человечество!» «Да кому это сдалось — спасти его, — ответил журналист, — дерьмо этакое, еще спасти его, наоборот, каленым железом, или что там у тебя будет рваться, все равно что, лишь бы посильнее!» Он налил себе. «А помочь тебе я не смогу, старик, если даже очень захочу. Я и не захочу, но пусть даже захотел бы. Ну подумай сам, подумай строго, ты же ученый, аналитик: как, чем мог бы я тебе помочь?» «Написать! — сказал Форама громко, четко. — Твое имя знают, тебя читают, народ тебя любит. Всем известно, что ты — независимый, никому не кланяешься, пишешь о том, чего другие боятся, они от таких тем шарахаются, а ты — нет». «Дурак ты, — сказал журналист уверенно, — дурак, а еще ученый, а еще физик! Они шарахаются, да. А я — нет, верно. А почему, ты подумал? Почему они боятся, а я — нет?» — «Вот как раз потому, что ты — смелый и независимый». «Господи, — сказал журналист жалобно, — ну что за детский сад, нет, правда, огнем, огнем все это, только так, оглупело человечество до невозможности, а я-то думал, что ты серьезный мужик...» «Давай толком, так я не понимаю», — попросил Форама. Журналист отхлебнул, вытер губы. «Да потому я об этом пишу, — сказал он раздельно и неторопливо, — что мне разрешено, понял, дубина? Разрешено! А им — нет. А мне не только разрешено, но даже и приказано. Каждый раз. Каждая тема мне дана. Ты что думаешь, я сам? Нет, ну, право, дурак дураком. Вон, — он ткнул пальцем, — почта валяется. Я ее не смотрел. Думаешь, не знаю, что там? Знаю, даже не глядя. Темы. Разрешенные, рекомендуемые темы. Острые. Злободневные. Все, как надо. Их умные люди выбирали и формулировали, будь спокоен. И прислали мне. И я на эти темы должен писать. И буду. Буду, пока эти твои элементы не взорвутся к той матери и ее бабушкам, вместе с нами, со мной, с теми, с теми, кто их выбирает. Теперь уяснил? Мне раз-ре-ше-но!» «Да смысл какой? — спросил Форама. —

Не понимаю. Кто бы ни дал эту тему — тема ведь правильная! Нужная! Ты пишешь. Тебя читают. И прекрасно! Так и должно быть!» «Ребенок ты, — сказал журналист; он уже приближался к эйфористической стадии похмелья, хотелось говорить, и он говорил, впервые за, может быть, долгое время не стесняя себя, не боясь, не думая о последствиях, потому что поверил: конец всему, а значит — и страхам конец... — Ребенок! Люди-то ведь не слепые? Нет. Видят кое-что из того, что происходит? Видят. Можно об этом молчать? Нельзя. Потому что если существует факт, — а он существует, — то нужно прежде всего перехватывать инициативу в истолковании этого факта. Сам факт — мелочь, дерьмо. Главное — как его истолковать. У вас что, в физике, иначе? Да нет — и вы ведь спорите насчет интерпретации известных фактов. Ну и тут то же. Ну вот тебе простейший случай. Идешь ты по улице и видишь на другой ее стороне двоих, что идут навстречу друг другу. Идут. Поравнялись. Один развернулся и дал другому в морду. И пошел своей дорогой. И тот, кому дали, тоже пошел дальше по своим делам. Вот тебе факт. Что он значит? Да ничего. Потому что нет его интерпретации, истолкования. И вот толкования начинают возникать. Одно: полиция не справляется с хулиганами. Пьяный хулиган повстречался с мирным прохожим и, рассчитывая на безнаказанность, дал тому в морду. Тот и вправду побоялся ответить и почел за благо поскорее удалиться, пока не добавили. А вот другая интерпретация. Идет по улице подонок. Навстречу — порядочный человек, у которого этот подонок два дня назад, допустим, соблазнил малолетнюю дочку или изнасиловал юную сестричку или просто соседку. И сделал это так, что суду не докажешь. И вот, встретив подонка, оскорбленный дает ему в морду. И тот терпит, и благодарен, что так обошлось: могли бы ведь и убить в гневе. Факт остался? Да. Смысл изменился? Кардинально. А можно дать и третью интерпретацию: шел по улице сбежавший из клиники буйнопомешанный, дал ни за что в морду прохожему, а потерпевший не ответил потому, что он — не больной, а нормальный человек и, как нормальный и порядочный человек, не признает подобных способов решать вопросы. Мало того: он по глазам того понял, что хулиган — больной и надо побыстрее позвонить в клинику, его нагонят и вернут. Пер-

вая интерпретация говорят о том, что плохо работает служба порядка. Это нехорошо. Вторая — о падении нравов. И это не лучше. Наконец, третья — о случайном происшествии, о несчастном случае, в котором не государственная служба виновата и не отсутствие нравственных критериев в системе вообще, а виноват сторож или санитар в клинике, которые позволили больному сбежать. Дать им по шее, главного врача выругать, чтобы лучше следил за несением службы — а в остальном все прекрасно, и люди прекрасные, и все бытие. Вот и факт исчерпан, никаких обобщений, никаких выводов, мелочи жизни. Понял? Так вот, вы читаете, вы ахаете — остро, как же остро пишет Маффула Ас, ничего-то он не боится, ничего с ним не могут поделать, ах, какая свободная на Планете печать, какая независимая вся информация... Читаете — и не соображаете, что Маффула Ас пишет об этом и разрешено ему писать об этом потому, что фактик-то он распишет — лучше не надо, я ведь человек способный — был, во всяком случае, — и вас это описание факта затягивает, и вы ахаете. И пропускаете мимо глаз, что когда доходит дело до интерпретации, Маффула выберет именно ту, которая не дает поводов для обобщений, которая низводит все к частному случаю, недосмотру, недогляду, ошибке — хотя на самом деле я понимаю отлично, что от истины мое истолкование, может быть, дальше всех прочих... Зато я вам этих санитаров так изображу, что вы в них увидите государственных преступников, вы сами заорете: «Распять их!», ну, на худой конец, распнут — станет одним сторожем или санитаром меньше, зато вы-то успокоитесь, вам-то толковать больше не о чем: случилось, конечно, нечто неприятное, но все своевременно увидено, осуждено, гласно, публично, демократично... Мальчик ты, физик, мальчик. А если я напишу не так, как надо; — что думаешь, меня напечатают? У меня что, газета своя? Да кто мне ее даст! Мне жить дают, это верно, уровень у меня высокий. Сам видишь. У тебя фиг такое есть, да теперь и не будет уже, наверное... Остро, без оглядки, мы писали, когда начинали только, было нас трое; нас заметили и стали с нами работать. Выделять, похваливать, приплачивать, разговаривать... Меня обработали. И вот — я известен, мои статьи «Унифинформ» разгоняет по всей Планете, сотни газет их публикуют, я живу прекрасно, пью — сколько душа пожелает, и

бабы многие считают за честь... А где те двое ребят, что не обработались? Не знаешь? И я не знаю. Может, когда-нибудь и столкнет судьба... где-нибудь на Шанельном рынке... если доживем... не в газете, нет... на Шанельке, у прилавка. Вот туда ты и дуй. Найди их, если повезет... Может, что посоветуют...» — Маффула Ас ословел уже, на старые дрожжи ему немного надо было, соф снова неодолимо наваливался на него, тяжелые веки опускались сами, неподвижность сковала, и лишь рука еще шарилась по столу, нащупывая бутылку с остатками на доньшке, однако Форам знал, что то была не последняя в доме бутылка. Он отодвинул кресло, встал. Тут делать было больше нечего, надежды не осталось. Он шагнул к двери. Журналист Маффула Ас вдруг открыл глаза. «Погоди, — пробормотал он. — Постой... Что-то я хотел... Да. Ты правда иди на Шанельку. Я вот нынче оттуда. Упился, правда... Если есть свободная информация, то она — там. Это я всерьез, не спяну... Иди. Там тебя и не найдут, кстати... Не бойся, я не заложу, мне они вообще хрен что сделают — пока я пишу... Деньги есть? На Шанельке без денег нельзя, только не показывай все разом, доставай по одной и первым не вынимай, вытаскивай с неохотой, не то решат — чужак, хотя вид у тебя как раз подходящий... Нет денег? — Он приподнялся, сунул руку в задний карман, вынул пачку. — На. Не дури. Я не тебе. На дело... И пусть все гремит поскорее в тартарары... — У него уже спуталось, наверное, чего же хотел добиться физик: то ли отвлечь взрыв, то ли наоборот, его приблизить. — Заглядывай в случае чего...» — еще выговорил журналист и захрапел, теперь уже окончательно.

## Глава шестая

Когда Мин Алика в туннеле, закрыв глаза, пропустила мимо кабину, уносившую вырвавшегося Форуму дальше от института, Алике было ясно, что следует предпринять дальше. Надо было, не выпуская Форуму из поля своего внутреннего зрения, подготовить хорошее

укрытие, оборудовать его всеми средствами связи — не на нынешнем уровне этой планеты, а на том, какой был доступен самой Алике, то есть на порядок выше, — чтобы дать Фораме все нужные возможности, в том числе и возможность, если другого выхода не будет, громко обратиться ко всем людям, ворвавшись вдруг во все телевизионные и радиоканалы, да так, что никто не мог бы отключить его, — ворваться и дать людям нужную информацию, и указать путь к достижению безопасности, к избавлению от страха. Был такой способ на крайний случай, потому что выглядел он каким-то несерьезным, при желании можно было выдать его за хулиганство в эфире, — однако и им пренебрегать не следовало. Но ничего из этого не получилось.

Она успела уже потратить немалую часть дня на то, чтобы найти и подготовить нужное убежище. Но чем больше проходило времени, тем сильнее становилось в ней некое беспокойство, источник которого был хорошо известен еще прежней Мин Алике, но сейчас на какое-то время был как бы приглушен и оттеснен заботами Мин Алики новой; однако беспокойство было не шуточным и в конце концов пересилило все остальное и заставило отложить начатую было работу и заняться совсем другим делом.

Оно заключалось в тех самых атмосферных шорохах, что были ею записаны, когда она находилась еще в своем небогатом жилье на глазах у двух оставшихся там должностных лиц. Сейчас Мин Алика принялась, наконец, за их расшифровку, а закончив ее, ощутила немалую озабоченность.

Сообщение предназначалось прежней Мин Алике, которую она, эмиссар, восприняла и ассимилировала в себе — или сама ассимилировалась в ней, какая разница. «Вот, значит, как, — подумала Мин Алика, расшифровав. — Вот, значит, как все усложняется. Но от этого не уйдешь, избыточное внимание не нужно ни мне, ни Фораме — даже с той стороны. А сам по себе контакт выглядит, откровенно говоря, многообещающим. Что же, придется поступать так, как ты — я — мы — одним словом, как Мин Алика поступила бы, если бы не вмешался в игру Мастер и не ввел в нее нас. С тобой ищут связи? Хорошо, выйдем на эту связь и посмотрим, что кому она принесет...»

То, что в какой-то степени озадачило Мин Алику, а с другой стороны заинтересовало ее и даже развеселило, никакого отношения к проблемам Мастера и Фермера (и еще сотен обитаемых миров попутно) не имело, а принадлежало целиком к вопросам взаимодействия двух соседних, искони враждующих планет, и касалось такой вечно актуальной области, как информация.

Человек не может существовать без информации, государство — тем более. Разведка — это государственная любознательность, государственный ориентировочный рефлекс. Вопреки мнению людей несведущих, труд этот не исполнен романтики; романтика есть откровенное, публичное проявление некоторых свойств личности, относящихся гораздо более к эмоциональной сфере, чем к области рассудка. Романтика и романтичность неизбежно привлекают к себе внимание окружающих — а разведке это противопоказано. Разведка требует от личности выдающихся качеств и способностей, и в то же время она подавляет и убивает их, ибо человек выдающихся способностей лишается права — под страхом провала — проявить их публично, а способности по самой своей природе требуют именно проявления, нуждаются во внимании и поощрении со стороны; способности не могут, в отличие от моллюсков, консервироваться в собственном соку. Это один парадокс, заключающийся в проблеме. Второй состоит в том, что, занимаясь делом, которое не регулируется категориями честности, порядочности, откровенности — ибо неизбежно приходится лгать, обманывать, причинять другим (вполне осознанно) немалые неприятности, носить личину и так далее, — человек в то же время неизбежно является идеалистом в лучшем смысле слова (речь не идет о работающих за деньги или из страха: они — подсобный материал) и имеет на то все основания. Он вправе полагать, что служит не какому-то конкретному имяреку, а Государству, Обществу; в то же время он находится в таком физическом отрыве от этого государства и общества, видит их с такого отдаления, что детали скрадываются и остается лишь неизбежно идеализированное представление, в котором сверкают достоинства (а они есть у каждого общества) и не видны недостатки (которыми опять-таки обладает всякое). В том же государстве, на территории

которого разведчик работает, недостатки — совершенно реальные и порой немалые — видны простым глазом; так уж мы устроены, что недостатки видим вблизи, а достоинства, как горные хребты, охватываются взглядом лишь с большого отдаления, — не исключено даже, что достоинства если и не состоят из одних только недостатков, то во всяком случае неизбежно покрыты ими и включают их в себя, как величественные горы бывают загромождены обломками, рассечены трещинами, покрыты ледниками — и все это затрудняет, если не делает невозможным достижение их вершин, — но вершины-то реально существуют; они не миф, они видны простым глазом — но только издали, откуда щели и россыпи уже не воспринимаются. И подобная идеализация того, чьим именем и ради чьего блага человек, подвергаясь нередко опасностям и лишениям (если не физическим, то уж духовным — несомненно), многократно наступая самому себе на горло, нарушает одни заповеди, чтобы выполнять другие, — подобная идеализация только и делает возможной приход в эту профессию таких людей, как, скажем, Мин Алика.

Тут не место для изложения каких-либо биографий, однако неизбежным кажется замечание о том, что для профессиональной резидентуры необходимо определенное несоответствие качеств работника тому представлению, какое вызывает он у окружающих; недюжинные способности должны укрываться за внешностью вовсе не обязательно заурядной, но непременно им не соответствующей. Внешность, в отличие от магазинной витрины, не должна информировать о содержании торгового зала, а напротив, войдя в магазин, витрину которого украшают сапоги и босоножки, мы можем увидеть на полках косметику или пряности, а в булочной будут продаваться пулеметы. Гений, на котором общепонятными литератами начертано, что он гений, хорош для искусства, возможно, науки или даже политики; он может быть и агентом, но резидентом ему не быть: там нужен гений с обликом усердной посредственности, аскет в обличье прожигателя жизни, монашка с повадками куртизанки и убийца с глазами друга детей, — а еще лучше, если он и на самом деле будет другом детей, только так, чтобы одно не мешало другому. Актерство? Да, можно сказать и так; но грим такого актера вращается в кожу, а аплодисменты долетают далеко не сразу (если вообще долетают), зато



свист публики сиюминутен и пронзителен и означает опасность; разгримировываться же если и приходится, то в кабинете следователя... И вот Мин Алика, девушка с вышесреднего (по происхождению) уровня, мечтавшая стать актрисой и ею ставшая, уже в самом начале своей карьеры, на проходных ролях, обратила на себя внимание полным несоответствием своей внешности с тем, что под нею крылось. Внешне она была весьма миловидной, недалекой, наивной девушкой в неснимаемых розовых очках, которая верит, что пирожные растут на деревьях, мужчины созданы лишь для поклонения женщинам и не хотят ничего иного, а жизнь устроена именно так, как об этом говорят и пишут. Кому-то из (во внеслужбное время) театралов, имевших непосредственный контакт с Вездесущими (так называлось на Второй планете то ведомство, которое на этой именовалось Вещими. Почему на Второй? Но там-то и родилась Мин Алика, и там прошла ее юность), захотелось заполучить дурочку в свою постель: не столько даже для физического, сколько для душевного отдохновения и наслаждения; беседа с наивной дурочкой должна была не только позабавить, но и возвысить его в собственных глазах, и даже очистить; кроме того, немолодой любитель клубнички хотел видеть удивление, которое охватит наивную девочку, когда она убедится, что вот она и вся романтика... И в постель к нему юная актрисочка пошла с неожиданной готовностью, и все шло так, как он и предполагал заранее; однако когда следовало уже распахнуться вратам, он вдруг попал под такой безжалостно-пронзительный свет ума концентрированного, глубокого и беспощадного, показавшего заслуженному любителю приключений его самого под большим увеличением и с исчерпывающими комментариями к каждому его душевному и плотскому движению, что он устыдился собственной наготы во всех смыслах слова, как если бы оказался в полном неглиже на ответственном совещании Круглого Стола (так назывался на Второй планете аналог Высшего круга); он лишь успевал прикрываться руками и хвататься за исколотые и обожженные места; и когда наконец стал просить лишь снисхождения к себе, одной только жалости, к нему готовы были снизойти — но ему уже ничего не было нужно; итак, любовницы он не получил и не пытался более, потому что не девочкой казалась она ему теперь, а мощным компьютером, которому конструкторы

придали вид восторженной провинциалки то ли из ехидства, то ли ради каких-то иных целей. Но вместо любовницы он обрел друга; он стал, напротив, беречь и охранять ее и, может быть, этот странный союз помог бы ему найти в жизни и самого себя, однако в тяжелую для него минуту ему пришлось пустить эту неразменную монету в оборот, и он вывел на нее специалистов из разведки, а те сразу поняли, как им повезло.

Тут сыграло роль и то, что умна и сообразительна она была от природы, и людей чувствовала великолепно тоже от природы, но опыта жизни у нее образоваться просто не успело, а там, где не хватает знаний, всегда находится местечко для суеверий. Что знала девушка о соседней планете, куда ее собирались забросить? Ничего, кроме того, что там были враги; с этим сознанием она выросла и столь же мало в этой истине сомневалась, как и в том, что солнце восходит на востоке: это само собой подразумевалось, а мало кто в юности задумывается над тем, что факт этот вовсе не зависит от каких-то таинственных качеств востока, напротив, он потому так и назван, что там встает солнце; иными словами, причины и следствия то ли меняются местами, то ли совмещаются и становятся равноправными, чего на самом деле быть, надо́ полагать, не может. Итак, там жили враги; они были злы; целью их существования являлось — уничтожить ту планету, на которой Мин Алике вовсе не плохо жилось; ради чего уничтожить? Ради спокойной жизни, может быть, а возможно — просто таково было их предназначение, их функция в уравнении бытия, а не исключено также, что и из чистой зависти... Так или иначе, Вторая планета была в серьезной опасности (несерьезная не произвела бы на девушку впечатления), планету надо было защитить. В каждой женщине, если не на поверхности, то в глубине живет инстинкт самопожертвования (без него в прежние времена туго приходилось бы потомству); этот инстинкт в Мин Алике стали разрабатывать. Интересно, что она это прекрасно видела и понимала, но не противилась, как не противится порой соблазняемая женщина из внутренней потребности быть соблазненной, при одновременном внутреннем же запрете на проявление собственной инициативы — не противится, по сути, заставляя другого делать то, чего она сама делать не желает, но результат чего ей нужен. Сначала добились ее согласия, потом

честно предупредили, что придется ей не сладко, зрителей и цветов не будет, что если и станут дожидаться ее у артистического выхода, то отнюдь не поклонники, и встреч этих придется избегать; что не будет, не должно быть славы, известности, богатства, ибо все это тоже привлекает внимание; что уделом ее станет — быть в тени... На другой чаше весов лежала вечная благодарность своей планеты — начиная с момента, когда планета о ней, Мин Алике, узнает; девушка понимала, что это не относится к обозримому ею будущему. Но ведь любила она свою планету, черт возьми? Она сказала: «Да».

Следует упомянуть о том, что отказ от таких вещей в перспективе как, скажем, богатство, никаких особых усилий от нее не потребовал: даже при поверхностном контакте с этим явлением Мин Алика поняла, чего оно стоит на самом деле, не способствуя развитию личности, но напротив, задерживая его вплоть до полной остановки: нож затачивается лишь при соприкосновении с чем-то, что тверже стали. Слава, известность — дело иное, натуре артистической без них трудно; но и тут удалось убедить ее в том, что и то, и другое ей обеспечено; правда, скорее всего посмертные — но зато не эфемерные, а продолжительные, поскольку эти слава и известность будут зависеть не от переменчивого мнения публики, но будут присвоены ей свыше, как присваивается очередной, высший уровень в обществе.

Возникали определенные трудности и при детальном ознакомлении ее с той обстановкой, в которой Мин Алике предстояло жить и работать долго — может быть, всю жизнь. Когда речь идет о заклятых врагах, у человека непроизвольно возникает впечатление, что там, у них, все не так, как у себя дома, все наоборот — иначе из-за чего было бы враждовать? Но по мере усвоения информации девушка с удивлением заметила, что на самом деле разницы в общественном устройстве обеих планет по сути не было. И тут и там существовало строго регламентированное двенадцатиступенное общество, и тут и там все исходило из единого центра, и если на Второй планете был император, а на Старой его не было, то разница была лишь формальной: император появлялся на экранах по великим праздникам, вопросов же он не решал, вопросы решал Круглый Стол; что касается неизбежной при таком устройстве аристократии, то она ав-

томатически отождествлялась с четырьмя высшими уровнями общества, то есть, выражалась в существовании еще и титулов, присваивавшихся одновременно с возведением на четвертый уровень. Это было по-своему красиво, но не более того, и, однако же, давало прекрасную возможность подчеркивать разницу между обеими планетами, их несовместимость. На деле же обе они были империями, и причина вражды заключалась в том, что никакая диктатура не может существовать рядом с другой подобной же: они слишком одинаковы, чтобы не стремиться к объединению, но никогда не могут договориться об условиях мирного процесса и рассчитывают добиться желаемого если не прямым применением силы, то хотя бы угрозой такого применения. Только подлинная демократия может существовать рядом с обществом иной структуры, не угрожая ему, потому что демократия терпима и потому что она, сознавая свое превосходство, не сомневается в своем конечном торжестве и без применения оружия. Однако хотя Мин Алика, вникая в детали общественного устройства враждебной Старой планеты, и не могла не увидеть сходства между обеими, ее все-таки удалось убедить в том, что империя и император — это прекрасно, это высоко и романтично, и уже за одно стремление обходиться без этого Старая планета презираема и наказуема. Кроме того, девушке дали понять, что раздумывать тут, собственно, не над чем, потому что процесс развивается таким образом, что окончательного решения судьбы обеих планет не придется ждать долго, и Мин Алика должна поспешить, если хочет успеть к самому интересному. Так или иначе, ее убедили — скорее всего потому, что ей хотелось быть убежденной.

Когда речь шла о ее будущем, все понимали, что есть вещь, о которой заговаривать напрямик как-то не очень удобно, и которая тем не менее ясно подразумевалась: как только девушка становилась профессиональной работницей на этой ниве, тело ее, в свою очередь, становилось ее профессиональным инструментом, не более. Ей наверняка придется отдать себя кому-то (может быть, даже — не одному), не испытывая при этом любви; она должна будет быть, как все, как большинство, как среднее статистическое; аскетизм подозрителен, а любовь опасна. Об этом не говорили, как военному летчику не говорят о возможности быть сбитым (он и сам об этом знает) — ему просто дают парашют. Однако предварительно его

еще и учат прыгать; и Мин Алике, прежде чем она покинет свою планету, следовало приобрести хотя бы минимальный опыт, чтобы научиться и в самые эмоциональные моменты сохранять ясную голову. Вот это и не было сказано, но подразумевалось. Мин Алика умела приводить себя в нужное эмоциональное состояние; она и привела себя, и пошла за опытом в настроении не более романтическом, как если бы шла к стоматологу. Разведка же незримо постаралась, чтобы первыми наставниками ее оказались люди во всех отношениях не первого сорта — чтобы не осталось места ни для малейших иллюзий и ожиданий. Таким образом, Мин Алика приобрела опыт вместе с изрядной долей разочарования, в том числе и в себе самой: не оказалось никакого таинства, все было естественно и скучно, и каждый раз хотелось, чтобы это поскорее кончилось. От скуки она по-своему посмеивалась над этими двумя, от чего они, искренне считавшие ее глупой курочкой, приходили в непонятное им самим иступление и готовы были в тот момент полезть ради нее на нож; но в самую последнюю минуту, когда у них могло вспыхнуть что-то серьезное (насколько они еще оставались к этому способны), она двумя-тремя словами смазывала все, внутренне смеясь, и они оставались в недоумении. Связь с первым продолжалась месяц, со вторым — после двух недель перерыва, блаженной одинокой жизни без любви — целых полгода: ей захотелось испытать, на сколько ее хватит. Разведка в этот период целомудренно стояла в стороне, не спуская с нее, впрочем, отеческого взгляда (сравнение с сутенером было бы тут, пожалуй, чересчур обидным); Мин Алика ощущала на себе этот внимательно-доброжелательный взгляд даже и в самые интимные минуты, и это еще усиливало ее холодность. Внешне, однако же, она научилась делать все, что полагалось по мизансцене. В конце концов она сама поверила как в свою холодность, так и в то, что любовь — иллюзия для дурочек, хотя при желании из всего этого можно извлекать определенное, чисто моральное удовольствие, думая о том, сколь многого можно таким путем добиться. Ради подобного удовольствия она под конец ставила бывшего любовника со вторым. Дождаться конца, увидеть результат этого она не смогла: пора ученичества прошла.

Теперь ее сочли по-настоящему готовой. На вражескую планету ее забросили без помех; впрочем, так же

происходила и заброска резидентов со Старой планеты на Вторую: все знали, что разведки все равно действуют, как постоянно в человеческом теле живут микробы; что совершенно оградиться от разведки противника невозможно, и главное не в том, чтобы не допустить ее деятельности, но в том, чтобы по мере возможности деятельность эту направлять и использовать. Если бы не было вражеской разведки, не было бы и дезинформации, мощного оружия практической политики. Итак, ее забросили; поскольку облик Алики меньше всего соответствовал представлениям о научной работе, ее вниманию поручили физиков. Формально же она жила тем, что поставляла рекламные картинки — это давало ей полную свободу и крохотную независимость в пределах девятого разряда, выше которого ей подниматься не рекомендовалось. Для полной легализации и безопасности нужен был мужчина, любовник; в разное время их было несколько, о каждом она собирала информацию, и если мар Форам Ро полагал, что в один прекрасный день кабинки их случайно оказались рядом, и женщина без умысла подняла на него свой невинно-розовый взор, то у Мин Алики было на этот счет свое мнение. Впрочем, мужчины редко анализируют события в этой области, когда они развиваются в желательном для мужчин направлении.

Десяток лет, прожитых Мин Аликой на Старой планете, прошел в общем спокойно. Языковой проблемы не было: обе нации, потомки одних и тех же предков, говорили на одном и том же языке, образовавшемся давным-давно, после слияния древних народностей; диалектные различия в речи Мин Алики были своевременно и тщательно устранены. К новой жизни она привыкла почти сразу: нужную подготовку прошла еще дома, и хотя внешне тут многое выглядело (а кое-что и действительно было) совершенно иным, чем на Второй, все это относилось к второстепенным деталям быта, привыкнуть к которым несложно. Труднее всего было свыкнуться с главным: здесь, на вражеской планете, где заклятым и ненавистным врагом считали ее родной мир, жили в общем такие же люди, и жили в общем так же, так же радовались и плакали, так же работали, ели, пили, иногда помногу, так же рожали детей и умирали. И люди эти сами по себе не были ни злодеями, ни агрессорами, ни аморальными подонками: люди как люди. Со временем она стала даже подумывать, что если бы человеку

можно было выбирать, где именно родиться, сделать выбор было бы не так легко; и оставались лишь голоса предков, цвет знамени, императорская корона да еще тот эффект отдаления, о котором тут уже было сказано. Имя Алика и служила верой и правдой.

Форама, весьма удовлетворенный прелестной, глуповато-скромной, еще молодой и непритязательной любовницей, никогда, как сам он полагал, не говорил с нею о своих делах; он не имел и понятия о том, какое обилие информации она черпала в нем — равным образом не понимал и того, что сдержанность, покорность и некоторая даже занудность в делах любовных отчасти были вызваны тем, что ей все это и на самом деле было скучно, а в основном — тем, что его самого именно это и устраивало: он ложился в постель не для того, чтобы обнаружить там сложности. Если бы Алике показалось нужным, она предстала бы перед ним совершенно иной — но с тем же внутренним спокойствием, что и раньше. Так было до вчерашнего вечера.

То, что произошло вчера с ними, было уже не игрой, но Любовью. И даже нам, знающим все те обстоятельства, что помогают понять подлинный смысл и размах событий, участниками которых оказались Мин Алика и Форама Ро, — даже нам трудно сказать, что это за любовь и откуда она взялась. Сыграло ли здесь роль вживание в личность Форама Ро капитана Ульдемира, а в Мин Алику — посланного Мастером эмиссара? Что касается капитана, нам известно, что он только что лишился любви, и ему была обещана новая — следует ли рассматривать происходящее, как исполнение Мастером его обещания? Такая возможность не исключена. С другой стороны, выполнял ли при этом эмиссар задание, или было и в самом эмиссаре нечто, способствовавшее?.. Но искать ответов на это не следует, ибо Мастер не любит лишних вопросов, и дает ответы лишь тогда, когда сам считает нужным, и таковы же его люди, так что тут придется набраться терпения. И, однако, даже зная, какие силы участвуют в этих эпизодах, мы не можем отделаться от мысли, что и не будь Ульдемира, и не будь эмиссара, и оставаясь Форама Ро только Форамой, а Мин Алика — просто Мин Аликой, — произошло бы то же самое, и Любовь, которая умеет ожидать в засаде и нападать внезапно, точно так же отметила бы их своим внимательным взглядом. Ожидание любви и

потребность в ней постоянно усиливаются в человеке, когда ее нет.

Любовь все поменяла местами. Как отразилась она на поступках Форамы — уже известно. Что же касается Мин Алики, то она ухитрилась за истекшие неполные сутки нарушить свой долг уже дважды. Во-первых, она не сообщила о том, что в ее жизнь вмешалась любовь, в то время как по инструкции должна была сделать это при первой же возможности, то есть сегодня утром. Хотя ее наставники и не одобряли любви, они, будучи реалистами, понимали, что абсолютной гарантии от естественного чувства никто им дать не может; оставалось лишь в случае столь печального события сразу же вносить определенные коррективы в деятельность своего заболевшего любовью человека, чтобы, с одной стороны, не загубить дело, с другой — не вывести из строя работника и с третьей — попытаться взять и процесс под контроль и использовать в своих интересах путем хотя бы элементарной вербовки предмета любви. Но Мин Алика предпочла о случившемся не сообщать — до тех пор, во всяком случае, пока сама не разберется как следует в своем неожиданном и не во всем понятном чувстве. Вторым нарушением долга (и куда более серьезным) явилось то, что она не сообщила о совершившемся взрыве и его причинах — хотя эта информация по своему значению намного превышала все, что было связано с любовью. Почему не сообщила? Трудно сказать; вероятнее всего потому, что была слишком занята Форамой и тем новым делом, которое возникло у нее вместе с приходом эмиссара. Однако вряд ли Мин Алика была единственным человеком, который знал о взрыве и должен был сообщить о нем на Вторую планету; скорее всего были такие люди и кроме нее; так что можно полагать, что на Второй сообщение получили своевременно, и молчание Мин Алики должно было неизбежно привлечь к ней внимание ее наставников и руководителей.

Так или иначе, за много лет Мин Алика впервые до такой степени пренебрегла делом, которое до сих пор оставалось для нее самым важным. И поэтому вряд ли покажется удивительным, что сейчас, приближаясь к месту, откуда ей удобнее всего было выйти на связь со своей планетой — месту, удаленному от мощных локальных источников помех, неизбежных аксессуаров технической цивилизации, — женщина не ощущала в себе той



собранности и решительности, какие прежде сопутствовали каждому сеансу. Она понимала также, что если задержку с информацией можно было бы еще как-то объяснить, то умолчание об изменившихся отношениях с Форамой сейчас, когда ее на связь вызвали, будет расценено (если о нем узнают) уже не как небрежность, но как прямое нарушение долга. Но она так и не решила до сих пор станет ли об этом сообщать: это чувство было ее, а не их, ее и Форамы только, а не обеих планет.

Она медленно и как бы бесцельно шла по парку народных гуляний, сейчас почти безлюдному, одной своей стороной примыкавшему к заросшему бурьяном пустырю, где хозяйничал пьяный сброд. Хилые деревья на искусственной подкормке, не компенсировавшей все же отравленного отходами цивилизации воздуха, не позволявшего деревьям жить по-настоящему, — деревья жалобно шелестели, редкая, проволочно-жесткая трава желтела на облысевших газонах. Мин Алика не замечала сейчас убожества природы, она успела к нему привыкнуть, хотя ее родная планета выглядела совсем иначе: более молодая по возрасту имперская цивилизация еще не успела запакостить все до такой степени — во всяком случае десять лет назад так оно было; коренные же обитатели Старой планеты вообще никогда этого убожества не замечали, потому что сравнивать им было не с чем. Мин Алика обдумывала свой возможный разговор с наставниками, и ощущала в себе странную боязнь того, что разговор каким-то образом вдруг разрушит все, повернет совершенно иной стороной, отдалит ее от Форамы и от того конкретного содержания, какое вдруг возникло для нее в затертом словечке «счастье». В нерешительности была Мин Алика; именно она, потому что эмиссар Мастера пока в это дело не вмешивался. Неожиданное чувство к Фораме и боязнь за него явились, видимо, для Алики немалым душевным потрясением — и смутно, как перед рассветом, ей вдруг показалось, забрезжило, что нет противостояния двух наций и двух планет, но есть по одну сторону — она и Форамы, а по другую — все остальное, и бороться надо за них самих, а следовательно (если придется), против всего остального. И это было логично, но настолько неожиданно, что Мин Алика растерялась и не знала, что же лучше сейчас предпринять.

Однако здравый смысл, хотя и несколько оттесненный в сторону, не собирался сдаваться. И подсказал, что независимо от того, что решит она в дальнейшем, сейчас выйти на связь все-таки нужно: не услышав ее в назначенный час, там заволновались бы, а может быть, и заподозрили и поручили бы кому-то выяснить и проверить, а при нужде — принять меры. Это было бы ни к чему — и сейчас, да и потом тоже. Итак: поговорить — а потом уже искать выход.

Придя к такому решению, Мин Алика шире зашагала по аллее, мимо пыльных деревьев, несмело протягивавших ветви к заходящему уже солнцу, тоже пыльному и неяркому из-за постоянно взвешенных в атмосфере мелких частиц промышленных отходов, ускользающих от фильтров, из-за испарения технических жидкостей и сгорания топлива. Зашагала, приближаясь к излюбленному ею укромному местечку. Яркие, быстробегающие звездочки бомбоносцев, оружия родной планеты, в очередной раз поднявшиеся над городом, быстро набирали высоту; на этот раз они не вызвали в ней того душевного движения, какое бывало раньше — ощущение единства с ними и взаимной зависимости. Огоньки показались ей холодными, чужими, даже враждебными, и на мгновение ей стало так зябко, что она ощутила даже легкую дрожь, пробежавшую по телу; может быть, впрочем, то была дрожь отвращения, но этого Мин Алика еще не понимала.

Добравшись, наконец, до своего места, крохотной площадки между пышно разросшимися сорняками, она опустилась на землю, устроилась поудобнее, раскрыла сумочку и послала в пространство свой обычный вызов.

Мин Алика предполагала, что это будет такой же разговор, как всегда, в обмен на ее информацию ей будет дан очередной перечень вопросов, на которые надо будет потом искать ответ; на деле же оказалось иначе. Получив из другого источника сообщение о гибели института, который считался основным объектом Мин Алики, ее наставники, как ни прискорбно это было, заподозрили, что отсутствие ее информации, в случае, если с ней самой ничего не произошло, может быть скорее всего объяснено тем, что ее раскрыли и перевербовали, что она стала двойником (как ни печально, от таких случаев не свободна история ни одной разведки), и надо принять меры для уточнения и, в случае нужды, исправления ситуации.

Так что вместо очередных вопросов женщина получила вдруг приказание срочно прибыть; канал прибытия указывался. Приказание было весьма категорическим, и возражать она не решилась. Она закончила связь, сознавая лишь, что предчувствия ее оправдались и связь их с Форамой грозит распасться совсем: вернется ли она сюда, и что за это время может случиться с Форамой — кто знает?

Тут надо, правда, сказать, что та же Мин Алика, но уже в ином своем качестве — эмиссара — на все это лишь усмехнулась не без иронии: и отправиться на ту планету, и в любой миг вернуться оттуда казалось ей делом элементарным, и если бы она сейчас решила, что визит на Вторую противоречит интересам Мастера, она и не подумала бы туда направиться. Но поскольку она знала, что и Вторая должна неизбежно сыграть в предстоящем свою роль, ей показалось не лишним побывать там сейчас, имея определенный официальный статус. Однако перед тем как отправиться туда, ей захотелось еще раз увидеть Фораму. Она настроилась на него — и к своему удивлению обнаружила, что мар Форамы находился в это время буквально в двух от нее шагах, и можно было, не оставляя этого целиком на его усмотрение, взять его за руку, препроводить в подготовленное ею сегодня убежище и успеть даже обсудить вкратце план его действий. Все складывалось самым лучшим для нее образом.

\* \* \*

Алкоголь для человека скорее вреден, чем наоборот; следовательно, и для общества тоже. Для общества в большей мере, чем для государства, которое взимает налоги, получает прибыль и содержит все более множущуюся стаю чиновников. Деньги, как известно, не пахнут, не то от них весьма часто несло бы густым сивушным перегаром. Кроме того, право потреблять спиртное по собственному разумению — неотъемлемая часть свободы. Поэтому отношение государства к алкоголю можно сравнить с отношением христианской церкви к половому акту: он есть грех, однако без этого греха прекратилось бы существование человечества, а с ним самой церкви. Следовательно, грех не только допустим, но и необходим — однако лишь в определенных рамках, нужных

для очистки совести тех, кто эти рамки устанавливает, чтобы доказать самим себе и всему миру, что они отнюдь не капитулируют перед грехом, но лишь идут с ним на определенный вынужденный компромисс и, следовательно, достойны всяческого уважения. По той же причине они грешат и сами: это подчеркивает их единство со всей нацией, со всей планетой. Для инстинкта размножения существуют рамки семьи, для удовлетворения потребности в алкоголе — рамки происхождения напитка и места его употребления: пить можно в частных жилищах, в ресторанах или пивных, на пикниках на лоне природы; делать же это на улице или тем более на службе — грешно; пить можно купленный в установленном месте, официально произведенный продукт (ибо тогда потребитель платит за него на порядок-другой дороже, чем он на самом деле стоит, к вящему ликованию финансистов), а употреблять пойло собственного производства или хотя бы и фабричный продукт, но предназначенный для других целей — тоже грешно, и весьма. И тем не менее, хотя всем известно, что грешить не только постыдно, но и просто опасно, люди всегда грешили и в одной, и в другой области; всегда — в смысле: с момента возникновения самого понятия греха.

Все это было прекрасно известно Фораме не только в принципе, но и в деталях. Сам он пользовался среди знакомых репутацией человека, пьющего весьма умеренно — по большим праздникам и в надежной компании. И слова журналиста о том, что там, где пьют, Фораме станут искать в последнюю очередь, а то и вовсе не станут, пришлись как раз кстати: в месте, указанном Маффуйлой Асом, Фораме мог не только добиться своей цели, но заодно и укрыться от тех, кто, усомнившись в его гибели, захочет проверить или опровергнуть свои подозрения фактами. И в самом деле, Фораме надо было еще и где-то существовать; он сперва об этом не подумал, уповав, что — образуется само собой, не попросил разрешения вернуться к журналисту. Меньше всего он мог подумать, что Мин Алика, хрупкая и беспомощная, обо всем подумает и все приготовит: с раннего утра он ее больше не видел. Обдумав сейчас ситуацию, он понял, что ни жилища друзей и приятелей, ни гостиницы, если он даже рискнет там показаться, не послужат для него столь надежным укрытием, каким могло бы стать место, ему вроде бы совершенно чуждое, обитель греха не

тайного, но вызывающего, не прикрытого и не пытающегося даже укрыться от осуждающих взглядов, — вот такое место окажется для него наиболее безопасным и именно там ему и следует находиться.

Место, названное Маффулой, как раз таким и было: местечко из наихудших, содом своего рода, где самое понятие греха давно уже забыто, и которое люди достойные обходят по кривой большого радиуса (из отвращения и страха не столько перед грехом, сколько перед пьяными). В зоне, обслуживаемой здешним транспортным подразделением, было три или четыре таких гнезда; раньше сказали бы — в этом городе, но города давно слились, вобрав в себя многоэтажные пищевые централи, где урожай зрел при искусственном освещении и орошении или же куда солнечный свет передавался извне при помощи мощных световодов; таких, впрочем, было меньшинство: внешний свет зависит от погоды, регулирование погоды требует громадных затрат энергии, так что выгоднее было расходовать лишь часть ее на искусственное освещение, которое можно было строго дозировать и точно им управлять. Да и не было больше возможности отводить на прокормление такие колоссальные площади, как когда-то. Известно, что для того чтобы жить охотой, человеку нужна территория во много раз большая, чем требуется ему же, когда он переходит к скотоводству и земледелию; но еще намного меньше угодий нужно для прокорма одной единицы, когда производство еды переходит на рельсы в полном смысле слова промышленные, и пищевые централи обликом перестали отличаться от металлургического или любого иного крупного производства; тогда и произошла последняя вспышка роста городов, завершившаяся полным их слиянием. Но осталась традиция; и участки застроенной земной поверхности, отличавшиеся друг от друга разве что нумерацией линий сообщения и цветом транспортных кабин, а также коммуникационными шифрами, сохраняли уже официально не существовавшие названия былых населенных пунктов, имели своих патриотов и своих хулителей, своих героев и своих собственных подонков, свой фольклор и даже свой если не диалект, то жаргон. И жители такого участка территории неохотно пересекали его нигде не обозначенные, но всем точно известные границы, а перебравшись через них, чувствовали себя зябко и неуютно.

Но Фораме, к счастью, не нужно было выбираться за пределы тех десяти тысяч квадратных километров, на которых располагался этот город в последние годы — уже очень давние — перед полным слиянием его с соседними. На этих десяти тысячах квадратных километров находились, как уже сказано, три или четыре таких места; но зато это уж были всем местам места — противоположный полюс библиотек, галерей, театров и лабораторий — а средний уровень культуры как раз и является результирующей этих двух крайностей. То из этих мест, которое рекомендовал Фораме Маффула, было названо чисто условно; оно было не самым центральным и обширным, но и не самым маленьким или отдаленным, и именно поэтому вполне подходило Фораме.

Проехав в общественной кабине в нужном направлении, выйдя и поднявшись на поверхность, Фораме, впрочем, зашагал не туда, куда нужно было, а в обратном направлении, и сделал немалый крюк, чтобы подойти совсем с другой стороны. Завсегдатаи таких мест, как правило, не подъезжают в кабинах; те, у кого есть деньги на кабину, сюда еще не заглядывают, тут — последняя ступень, низший ярус, подонки общества — не все, разумеется, но все прочие стараются — из вежливости, может быть, ибо свое представление о приличиях существует в любой ячейке общества — не нарушать общепринятого порядка. Шагая к цели по кривой, Фораме попытался увидеть себя со стороны, насколько это было в его силах, и поверил, что вид его не мог вызвать у постоянной клиентуры этих мест никаких подозрений. Кроме грязного и местами порванного костюма, что уже само по себе было хорошо, на скуле его зрел дурного вида синяк, честно заработанный, когда он проползал под перекрытием; не забыл Фораме, разумеется, и сорвать с воротника латунные совы — сначала сунул было их в карман, потом передумал и выкинул в первый попавшийся мусоросборник: они-то в любом случае ему больше не понадобятся. Грязные, всклокоченные волосы и красные от недосыпа глаза дополняли его облик и делали его, как Фораме вскоре с облегчением убедился, неотличимым или почти неотличимым от нескольких тысяч (а может быть, десятков тысяч) тех, кто уже находился здесь, производя на стороннего наблюдателя впечатление единого и компактного тела с четко определенными контурами.

Контуры эти являлись границами обширного пустыря, одной стороной примыкавшего, вернее — постепенно переходившего в окультуренный чахлый парк для народных гуляний, уже знакомый нам; из-за такого соседства мирные жители ходили в парк неохотно и лишь убедившись в наличии усиленных нарядов пеших и крылатых Стражей Тишины. Когда-то на месте пустыря стояли старые одно- и двухэтажные дома, зеленели садики, на огородах росли морковь и салат. Потом домики вместе с грядками срезали под корень, а на расчищенном месте хотели возвести многотысячный зал для выступлений то ли спортсменов, то ли Гласных. Деньги, однако, понадобились на что-то другое, и было решено за счет пустыря расширить парк. Однако и на это средства никак не отыскивались, а местный, специально введенный налог нашел какое-то иное употребление, так как именно в то время праздновалось тысячелетие чего-то, — никто уже не помнил, чего именно, да и трудно запомнить события такой давности. Так или иначе, деньги ушли, а пустырь так и остался пустырем, где горные хребты невывезенного строительного мусора заросли плевелами, регулярно получавшими свою порцию органических удобрений и оттого росшими кустисто и бурно, достигая невероятных размеров. Это и послужило одной из причин неожиданного возрождения заброшенной территории: на траве под сочными кустами хорошо спалось. Природа, как известно, не терпит пустоты; и как-то так случилось, что вскоре все хоть сколько-нибудь ровные места оказались застроенными хлипкими, но вечными будками, киосками, навесами и прилавками — фанерными, жестяными, пластмассовыми, из прессованного картона, а то и просто клочок земли огораживался брезентовыми полотнищами на легких рамах. Все эти форпосты коммерческой инициативы торговали, в общем, одним и тем же; как ни странно, официально признанные напитки находились здесь в подавленном меньшинстве (кроме, пожалуй, пива, этой двуликой субстанции, играющей роль сперва провокатора, а потом — врачевателя), а преобладали товары совсем иного ассортимента: дешевая косметика, одеколоны и лосьоны с резким химическим запахом цветов и овощей; порой же попадался и продукт кустарного производства, смертельно-лилового цвета, в архаичных трифлягах мутного стекла; и наконец, как бы для утехи ремесленников, много торговали различными

химикатами для обработки дерева — морения и полировки, — а также консервами попроще и пирожками с начинкой неизвестной природы. Все это стоило гроши — лиловая несколько дороже, но она была для аристократов здешнего мирка, для гурманов. Место это, никакого официального наименования так и не получившее, клиентура окрестила «Шанельным рынком». Клиентура тут была тоже определенная: в большинстве — бывшие чиновники, мелкие коммерсанты, коммерсуны, как их тут звали; деклассанты; сошедшие с круга проститутки; отставные воины самых низких рангов; неудачливые виршеплеты и лицедеи. Иными словами, в подавляющем большинстве своем люди, выброшенные центробежной силой из безостановочной центрифуги жизни, не выдержавшие ее ускорений и перегрузок и нашедшие убежище и отдых в полном отрицании целей и идеалов, в бездумном растительном существовании, сузившие свой круг интересов и забот до ежедневной необходимости разжиться жалкой мелочью, которой хватило бы на очередной взнос жаждущему организму. Людей, занятых на производстве, было здесь значительно меньше — не потому, однако, что их вообще было меньше среди предававшихся пороку, просто — это были не их угодья, они собирались в другом месте, продолжавшем считаться окраиной, хотя, как уже сказано, окраин давно не существовало, но были, как и во всякой обширной и неоднородной среде, места большей и меньшей плотности обитания. Однако этим клиентура не исчерпывалась: как уже намекалось, здесь бывали не одни только отбросы общества. Порой в репейных дебрях Шанельного рынка можно было встретить и людей известных, даже очень известных, преимущественно из мира искусств, но попадались и чиновники; они, соответственно нарядившись, приходили сюда, чтобы на какой-то, пусть очень небольшой срок выключиться из выматывавшего марафона жизни, — а выматывала она всех, хотя и по-разному, — отрешиться от проблем, урвать свой кусочек растительного счастья, но вовсе не для того, чтобы понаблюдать за отверженными, как они считали, недостаточно приспособленными к жизни неудачниками. Эти случайные посетители не понимали еще, что не в силе и приспособленности людей было дело, но в самой цивилизации, оттеснившей человека куда-то на задворки бытия и не оставившей в повседневной, всеми молчаливо принятой за единственно



возможную, жизни почти никаких возможностей для простого человеческого существования с ощущением единства со всей Вселенной, своей духовности, чего-то, что и делало их людьми; не понимая, эти люди из благополучных воспринимали первое свое, а потом и второе и третье посещение Шанельки, как свою причуду, случайность, мелкий эпизод, некоторым образом даже экзотический, эпизод из числа тех, какие можно в любой момент прервать и о них забыть — и не предполагали они еще, что на самом деле это был первый шаг к тому, чтобы в конце концов сделаться постоянными обитателями репейного пустыря — и не потому, что стало меньше сил или способностей, но потому, что в царившей здесь хмельной анархии было именно что-то человеческое, не регламентированное, не подгоняемое секундной стрелкой, не втиснутое в рамки повседневных дел и отчетов; было что-то такое... Внешне такие посетители в своих первоначальных сошествиях в ад не отличались от прочих, — даже те, для кого фрак или визитка были профессиональной одеждой, их не надевали, а облачались в более приспособленный к случаю наряд. Тем не менее туземцы узнавали их с первого взгляда, но не гнали и не обходились неуважительно, хотя честолюбие и корпоративность в каких-то формах свойственны людям и на этом уровне бытия, — они даже по-своему любили пришлых, как любят дурачков, которым можно бесконечно врать — и те будут верить и у которых, пусть и глубоко припрятанные, всегда есть с собой пусть небольшие, но деньги, и деньги эти можно выманить, выпросить или просто украсть. Пришлые с их деньгами были одним из источников существования местного населения — так вполне можно назвать постоянную клиентуру рынка, которая часто неделями не отлучалась отсюда, под кустами ночуя, оправляясь и совокупляясь, порой даже разводя на крохотных грядках лук или редис, чтобы не так зависеть от стоившей денег закуски; зато они, явившись сюда без всякой помпы, отбывали порой гораздо более торжественно: на машине «скорой помощи» или прямо похоронной; к чести их надо сказать, что почти никогда эти люди не увозились в лодках Службы Тишины: если не говорить о мелких кражах (пятерки или десятки) у пришлых, закон здесь не нарушался, уголовники если и были, то не промышляли, не случалось ни насилий, ни убийств, львы и агнцы напивались и опо-

хмелялись купно, а бурные эмоции, приводящие к аффекту, были растеряны еще по пути сюда. Правда, здесь всегда можно было купить что-то с рук, иногда очень интересные вещицы за бесценок; не исключено, что были среди них и краденые. Это, кстати, было одной из причин, привлекавших сюда интеллектуалов, среди которых всегда было немало коллекционеров; начав посещать Рынок в поисках дешевых раритетов, они позже возвращались сюда по той причине, о которой уже сказано: здесь на них никто не давил и ничто не давило, дух равенства царил тут, и как ни странно, среди, казалось бы, далеко отброшенных от жизни людей всегда можно было услышать все новости самого разнообразного характера, уровень информированности был прямо-таки потрясающим, многие вещи доходили сюда раньше даже, чем до кругов, которым они предназначались. Надо полагать, вражеская разведка пользовалась этим в своих интересах. Новости здесь обсуждались и оценивались на травке, в перерыве между порциями пойла; местными пророками и мудрецами делались выводы и выносились суждения; то был своего рода парламент или, скорее, антипарламент, никому своих мнений не навязывавший, но не склонный удивляться, когда в итоге получалось именно так, как они судили — может быть, потому, что жизнь они знали с черного хода, с изнанки, а по черному ходу не только выносят мусор, но и приносят продукты, им пользуется прислуга, а она — носитель и коллектор информации; все это заставляет сделать вывод, — если только кто-то об этом хоть немного задумывался, — что орден братьев во спирту был куда многочисленнее и разветвленное, чем с первого взгляда могло представиться здесь, где был лишь один из нервных узлов этой сети. Так или иначе, сведения о суждениях Шанельного рынка регулярно фигурировали в информационных сводках, предназначенных тем, кому ведать надлежало. Но именно потому, вероятно, что здесь все было нараспашку и ничто не таилось, вещи сюда практически не заглядывали, предпочитая нейтрализовать вражеских агентов вне пределов Рынка. Так что лучшего места Форам при всем желании не мог бы найти — и для того, чтобы исчезнуть, оставаясь у всех на виду, и чтобы сказать нужные слова так, чтобы они в минимальный срок были услышаны максимумом людей, еще способных что-то слышать и понимать.

Уже приближаясь к Рынку, по мере того как отступали в стороны здания и все больше людей, небольшими группками, попадалось на пути, Фораме вернулся мыслями к Мин Алике. «Вернулся», впрочем, не то слово. Он и не отлучался от нее мыслями, все, что он думал и делал с момента, когда они расстались, совершалось в ее присутствии, у нее на глазах и лишь после безмолвного с нею обсуждения; и даже капитану Ульдемиру было невдомек, что это была вовсе не только лишь метафора. Все знают, что при таких безмолвно-заочных обсуждениях собеседники, даже самые упрямые, как правило, быстро соглашаются с нашей неотразимой аргументацией, и Фораму должно было бы удивить, что на сей раз это получалось далеко не всегда; но так или иначе, он был с Мин Аликой, а она — с ним. Правда, обычно рядом находился и некто третий: то дело, о котором, собственно, и шла в тот миг речь. А сейчас на краткие мгновения он и она остались вдвоем, и можно стало поговорить о главном.

«Мика, — сказал Фораме, обращаясь к ней. — Только не прими за упрек, наоборот, я тебе бесконечно благодарен за то, что (я уверен, это именно так) без тебя, не узнай я тебя той ночью по-настоящему, а через тебя — жизнь с новой стороны, я и не предпринял бы ничего столь сумасшедшего и прекрасного, а предоставил бы событиям идти своим чередом, потому что, как ты, может быть, уже успела заметить, я всю жизнь терпеть не мог вмешиваться в чужие дела. Кажется, я говорил тебе об этом ночью, когда у меня возникла вдруг неожиданная и неодолимая потребность рассказать все о себе — мы о многом успели поговорить ночью, но всего я не помню... Я не стал бы вмешиваться, если бы не ты; но раз уж я взялся за дело, придется продолжать. Я говорю это к тому, что то, что мне придется делать, с первого взгляда может тебе и не понравиться. Тебе наверняка хотелось бы, чтобы мы сейчас были вдвоем в твоём или моём жилье, спокойные и безмятежные, и в голове у нас и в сердце не было ничего, кроме нас самих, кроме любви; но вместо этого мне придется пить здесь всякую дрянь, не исключено, что я и напьюсь — не до потери сознания, конечно: здесь нельзя будет, пожалуй, валять дурака и проносить мимо рта, если я хочу, чтобы мне

верили. Я сейчас выгляжу оборванцем, ты могла бы и не узнать меня, столкнись мы лицом к лицу, и буду выглядеть еще хуже; ты, чистая и хрупкая, ужаснулась бы, увидев. Но другого пути, если он и есть, я не вижу; да и времени нет искать его. Пойми, я не оправдываюсь и не пытаюсь переложить ответственность за мое решение на тебя, хочу просто, чтобы ты не падала духом, чтобы знала: я с тобой и для тебя. Я сделаю все, что можно и чего нельзя, потому что хочу, чтобы ты была, и чтобы была счастлива».

Эта безмолвная исповедь Форамы показывает, кроме всего прочего, что он, как и большинство мужчин, ничего не понимал в женщине, которую любил, и, безусловно, считал ее во многих отношениях слабее себя. И в этом мысленном разговоре он ожидал услышать в ответ примерно следующее:

«Я тебе верю, любимый, но очень боюсь за тебя. Ты вышел против всех, а цель твоя пока никому не ясна. Я боюсь, что с тобой случится что-то плохое. А тогда я просто не смогу жить. Я буду лишь при том условии, что будешь и ты. Помни об этом, а советовать тебе, что и как — не мое дело; я тебе верю, мой Форам, пробудивший меня, подаривший мне жизнь и сознание того, что я — женщина. Я буду ждать тебя, знай это; ты прав, я хрупка и слаба, но любовью и ожиданием я крепка. Иди. Только не забывай время от времени говорить со мною, хотя бы так, а при случае и подать какую-то весточку поконкретнее, чтобы мне быть спокойной...»

Такой ожидавшийся Форамой ответ свидетельствует прежде всего о том, что комплексом неполноценности он не страдал, а также — что он действительно не знал Мин Алики. Впрочем, есть ли в том его вина? Минувшей ночью она тоже рассказывала о себе, и рассказывала немало. Но если мужчина, говоря о себе, излагает события, то женщина чаще всего — эмоции, связанные с событиями, и отдельные детали, показавшиеся ей наиболее яркими, сами же события нередко так и остаются неназванными и, следовательно, неизвестными собеседнику. Это вовсе не значит, что женщина не откровенна: она рассказывает то, что ей действительно кажется самым важным, а если и скрывает что-то, то не столько по злему умыслу, сколько интуитивно. Все это, к сожалению, понятно не каждому представителю логичного пола.

Однако ожидания ожиданиями, но на самом деле, едва

Форама успел закончить свой монолог, как в голове его стали вдруг возникать мысли, которые он по инерции продолжал считать своими, но которые на самом деле вряд ли ему принадлежали. Так, ему почудилось, что Мин Алика отвечает: «Милый, ты поступаешь правильно, не теряй только контроля над собой и говори лишь самое нужное: остальное пусть договорят за тебя те, с кем ты будешь там общаться. Пусть они перевирают и преувеличивают — не страшно. Место ты выбрал неплохое, хотя долго ты там оставаться и не сможешь: едва информация начнет просачиваться в город, как сразу поймут, что она может исходить только от тебя, и начнут поиски. Однако я уже нашла более надежное убежище и думаю, что успею показать тебе его, чтобы ты им воспользовался. Ничего не бойся, слышишь? Ничего не бойся. Все будет хорошо. Я вскоре отлучусь, но думаю, что ненадолго, а ты не ищи меня: я сама найду тебя, как только возникнет серьезная надобность. И пусть тебя ведет моя любовь, и еще мысль о том, что дело твое настолько велико и благородно, — а у тебя пока нет полного представления о том, насколько оно велико и благородно, — что ради него стоит пережить и неудобства, и неприятности, и вообще все на свете. Помни это, и помни, что я люблю тебя, и что мы заодно».

Действительно, несколько неожиданным для Форама это оказалось, но отвечать тут было уже нечего, да и времени больше не осталось. Так завершился их немой разговор. Но Фораме стало легче оттого, что Мин Алика, вопреки его недавней уверенности, вовсе не показалась ему сейчас потрясенной и безутешной — если, конечно, можно было верить этому неизвестно откуда взявшемуся впечатлению... Чуть-чуть обидно было, конечно, зато возникло совсем другое настроение. Но тут Форама вступил уже в пределы зеленых угодий братьев во спирту, в пределы, за которыми каждому должно оставлять если и не надежды, то уж во всяком случае заботы обо всем, что не течет и не имеет достаточной крепости; в угодыя вечного праздника вступил он, имя коему — безумие и бездумье.

\* \* \*

Странный свет, серовато-голубой, неяркий, был разлит вокруг; Фермер любил такой свет, он не мешал смотреть, и размышлять при нем было хорошо. Мастер

только что возник с вечной своей чуть ироничной улыбкой на резких губах, спокойный в движениях, неторопливый в словах. Они побыли молча, настраиваясь друг на друга; не всегда это удавалось сразу, все же разной природы были они. Потом Фермер проговорил, размышляя:

— Что заставляет нас пользоваться услугами людей несовершенных, людей, даже не способных представить себе то, ради чего они идут на опасность и стеснения? Почему, Мастер, ты не берешь людей Тепла, тех, кто знает, для чего существует человечество? Только ли потому, что тебе их жаль?

— В этом меня никто еще не упрекал, — ответил Мастер, и не понять было — серьезно ли он сказал, или то была шутка, уклонение от сути разговора.

— И все же? Вот ты послал человека с этой Земли. Заблудившаяся, достойная сожаления цивилизация. При посеве им было дано не меньше, чем всем иным: уравновешенный мир, в котором требовалась лишь наблюдательность, пытливость и естественный образ мышления, чтобы понять и найти, что в мире есть все, потребное чтобы жить и порождать Тепло, много Тепла, — а что еще нужно Вселенной от человека? Но что сделали они? Изуродовали свой мир, нарушили естественное равновесие, и чтобы поддерживать его искусственно, им нужно все больше всего, все их усилия уходят на поддержание того, что должно было существовать естественным образом, и у них не остается больше сил на Тепло, на самих себя.

— Ты не вполне справедлив, Фермер. На той же Земле люди нынче любят друг друга; научились в конце концов. А ведь не так уж давно казалось, что они не доберутся до этого рубежа.

— О, эта их хилая любовь! Любовь старцев, не та, что посылает людей на свершения, не любовь движения, но любовь неподвижности; что толку от такого чувства, и какое мизерное Тепло возникает там вместо тех его волн, что можно было бы ожидать? Мал урожай с поля, Мастер, и если бы они не были так далеко на окраине, лучше было бы перепахать его и засеять заново; ты же пытаешься, мне кажется, омолодить сорт.

— Именно, Фермер. У нас есть правило: не отказываться от сделанного, любой ценой пытаться добиться блага, пытаться до самого конца. Ты думаешь, что они вырождаются; а я попробую... Потому что каждый

такой случай может дать нам опыт, а опыт, возможно, понадобится кому-то из нас, или таких, как мы, в будущих временах, а ты сам знаешь, что впереди их — бесконечность.

— Но и печальный опыт остается опытом; и может быть, в следующий раз мы будем знать, что перепахивать надо раньше, не стоит тратить времени на выжидание. У нас времени много, да; но у них его мало, и тут мы ничем помочь не можем.

— Но вот же человек с Земли, посланный мною, делает свое дело.

— Человек с Земли. С какой Земли? Человек из былого, когда у людей хватало еще энергии на что-то, кроме купания в теплой воде, когда они еще способны были прыгнуть, очертя голову, со скалы в холодные волны... Но где та Земля? Осталась далеко. Время минуло. Их время, не наше. А мы не владеем их временем, ни я, ни ты даже.

— Да. Но есть те, кто владеет.

— Есть. Но что ты решил? Ты хочешь?..

— Если будет причина.

— Просить об иссечении времени?

— Такие случаи были.

— Но не ради столь ничтожной цели. Речь шла о галактиках, не о крохотной изолированной окраинной планете.

— Не только масштаб решает.

— Я был бы рад, конечно. Но у меня такой решимости нет.

— Ее достанет у меня. Но я хочу, чтобы ты обещал мне поддержку.

— Не могу ответить сразу.

— Сразу и не нужно. Лишь тогда — и если — когда он сделает свое дело.

— Тогда ты заговоришь об этом снова.

— Согласен.

— Ты внимательно следишь за ними, Мастер?

— Больше ничего я сейчас не могу.

— И ты не боишься?

— Я понял тебя. Но что делать, Фермер? Мы сильны и знаем много, очень много. Но есть условия, в которых мы можем не больше, чем мальчишка с дикой планеты, только начинающей зеленеть. Можем только верить и

надеяться, когда дело касается чувств. Да разве ты и сам...

— Не надо об этом, Мастер. Ты знаешь: поэтому я в глубине души благодарен тебе за то, что ты возишься со всеми ними. Земля — не чужая мне планета, может быть, оттого я пристрастен.

— Поэтому ты в нужный миг поддержишь меня.

— Ты был уверен в этом заранее... А в том, что он сумеет доказать, что людей с Земли еще рано предавать забвению?..

\* \* \*

Тут можно было выбирать, не следовало кидаться сломя голову к первой же попавшейся на пути паре. Таких пар чем дальше, тем больше виднелось у дороги; они стояли на обочине, выжидательно и призывно глядя на приближавшихся одиночек, со значением пошевеливая тремя пальцами руки. С необозримо давних времен сохранилась традиция объединяться для кейфа по трое: в одиночку пить умел не всякий, двое — это чаще всего драка, всегда нужен третий, судья и примиритель; четверых же слишком много на начальную полуфлягу — для первого приема, для орошения пересохшей почвы. Так что Форама, не откликаясь, миновал несколько пар, его не привлекавших. То были люди неинтересные, припухлость морщинистых лиц показывала, что хмелели они, втянувшиеся, сразу же и начинали нести чепуху, Фораме же нужны были люди, готовые слушать, а при нужде даже и действовать — не профессиональные змееглоты. Таких он нашел не сразу; он увидел их в момент, когда его, цепко ухватив распухшими и грязными пальцами за рукав, пыталась остановить женщина — толстогубая, измятая, с застарелым синяком под глазом и, верно, с мозолями на лопатках от частых упражнений. Кажется, упражнений сейчас она и жаждала, и бормотала, овеявая парфюмерным перегаром изо рта, где был недочет зубов: «Да не прошу же я, не прошу, я сама угощаю, свежачок, сама угощаю, ставлю для затравки, а потом и сам ты, если будет твоя воля, ты не смотри, ты знаешь, где я раньше ходила, скажу — ахнешь, я и сейчас, если бы не...» Но Форама уже заметил двоих, что привлекли его внимание некоторой человекообразностью, хотя и тщательно замаскированной; один, во всяком случае, привлек. Форама рванул рукав; женщина



пошатнулась, взмахнув руками, но устояла, лишь переступила ногами, несусветно выругалась и неожиданно заплакала, рванув платье на вислых грудях; Форама успел еще подумать, что такой встречи достаточно, чтобы потом месяц или полгода не смотреть на женщин (о Мин Алике он в тот миг не думал, она не женщина была, она была — Все). И тут же перестал думать о жрице любви, потому что подошел и остановился подле тех двоих.

Они тоже сразу опознали в нем непрофессионала. В каком бы непотребном состоянии ни находился его наряд, но не было в нем главного: одежда не была пропитана той массой, что возникает от смешения пыли, пота, пролитого питья, размазанных закусей, если человек неделями не переодевается и ночует под кустами, порой даже не отходя в сторону от места возлияний. Яснее ясного было для опытного, что Форама — не завсегдатай, и это тех двоих, кажется, устраивало, как и его самого. Мог он оказаться либо свежескатившимся и лишь начинающим свой путь по кругам Шанельного рынка, либо гастролером, искателем разрядки, острых ощущений и непринужденного общения; и то, и другое было равноприемлемо, а подробности тут никогда не брались во внимание.

Итак, он остановился перед ними, понимая, что уже на ходу был оценен и взвешен, и не отвергнут: приглашавшие пальцы стоявших сжались, головы кивнули. Было два-три вопрошающих взгляда, без единого слова; затем Форама прикоснулся к карману, давая понять, что не напращивается на дармовщину, но может соответствовать. После этой процедуры все трое неторопливо зашагали, каждый по-своему и про себя переживая предстоящее начало.

Минуя киоски, прилавки, навесы и тележки с косметическим и парфюмерным продуктом, они, как аристократы Шанельки, подошли к дощатой, крепко сколоченной будке, одной из немногих, где торговали казенным продуктом. Один из тех двоих, рослый и статный, в дешевом, но почти новом, неловко сидевшем на нем мешковатом костюме, приблизился к окошку. Перед тем, шагах в пяти, эти трое остановились было, переглянулись снова, разом опустили пальцы в карманы и вытащили по бумажке, по небольшой: мелкие у всех были приготовлены заранее, тут не место было хвалиться козырями, тут признавали скромную постепенность во всем. На широкую ладонь рослого легли еще две; он, однако, не

сжал пальцев, они опять переглянулись, второй кивнул, бродяга он был или кто, но держал себя достойно; Форам пробурчал «мгм», и еще по бумажке легло. Был резон в том, чтобы не бегать слишком часто, а больше брать зараз тоже не следовало, тогда не отбиться стало бы от попрошайек. Рослый купил две полуфляги, они канули в объемистых внутренних карманах его обширного даже для столь мощной фигуры пиджака, и трое отошли на несколько шагов в поисках чертополоха поразвесистей. Сели на грязный песок. Длинный расставил бумажные стаканчики, скovyрнул жестянку. Спросил у Форамы: «Надолго?» Между собой те двое, видимо, все уже выяснили заранее. «Как получится, — ответил Форам, — вообще не спешу». «Нас тоже пока не ждут», — сказал рослый; третий — бродяга не бродяга, с лицом грустно-выразительным — согласно наклонил голову и сглотнул слюну. Длинный спросил: «На два раза?» — остальные кивнули, он налил по полному, все торопливо разобрали стаканчики. «Шамор», — сказал немолодой, представляясь; «Горгола, можно — Горга», — длинный; «Форам», — сказал Форам. Кивнули вежливо друг другу, выпили, вздохнули, утерлись — до закуски было еще далеко, люди приходили сюда не ради обжорства. Минутку посидели, прислушиваясь каждый к самому себе, потом Горга разлил остатки, чтобы сразу же покончить с первой полуфлягой; вышло по полстаканчика. Кивнули, выпили. Теперь можно было уже не спешить: начало положено, дальше уж сама пойдет...

\* \* \*

Всякое найденное, принятое, в принципе, решение является лишь начальным, исходным пунктом множества действий, связанных с его реализацией. Поэтому и выводы, к которым пришло совещание Высшего Круга, свидетелем которого оказался Форам, лишь дало начало многим действиям, уточнениям и доработкам, которые, вместе взятые, и должны были привести к лучшему результату. Среди этих уточнений и доработок были и важные, но самым значительным, пожалуй, явился вопрос — каким образом практически осуществить нападение на бомбоносцы противника над своей планетой.

Дело в том, что вся многочисленная армада охотников, следовавших, каждый по своей орбите, за соответствующими бомбоносцами с вражеской планеты, не

подчинялась команде ни одного из стратегов в частности; это было бы еще с полбеды, но любая атака на бомбоносцы, предпринятая даже без помощи охотников, но и любым другим способом, практически осуществимым с надеждой на успех, не могла бы осуществиться даже и по команде Верховного Стратега. Вся хитроумная и совершенная система обороны планеты находилась в ведении одного лишь Полководца, а Полководец был не человеком, но весьма сложной системой множества компьютеров высокой мощности и надежности, в которые была введена — и продолжала поступать — вся информация, касавшаяся обороны, все конечные цели и все стратегические принципы, на основании которых предполагалось эти цели достигнуть. Все принципы, среди которых сохранность населения собственной планеты играла далеко не последнюю роль, и вовсе не по соображениям альтруизма, но по экономическим и военным, ибо после первого удара кто-то должен был развить и закрепить успех, а еще кто-то должен был обеспечить это развитие и закрепление необходимой материальной базой. Иными словами, нужна была рабочая сила и личный состав войск, или живая сила, как ее иначе называют, не говоря уже о том, что после окончательного успеха кому-то придется восстанавливать то, что к тому времени останется на своей планете в состоянии, допускающем восстановление, — а все понимали, что за успехи (несомненные, впрочем) придется платить по высоким ставкам. Итак, все эти соображения хранились в памяти машин. В ходе важного совещания этому обстоятельству особого внимания не уделили. Казалось, что оно не создает никаких принципиальных трудностей: ведь, в конце концов, основные стратегические принципы не противоречили новым обстоятельствам, и тот факт, что лица, в чьей компетенции было — нажать кнопку, этим нажатием вовсе еще не подавали стартовой команды, но лишь побуждали Полководца начать реализацию Большой задачи, а уж дальше он действовал сам по своему электронному разумению, — факт этот вначале никого не озаботил. Наоборот, немедленно после принятия совещанием решения программистам была дана команда, и разработка соответственной программы сразу же началась. Но уже через несколько часов стали возникать первые сомнения в том, что осуществить задуманное будет так просто, как показалось вначале.

Причина затруднений крылась в некоторых недостатках Полководца, ранее никого не заботивших, потому что недостатки эти были лишь продолжением его достоинств. Достоинством гигантской машины был высокий порог необходимых и достаточных условий, без учета которых она не могла и не должна была начинать практические действия. Это являлось достоинством, ибо обещало тщательный учет максимального количества даже самых незначительных, на первый взгляд, обстоятельств, которые могли оказать хоть какое-то влияние на ход событий. Человеку, даже многочисленной группе людей, с их естественной инерцией мышления и способностью отвлекаться по поводам, не имеющим непосредственного отношения к стратегии, с их ограниченной емкостью памяти и несовершенным процессом оперирования этой памятью, никак не удалось бы учесть все подобного рода мелочи при мгновенной оценке обстановки, когда необходимо в тот же миг принять оптимальное решение и тут же расчленить его на множество конкретных операций в должной последовательности; человеку это не удалось бы, а компьютер мог, потому он и существовал и потому окончательную команду подавал именно он, а не человек с пальцем на кнопке. Но в число этих необходимых и достаточных условий, о которых уже сказано, входили не только такие, как, скажем, сиюминутный уровень информированности противника о замыслах и возможностях обороняющейся стороны, и не только своя информация об уровне возможностей противника противостоять новым замыслам и усилиям превентивно обороняющихся, но и такие, как, допустим, уровень и характер настроений своего собственного населения, что не без оснований считалось одним из факторов, ощутимо влияющих на достижение конечного успеха. Уровень и характер настроений машина устанавливала по данным, поступающим из двух основных источников: по каналам Высшего Круга и по собственным линиям информации. Линии эти состояли из множества микрофонов, установленных в самых неожиданных местах и передававших услышанное непосредственно в анализаторы Полководца, который сам уже делал выводы. Впрочем, непосредственно в машину поступали многие данные и другого характера.

И вот когда программисты стали вводить в приемные устройства Полководца элементы новой программы, машина начала требовать различных дополнений, Это само

по себе было в порядке вещей; однако порой характер вопросов оказывался таким, что ответить на них можно было далеко не сразу — если вообще можно было. Например: какова вероятность того, что в решающие устройства бомбоносцев противника в последнее время не введены новые условия реагирования на приближение к бомбоносцам посторонних тел?

Вопрос был не таким, от какого можно отмахнуться, но также и не таким, на какой можно дать скорый и однозначный ответ. У разведки никаких новых сведений по данному вопросу не было; но разведка могла и не успеть, в конце концов, ее задания выполняли люди, а не компьютеры. С другой стороны, всякая экспериментальная проверка, естественно, исключалась, а если бы и можно было, в принципе, придумать такой эксперимент, какой не повлек бы за собой немедленной массовой атаки бомбоносцев, то времени на это понадобилось бы больше, чем было отпущено (по необходимости) на всю оборонительную операцию. Посоветовавшись, программисты кратко ответили, что никаких новых данных не поступало, однако Полководца такой ответ не устроил. Машина затребовала информацию вторично. Тут программисты более не решились принять ответственность на себя, и доложили наверх. Верховный Стратег заколебался; формально он мог решить вопрос лишь с ведома Высшего Круга, но обстоятельства требовали иного. Не предлагая сесть, стоя на невидимом постороннему глазу возвышении позади обширного письменного стола (Верховный Стратег был небольшого роста, что досаждало), он кратко спросил:

— Чего же он, в конце концов, хочет?

— Нужна уверенность, что в чужих бомбоносцах нет новых программ.

— А они могли поступить?

— Вполне возможно. Они передаются кодом, который каждый раз меняется, и поэтому перехватить или исказить его никто не в состоянии. А обмен с бомбоносцами у них, как и у нас, совершается постоянно, поскольку грозные эти устройства выполняют, естественно, кроме основных еще и разведывательные функции.

— Это мне известно. Вот подонки! — заявил Верховный, хотя их собственные программы передавались на свои бомбоносцы точно таким же способом и наблюде-

ние с автоматических кораблей велось точно так же. — Ну, так чего же хотите вы?

— Нужно дать машине ответ.

— А обойти вопрос никак нельзя? Ну, заблокировать его...

— Никак нет. Любой разрыв логической цепи заставит машину прекратить дальнейшее развитие работы.

— Какие только идиоты так придумали, — проворчал Верховный. После краткого размышления он снова спросил: — Ну а если взять и вырубить эту думающую шарманку вообще? У нее формальный подход, а дело-то ведь ясное.

— Все каналы подачи команд на каждое орбитальное исполняющее устройство идут через Полководца, как вы знаете, — ответил лейб-программист. — А чтобы смонтировать новую систему в обход Полководца, нужны месяцы, если не годы.

Лейб-программист ограничился изложением этого обстоятельства и не стал прибавлять, что Полководец обладал устройствами для перехвата и искажения провокационных сигналов на свои бомбоносцы, что вообще бомбоносцы повинуются только команде, данной сегодняшним кодом, а код этот вырабатывается и вводится самим Полководцем, и в данный момент никому больше не известен, что выключить гигантское устройство просто нельзя: его энергетическая установка находится под его же собственной защитой и обслуживанием, всякое посягательство на нее он воспримет как нападение, на такой случай у него имеется соответственная программа, и очень не хотелось бы, чтобы он начал реализовать ее, поскольку программа эта в его электронном мозгу ассоциирована с захватом Планеты противником. Так что пришлось бы ждать истощения топливных запасов, а топливом Полководец был обеспечен на ближайшие пятьдесят—шестьдесят лет. Обо всем этом лейб-программист напоминать не стал: достаточно было уже и того, что для перемен нет времени.

Верховный Стратег героически выразился, и наступила пауза. Потом он выпрямился, насколько это было для него возможно, расправил плечи и выкатил грудь. Момент был историческим; кто-то должен был решиться и принять на себя величайшую ответственность, сделать шаг, от которого зависело, может быть, все будущее, судьбы Планеты, судьбы обоих миров. И стать этим

«кем-то» выпало ему. Верховный Стратег не жаловал прессу, но тут пожалел, что рядом не оказалось фото-корреспондентов.

— Хорошо! — молвил он голосом, в котором не было ни намека на нерешительность или сомнения. — В таком случае, дайте Полководцу моим кодом ответ такого содержания: «По точным данным, бомбоносцы противника не получали какой-либо новой программы действий».

— У вас есть данные? — наивно спросил лейб-программист, воспитанный в убеждении, что в машину можно вводить лишь верные, неоднократно проверенные сведения.

— Выполняйте! — величественно приказал Верховный Стратег и, повинувшись какой-то неосознанной потребности, скрестил пухлые руки на груди.

Возможно, он думал в этот момент о том, что если бы его действия стали известны Высшему Кругу, то ему, Верховному Стратегу, не поздоровилось бы: Круг ревниво относился к своим прерогативам. Однако это его не испугало. Что значил Высший Круг без воинов и бомбоносцев? Звук пустой. Цивилизация давно уже (исторически неизбежно, как принято было считать) превратилась в организм на тонких и слабых ногах, с хилым тельцем, но с мощными бицепсами и увесистым кулаком правой, разящей руки. Оно и думало, это существо, теперь чаще кулаком, чем головой, передоверив во многом «головные» функции электронике. И если понадобится, он, Верховный Стратег, просто оторвет ненужную голову, музейный архаизм, либо ударом кулака оглушит ее так, что голова придет в сознание, лишь когда дело будет уже сделано.

Неуловимо для глаза помедлив, лейб-программист четко повернулся и зашагал к выходу — выполнять. Приказание было отдано ему столь решительным тоном, что он не смог набраться смелости и доложить еще и о второй заминке: об информации относительно настроений масс. Программисту, впрочем, и самому казалось, что дело не такое уж важное, просто формальность: кто и когда всерьез считался с настроением масс? Настроения, как известно, создаются при помощи средств всеобщей информации, средства же контролируются и управляемы, и уже завтра, надо полагать, вся система будет полна соответствующих материалов, которые люди станут повторять — вот и мнение населения, и его настроение... Он

забыл, однако, что раз на раз, как говорится, не приходится. Пока же лейб-программист прибыл в свое, надежно упрятанное в недрах скального массива, хозяйство, отдал соответствующие распоряжения, и программисты рангом пониже стали переводить сформулированный Верховным Стратегом ответ на маловыразительный, но точный язык, на каком они объяснялись с Полковником, со всеми его секциями, устройствами и мегаблоками. И все катилось как по рельсам, пока не доехало до стрелки. Но где стрелка, там, как известно, и стрелочник, а он-то всегда и бывает виноват.

\* \* \*

Со стороны глядя, надо сказать, что Верховный Стратег Планеты поступил, как ни говори, и красиво, и решительно: на себя принял ответственность и перед историей, и (что бывает куда болезненнее) перед вышестоящими начальниками. Однако красота бывает разная, и красота удачного броска копьем или выстрела из лука совсем не та, что красота системы уравнений, где недавняя мешанина величин приходит в стройную и поддающуюся решению форму. И там, где царят уравнения, копьем потрясать вряд ли стоит. И вот получилось, что Верховный поставил свою планету гораздо ближе к катастрофе, чем даже сам предполагал.

Дело в том, что, как мы уже знаем, нашелся все-таки исполнительный разведчик, который сообщил на Вторую планету, в ее соответствующее Управление, не только о происшедшем взрыве, но и о его причинах. Было это для разведчика несложно, поскольку он присутствовал на первом из описанных здесь совещаний, в развалинах института, и присутствовал по праву. В отличие от Мин Алики, человек этот не был ни уроженцем Второй планеты, ни ее патриотом; был он патриотом лишь самого себя. И, зная цену себе и своей работе (основной), он считал, что, помимо уровня, которым он обладал на своей Планете, ему следовало бы еще иметь что-то, что должным образом выделяло его из среды остальных. Титул, скажем. Но титулов здесь не было, они были там. И, значит, надо было оказывать услуги Второй планете, потому что в случае, если бы большой спор состоялся и кончился в ее пользу, то на Старой установились бы те же самые порядки, и человек этот одним из первых удостоился бы титула; в случае же мирного продолжения



событий, он был бы точно таким же образом отмечен там, на Второй, — и если бы ему удалось в конце концов попасть туда, и даже если бы не удалось; и в этом, наиболее печальном случае он все равно бы знал, что является титулованным лицом, и испытывал бы от этого великое удовлетворение. Таковы основные причины; деньги, им получаемые время от времени, играли роль второстепенную.

На Второй планете смогли сразу оценить сообщение по достоинству. Мало того: там (как часто бывает) сгоряча даже преувеличили размер опасности, предположив, что взорвался не экспериментальный материал в малом количестве, но уже изготовленный снаряд. Поспешный вызов Мин Алики был лишь малой деталью процесса, происходившего сейчас на верхах Второй планеты, вокруг ее Круглого Стола. Более существенной частью процесса была новая программа, переданная всей бомбоносной эскадре соответствующим кодом. По этой программе корабли должны были начать атаку без всякой дополнительной команды уже в случае, если постороннее тело приблизится к ним на расстояние, впятеро превышавшее прежде установленное и скрепленное договором. Решение было принято не с кондачка; полученную со Старой информацию запустили в Суперстрат, — так назывался аналог Полководца, существовавший на Второй, — и тот, без труда просчитав несколько возможных вариантов, не прошел мимо и этого; меры были приняты по всем вариантам, но это изменение, которого, видимо, всерьез опасался Полководец, могло прежде остальных привести к необратимым последствиям: ведь над Старой планетой, кроме бомбоносцев, летали все-таки и корабли иного, мирного назначения, и какой-нибудь из них мог случайно пройти слишком близко к взрывчатой шеренге. Надо сказать, что подобное изменение должно было, конечно, быть сообщено администрации Старой, чтобы предотвратить случайности; да Вторая и не собиралась скрывать принятые меры, напротив: пусть знают, что подлый маневр врага разгадан. Однако информация Старой шла по каналам Департамента Межпланетных сношений, а там работали в основном люди, а не компьютеры, так что соответствующее сообщение могло достигнуть Высшего Круга хорошо, если через день, а то и два. За это время мало ли что могло произойти. Но уж такие нравы были в ту эпоху.

Поддали уже как следует, и все захорошело, и пыль перестала казаться пылью, а сброд вокруг превратился постепенно в милых, сердечных, лучших на свете людей, накрепко и навечно связанных общностью интересов. Но, развеселившись, Форама не утратил еще ясности мышления; наверное, ему даже не было так весело, как он показывал. Но говорил он оживленно, часто смеясь, кое-что искажая, кое в чем преувеличивая, как это часто бывает с людьми, предающимися пороку пьянства. Когда Форама начинал свой рассказ, их было трое, потом компания постепенно разрослась, и не только за счет любителей выпить нашармака: люди подходили и присаживались со своими флягами и флаконами, банками и полбанками, со стаканчиками и без; даже угощали порой, когда Форама умолкал, чтобы перевести дух, и снова начинал, торопясь сказать и обосновать главное, пока хмель еще не вселился в него окончательно и пока рассказ не превратился в совершенную чепуху и бредятину, которой даже пьяный не поверил бы.

Форама хотел тут использовать известное свойство пьяных компаний: неудержимое стремление говорить и слушать, принимая неожиданно близко к сердцу вещи, на которые человек в трезвом рассудке даже не обратил бы внимания — настолько далеки были они от его интересов. На Шанельном рынке любили рассказчиков; каждому хотелось быть баюном, владеть вниманием собутыльников хотя бы краткое время, так что Форама вовсе не сразу удалось заставить слушать себя. Однако мозг пьющего быстро оскудевает, и не у каждого находится, что рассказать, а иной и знает, что у него есть, да не может вспомнить — что же именно. Поэтому всякая интересная тема выслушивается с великим вниманием, а затем обогащенный информацией синюшник спешит на другой конец Рынка, чтобы, влившись в компанию еще не слышавших новости, привлечь к себе внимание и пересказать, пусть перевирая и искажая (обязательно в сторону преувеличения) только что слышанное; а там повторяется то же самое, цепная реакция продолжается, новая информация стремительно разносится по обширной территории Рынка, овладевает если не умами, то тем, что их там заменяет — овладевает царящим там ползучим безумием; на долгое ли время — это уже зависит от важности, значительности разносящихся новостей.

Однако Шанельный рынок не является замкнутым, изолированным организмом. Люди приходят, люди уходят — отпившие свой срок, натешившие душу, разрядившиеся, выскользнувшие из стрессового состояния; меняются приказчики в киосках, за прилавками, под навесами; привозят новый товар, и возчики и грузчики ненадолго вливаются в общую компанию (трудно ходить по грязи, не запачкавшись); жены (или мужья) прибегают порою, чтобы разыскать и умыкнуть возлияющих супругов, спасти хоть ту малую часть, что еще поддается спасению. Словом, каналы связи Шанельки с окружающим миром многочисленны и разветвленны, информация течет по ним, не иссякая, и то, о чем час-полтора назад заговорили под сенью репейников, уже становится достоянием Города. Тут в действие вступает коммуникационная техника (в условиях информационного голода пористая масса общества всасывает в себя новости прямо-таки со свистом), — и вот уже все судачат о том, о чем с утра даже и думать не собирались, и на взволнованное: «Вы слышали?» — следует не менее возбужденный ответ: «Да, конечно! И, говорят...» Вот так все и происходит, и Форама почему-то был совершенно уверен в этом, словно всю жизнь занимался вопросами информации, и именно на такой процесс рассчитывал. А также на то, что информация, переданная таким способом, сразу же расходится не только по горизонтали, но и по вертикали, пронзает все слои общества, потому что люди на Шанельке, как уже сказано, бывают самые разные. Помогала ему и мысль, что в таких условиях найти источник информации бывает практически невозможно: люди помнят, что именно слышали, но от кого — это путается, исчезает из памяти, потому что они успели выслушать все не единожды, а раз пять самое малое, и хронологическая последовательность невозстановимо исчезла, и рассказывавший первым в памяти оказывается вдруг пятым — и поди, докажи. Форама знал, конечно, что если бы добрались до него, то специалисты не стали бы ломать голову, гадая — от кого это пошло; но он знал также, что на такое сообщение наткнутся они не сразу, очень уж не похоже будет то, что они услышат, на действительно случившееся; а ему и не надо было, чтобы все разобрались в проблеме: надо было лишь, чтобы люди поняли, почувствовали, что грозит гибель и что гибель эта связана с вооружением, и что если захо-

теть, катастрофы можно еще избежать — если приняться за дело сегодня, а завтра может уже не хватить времени. Вот это он и внушал, а подробности давал ровно в таком количестве, чтобы собеседники поверили, что он человек серьезный и знающий и не станет зря сотрясать атмосферу от одной лишь хмельной говорливости. Если же распространяющиеся слухи, независимо от степени их точности в деталях, окажут на Высший Круг слишком серьезное впечатление, и будет дана команда — грести всех, то в таком случае как раз может возникнуть шанс выскочить. Риск, конечно, был, но в таком деле без риска нельзя.

Уместным будет уточнить, на что же, собственно, рассчитывал Форама, распространяя слухи. На то, что Высший Круг, убоявшись народного бормотания, изменит свои замыслы? Нет, таким наивным Форама все же не был. Он понимал, что Высший Круг привык и умеет считаться только с реальной силой, моральных запретов для него не существует, поскольку мораль в представлении Круга — не сила, она не стреляет и не взрывается. На то, что население Города и в самом деле станет вдруг силой? Тоже нет: ясно ведь было, что процесс превращения народа в силу, количества в качество, требует времени, организации и людей, способных возглавить ее — но людей таких не было или, во всяком случае, Форама о таких не слыхивал, а вот что времени на такое уже не оставалось — это он знал точно. Так что надежды на то, что Шанельный рынок бросится на штурм казематов Полководца, у Форамы и не возникало даже. Какой же смысл был тогда во всей его затее?

По сути дела, надеялся он и рассчитывал лишь на одно. Побывав на совещании Высшего Круга, он поверил — если не совсем, то на девяносто девять процентов во всяком случае — в то, что и на самом деле существовало то скрытое и невидимое, но всесильное подлинное правительство, от имени и по поручению которого только и могли выступать Гласные, пусть букеты на народных гуляниях и подносили им, а не кому-то другому. В частности, Фораму убедил в этом непродолжительный перерыв в ходе совещания, перерыв непосредственно перед тем, как принять окончательное и бесповоротное решение: такой мог понадобиться лишь для того, чтобы Первый Гласный связался с тем всемогущим, кого он тут представлял, вкратце изложил ему суть дела и получил

указание. Именно — вкратце: на подробное изложение у Гласного не хватило бы времени, перерыв был и на самом деле непродолжителен. Так что — и в этом Форам был уверен — истинные властители (или властитель) дали приказание, не имея еще возможности разобраться как следует в сути дела, не зная всех обстоятельств, в том числе и важнейших. И вот именно просачивание в массы информации об этих важнейших обстоятельствах, властителям, видимо, не известных, должно было, по замыслу Форамы, сыграть ту роль, какой не могла, к сожалению, сыграть ни пресса, ни радио: заставить правителей еще раз, уже наведя должные справки, поразмыслить над положением и немедленно отменить неправильное решение и принять правильное — а правильным было, по убеждению Форамы, лишь то, что предлагал он. Вот ради какой комбинации глотал он одуряющую и весьма противную жидкость, делая вид, что ничего приятнее на свете не знает, и говорил, говорил, говорил, повторял раз, другой, третий, десятый, то сухо, то цветисто, то со множеством принятых здесь оборотов, аргументируя и от науки, и от суеверия, и от чего угодно — лишь бы главное дошло и застряло, хотя бы ненадолго, в памяти окружающих его людей.

А люди вокруг Форамы собрались самые разные. Те двое, к которым он первоначально примкнул, оказались, как он и полагал, не завсегдатаями Рынка. Горга, здоровяк и тамада компании, принадлежал, как выяснилось в процессе более тесного знакомства, к стратегической службе; точнее объяснять он не стал. Никакого удивительного совпадения в этом усмотреть нельзя было: к стратегической службе принадлежал каждый четвертый житель Планеты, это была самая обширная и могучая фирма, концерн, монополия, если угодно, отличавшаяся от промышленных монополий разве что тем, что материальных ценностей она не производила, да и духовных тоже не густо. Горга состоял на активной службе, никаких трагедий у него в жизни не происходило, просто свободный от дежурства день он использовал для отдыха в той форме, которую предпочитал всем остальным — чтобы снять напряжение, неизбежное при суточном сидении перед ответственным пультом. Второй, тот, что постарше, оказался не бродягой вовсе, но лицедеем, актером, у него тоже выдался свободный вечер, наутро предстояла очередная репетиция, — и он

решил отдохнуть на вольном воздухе и зарядиться в меру; меру, разумеется, знала душа, а душа у него была широкая. Так или иначе, уже утром ему предстояло оказаться в обществе, в котором слухи циркулируют, как ток в сверхпроводнике. Такой была исходная компания Форамы; среди первых сверхштатных слушателей нашлись тоже интересные и полезные люди — например, бывший чемпион планеты в какой-то из весовых категорий по ану-га; так назывался национальный вид спорта, суть которого состояла в том, что двое состязающихся, под строгим и нелицеприятным наблюдением судей, поочередно били друг друга в ухо увесистой битой, затянутой, правда, в смягчающую оболочку; противник имел право обороняться при помощи специальной лопаточки, которую полагалось держать в другой руке. Новый компаньон Форамы долго оставался непобежденным, так как одинаково хорошо владел обеими руками и мог, быстро перебрасывая биту и лопаточку из ладони в ладонь, обрушивать на противника оглушающие удары с неожиданной стороны. Как и все участники подобных соревнований, был он давно и безнадежно глух, пользовался слуховым аппаратом, часто терявшим регулировку, и в своем солидном уже возрасте передавал информацию с максимально возможным количеством искажений — однако именно это, как ни странно, вызывало у людей повышенный интерес к теме: ничего не поняв из объяснений глухого ухобойца, слушатели, естественно, спешили на поиски более членораздельного изложения — что и требовалось. На Шанельный рынок экс-чемпион ходил потому, что кто больше выпьет — было тоже своего рода состязанием, а ему для нормальной жизни необходима была высокая, благородная атмосфера соревнования. Был там также отставной администратор среднего ранга, потерпевший жизненное крушение из-за своей чрезмерной доброты: благодарные и отзывчивые клиенты воздавали ему за доброту общепринятым на Планете способом, и настал миг, когда укоренившаяся привычка к алкоголю возобладала над тягой к административной карьере, ибо в карьере всегда были и неясности, и сомнения, и моральные потери, алкоголь же казался ясным и безотказным, в общении с ним все можно было предсказать заранее, а душа бывшего администратора стремилась к ясности. У него сохранились еще знакомства среди бывших коллег, не столько даже у него, сколько у его

жены с подругами жизни этих коллег, жаловавшими ее за то, что ее можно было жалеть (не без легкого злорадства и сознания собственного превосходства) — и там информация тоже расходилась, как круги по воде... Одним словом, народ вокруг Форамы собрался самый пестрый, а ему только этого и нужно было.

Правда, собрались они не сразу, и не сразу начался разговор по делу. Сначала Форамы с компанией успели втроем распить и вторую флягу и запастись еще, снова вскладчину, только на этот раз к будке бегал актер. Когда ближайшее будущее было таким способом обеспечено, настала пора сделать маленький перерыв, чтобы в полной мере ощутить блаженство и насладиться результатами уже сделанного. Горга в своем штатском костюмчике лег на спину, подложив руки под голову, вздохнул от полноты чувств и устремил взгляд ввысь.

— Хорошо-то как! — промолвил он негромко, столько же себе самому, сколько и всем остальным. — Вот так бы и жил всю дорогу...

— Захотел! — счел нужным откликнуться Форамы, в то время как лицедей воскликнул согласно и горячо:

— Да! Вот это — да!

Горга истолковал замечание Форамы неправильно:

— Думаешь, не хватит? Мне уже до пенсионера недалеко, до полной выслуги. Тогда я только так и буду жить.

— Если доживешь.

— Я-то? — ухмыльнулся Горга и не сделал даже ни одного движения, какие принято совершать, чтобы доказать свою силу и мощь — не напряг бицепс, не выкатил грудь, не сжал кулак: и так видно было, что здоровья у него хватит на нескольких. — Я-то доживу...

— Думаешь, не помешают?

— Кто бы это, например?

Форамы вместо ответа ткнул пальцем вверх, где скользили четко различимые в темном небе огоньки.

— А, эти, — легко сказал Горга. — Да нет. Эти не помешают.

— Не осмелятся, что ли? — усмехнулся Форамы.

— Знают, что мы им вложим. И вложим. — Горга помолчал. — Иногда просто-таки хочется, чтобы что-нибудь такое началось. Погулять охота! Я бы с первым же десантом... Ох и дали бы!

— Мы сильнее?

— А черт его знает, — ответил после краткого раздумья Горга. — Но все равно, мы их раскатаем. Зубами загрызем. На одной ненависти. Этих сволочей давно надо придавить, чтобы не воняли.

— Да, вот именно, — сказал актер не очень, правда, уверенно, ибо был он человеком миролюбивым, хотя изображал порой военачальников, а равно героев, пока возраст позволял. — Чтобы не смердели.

— Можно подумать, — осторожно поддел Форама, — что у нас тут везде розами пахнет. Сплошное благоухание.

— Ну, знаете ли... — испугался актер, а Горга повернулся на бок, приподнялся на локте и сказал:

— Да и у нас такое же дерьмо, кто этого не понимает — разве что под другим соусом. Младенцам ясно... Ну и что? Мы-то ведь здесь? Это — наше? Вот мы и будем топтать тех. И потопчем. Если только сунутся. — Он вздохнул. — Только ведь не сунутся.

— А раз не сунутся, — молвил Форама, — зачем их топтать?

— А что делать? Не мы их — они нас. И потом, так жить веселее. Разве нет?

— А если бы ты жил там — тогда готов был бы топтать нас тут?

— Ясное дело. Ты как думал? Так жизнь устроена. На какой стороне оказался, там и сиди, и поступай как положено. Да ни к чему все эти разговоры. Не сунутся они, я говорю. Я знаю.

— А если не они, а мы? — сказал Форама. — Какая разница? Все равно начнется катавасия.

— Мы? — Горга рассмеялся. — Не смейся. Нашим в жизнь не решиться. Дураки они, что ли? Это нам с тобой мало что терять, потому мы и готовы... Что мне? Ну, убьют, не дослужу до пенсии — зато я хоть сейчас приму свою дозу, авансом... Налей, артист, а то во рту сохнет от таких разговоров.

Они выпили еще по одной, утерлись, чуть занюхали актерским соленым огурчиком.

— А может, им тоже терять нечего? — не унимался Форама.

— Им? Много ты знаешь!

— Я не совсем о том. Живут они, конечно, лучше нас (Горга ухмыльнулся). Но терять... Вот если бы они и на самом деле правили...



— Привет! А кто же, по-твоему, нами командует?

— Да вот ведь не зря говорят...

— Знаете, — сказал актер. — Если вы не хотите разбить компанию, найдите, пожалуйста, другую тему для разговора.

— Ладно, — согласился Форам. — Сказочку можно рассказать?

— Давай, — разрешил Горга. — Пусть будет сказочка...

— Вот слушайте...

Тут и пошел разговор, ради которого все было затеяно. Тогда-то и стала собираться постепенно — толпа не толпа, но народу, в общем, вполне достаточно для того, чтобы уроненное слово не упало в пыль, но чтобы его тут же подхватили и, перекатывая из ладони в ладонь, словно раскаленный уголек, передавали друг другу, часто даже не понимая до конца, но главное — внутренний смысл — угадывая и им проникаясь.

—...Вот отчего наш институт взорвался.

— Высокая драма! — пробормотал актер. — Лучшее в жизни, это — высокая драма.

— Совершенно справедливо, — сказал бывший администратор. — Какой-то институт действительно взорвался. Я слышал, об этом сегодня говорили. Хотя официально и не сообщалось.

— Всех бы вас взять, собрать в одно место и взорвать, — сказал Горга и сжал кулаки, словно сминая в комок всех, кого следовало взорвать. — Все придумывали да придумывали, вот — допридумывались. Ну ладно, взорвалась ваша команда, пусть так. А нам-то что? Ты уцелел. За это непременно надо выпить.

— А то нам, — сказал Форам, принимая стакан и бережно держа его на весу, — что это только начало было. Но вскорости начнет рваться и всякое другое. Постепенно, но неотвратно.

— Это бывает, — неизвестно к чему сказал экс-чемпион. — Бывает, да.

— Вот я помню, однажды... — заговорил актер, забыл, что хотел сказать и не закончил. Но его никто и не слушал.

— Да пусть хоть все ваши институты повзрываются, — сказал Горга, — людям на все это наплевать. Нация и не заметит даже. Что мы, без вас не проживем?

— Не только институты, — сказал Форам.

— Ну еще что-нибудь, все равно.

— Вот хотя бы ваши...

— За нас ты не бойся, — перебил его Горга. — У нас не взорвется. Наши вещи не зря пайку едят.

— Тут твои вещи ничего не смогут. Тут — природа, понял? Природа! Ну, как вода замерзает в свой час, когда морозы наступят, и никакие вещи помешать этому не смогут, пусть хоть ночей не спят.

— Ну ладно, — сказал Горга, впрочем, не убежденный. — Что же там еще станет взрываться?

Форама медленно посмотрел на небо.

— Эти? Брось. Они еще только приготовятся пикировать, как мы их — в лапшу. Это я авторитетно говорю. И воспоминания от них не останутся.

— От нас не останется. Потому что взрыв будет совсем другой. Все живое сметет. Остальное сгорит. Камень, правда, останется.

— Врешь, — на всякий случай сказал Горга. — Пугаешь. Такого быть не может. Ты поди, поищи неграмотных. Нас все же кой-чему учили. Есть законы природы. Понял? Природа помимо закона не может.

— Законы, как думаешь, могут меняться? Как у людей, например, меняются,

— То у людей.

— В чем разница?

— Люди живые.

— А природа? Да ты подумай спокойно: зачем мне пугать? Что я — на твои пью, попрошайничаю? За стаканчик вру? Нет, вроде. Думаешь, я обиженный? Я так жил, что дай бог всякому. И вот потому хочу еще жить...

— Да, — сказал Горга. — Это верно. Жить еще охота. И чего нам не жить? — Он широко повел рукой. — Вот так хотя бы... Ладно, наши ведь что-нибудь придумают. Наверняка. А?

— Придумать-то они уже придумали. Только не то, что нужно. Они решили: раз все равно пропадать, надо стукнуть по тем.

— А что? — сказал Горга.

— То, что скорее всего мы при этом погорим сами. Не это надо делать. Надо поскорей направить все эти бомбоносцы на солнце или еще подальше — и пусть там сгорят.

— Мы направим. Ну а те?

— А им тоже не лучше. И ведь есть же какая-то связь с ними. Значит, можно объяснить им, договориться...

— А, — сказал Горга и махнул рукой. — Связь-то есть. Тыщу лет болтают. Договариваются. И все никак не договорятся. И сейчас лучше не станет.

— Сейчас дело куда серьезнее...

— Давай лучше выпьем, пока живы. Эй, не напирайте, не топчитесь по живому...

— Договориться! — сказал актер. — Диалог — это прекрасно. Я посоветуюсь с нашим старшим. Он вхож...

— Вот чего-то у меня эта штука все время портится, — сказал экс-чемпион, дуя на слуховую капсулу. — Не от твоего ли этого, а? От того, о чем ты тут рассказывал. Послушай, — вдруг встревожился он, — а она не рванет у меня в ухе? Я бы выкинул, понимаешь, но без нее я и вовсе не слышу. И зубы у меня золотые, с ними как?..

— Зря ты меня расстроил, — сказал Горга, — а я и поспорить с тобою по-настоящему не могу. Я — что, мое дело — убить красиво и аккуратно, это я умею...

Уже совсем стемнело, и огоньки на небе казались яркими, как никогда еще; и люди на Рынке теперь поглядывали на них не как обычно, с равнодушием — а опасно, и становилось людям зябко и неудобно, хотя вечер был теплым, и мягкий покой шел от земли...

## Глава седьмая

Погруженная в мысли, Мин Алика даже не заметила, как кончился так называемый парк и начался пустырь. Это произошло постепенно: все меньше попадалось деревьев, зато все больше — сочного, кустистого бурьяна; покрытая многоугольными плитками, аллея оборвалась, дальше шла убитая множеством ног плотная земля. Все больше людей встречалось, и в одиночку, и группами; но уже стемнело, и она не обращала на них внимания, хотя и чувствовала, что к ней приглядываются. Однако ее не трогали, а ей самой, занятой мыслями новыми для нее, необычными и оттого столь привлекательными, что расставаться с ними не хотелось даже на краткий миг, — ей здесь сейчас было куда приятней, чем на гремящих магистралях.

Ночные слова Форамы, чистые и прекрасные, все еще звучали в Алике; потом что-то стало заглушать, забивать их, в их голубой поток начали врываться какие-то другие, неуместные, грубые — как если бы вдруг чужая станция заговорила на той же самой волне, незаконно и бескультурно. Раз и другой Мин Алика досадливо тряхнула головой, но помехи не отцеплялись; тогда она пришла в себя — и поняла, что если первые слова, нежные и проникновенные, были воскрешены ее памятью, то вторые, — как показалось ей, черные — звучали в реальности; доступ же к ее сознанию слова нашли потому, что произносил их тот же голос — голос Форамы. Голос доносился откуда-то из собравшейся по соседству довольно большой толпы. Алика решительно свернула с тропы и стала проталкиваться, нимало не удивленная: она ведь знала, что он где-то здесь, затем сюда и шла, чтобы увидеть его, взять, увести. На нее почти не обращали внимания, только дышали перегаром. Форамы был тут, она узнала его и в сгустившемся мраке; уже готова была шагнуть, чтобы, отстранив последних мешавших, оказаться рядом с ним. Форамы в этот миг, подняв глаза, увидел ее — и лицо его стало меняться, она ясно видела, как менялось оно на глазах, и он, умолкнув, начал было приподниматься с земли... Тут с двух сторон ее сразу крепко взяли за руки, она инстинктивно напряглась, но ее держали железно, и чей-то голос шепнул в самое ухо: «Без глупостей, времени не осталось, транспорт вот-вот уйдет». Не грубо, но неотвратимо ее повлекли назад, между нею и Форамой вновь образовалась людская перемилька, она больше не видела его и не успела еще решить — не воспротивиться ли всерьез? — как ее уже впихнули в маленькую лодку, неслышно опустившуюся только что прямо на тропу; последним, что она услышала здесь, было сказанное кем-то — без удивления, впрочем: «Гляди-ка, бабу замели», — и парк вместе с Шанельным рынком провалились вниз, и только ветер засвистел за полукруглыми стеклами.

\* \* \*

Тем самым стрелочником, который, невзирая на свое скромное положение в служебной иерархии, может порой оказаться виновником крупной катастрофы, явился в данном случае некий представитель Стратегической службы, носивший невысокое звание штаб-корнета, что

соответствовало восьмому уровню в любой другой области деятельности. Занимал он должность Главного дежурного оператора в центральном посту Полководца, и в обязанности его входило — в часы дежурства следить за состоянием громадного агрегата, вводить в него все, что прикажут. Составлял программы для Полководца, разумеется, не он, и не он решал, что вводить, а что — погодить; однако если какая-либо из программ вызывала у Полководца нежелательную реакцию, иными словами, заключала в себе какие-то внутренние противоречия, либо противоречила какой-то из ранее введенных программ, то именно дежурный оператор должен был принять меры к тому, чтобы программа была своевременно исправлена, а до того — чтобы кто-то не попытался все же насильно втиснуть ее в машину: Полководец, как и всякое существо с высоким интеллектом, был весьма нервен, и его реакции на такого рода ошибки часто являлись совершенно неадекватными — иными словами, гигантское устройство начинало психовать по пустякам, как характеризовали это сами операторы в своих разговорах. Конечно, сравнение со стрелочником, использованное здесь, в достаточной мере условно, но все же оно дает представление о положении и роли штаб-корнета Хомуры Ди в могучей и разветвленной системе обороны Планеты.

Именно штаб-корнет Хомура Ди находился на дежурстве, когда на обширном пульте Полководца размеренная и привычная до полной незаметности беззвучная перекличка индикаторов вдруг замедлилась, потом и совсем расстроилась, одна группа их разом погасла, другая и третья задрожали быстро-быстро, замерцали, как больное сердце, тут же включились неприятно-багровые тревожные сигналы и негромко, прерывисто загудел зуммер. Все это должно было обратить внимание людей на поведение машины, отнюдь не вмешиваясь в него, и предложить им приготовиться к разговору с Полководцем. Ничего подобного штаб-корнет не ожидал, но, как, квалифицированный специалист с немалым стажем, был в любой момент готов к таким событиям. Он еще не успел ничего подумать, как рука его сама собой протянулась к широкой клавише, над которой было написано: «Разговор». После того как он нажал, жужжание сделалось тише, багровые лампы тоже замигали вполне накала, что означало, что причина волнения машины не устранена,

но воздействие ее временно прекращено. После этого Хо-мура Ди неожиданно ласковым голосом спросил:

— Ну, что там, старина? Что тебе так не понравилось?

Тон его был ласковым потому, что штаб-корнет, как и все его товарищи по службе, давно уже испытывал к громадному и мощнейшему устройству, которое они обслуживали, странную нежность — подобие той, какую взрослые испытывают к детям, пусть очень развитым и способным, быть может, даже гениальным — но все же детям, имеющим крайне приблизительное, а еще вернее — отдаленное представление о жизни со всеми ее простыми сложностями. И нежность эта сейчас не поколебалась даже оттого, что дежурить Хомура Ди оставалось не более получаса, и естественным было бы желать, чтобы конец смены прошел без всяких осложнений и чтобы, сдав вахту, можно было спокойно отправиться по своим делам, а свои дела бывают даже у дежурных операторов, носящих звание штаб-корнета. Помимо эмоциональной причины была и другая: Полководец, чья невероятная сложность и способность к саморегулированию давно уже сделали невозможным не только полный контроль, но и сколько-нибудь исчерпывающее представление о его внутреннем мире, — Полководец, как знать, на неласковый тон мог бы и обидеться, а этого никому из дежурных не хотелось: невелика честь — обидеть ребенка.

— Тебя что-то обеспокоило?

Полководец ответил сразу же:

— Это ты, Хомура? Слушай, тут какая-то глупость, тридцать три собачьих хвоста в глотку.

Речь, как известно, далеко не самый точный способ изложения чего бы там ни было: математический аппарат куда надежнее. Полководец в основной своей работе обходился, естественно, без слов; однако пользоваться речью он тоже мог. Такая способность была ему дана прежде всего для переговоров с высокими чинами, которые в математических символах, в конце концов, не были обязаны разбираться в той же степени, что программисты или операторы. Однако чаще всего этой способностью машины пользовалось не начальство, а именно операторы — чтобы несколькими словами скрасить свое одиночество (через трое суток на четвертые), когда они оказывались запертыми в упрятанном в недра планеты каземате наедине с пультом. И Полководец охотно раз-

говаривал с ними — на том, кстати, жаргоне, сильно отдававшем казармой, на котором сами операторы изъяснялись на службе и который у них же был Полководцем заимствован. Способности Полководца к анализу всего на свете позволяли ему узнавать собеседников не только по голосу, но и по индивидуальной манере разговора, хотя и сильно пригашенной жаргоном.

— Глупость? Ну, это бывает. Расскажи, малыш, в чем там дело.

— Дело в информации, чтобы ей сгореть. Ты тут дал мне задачу, она мне очень нравится, мне давно хотелось чего-нибудь такого: широкие действия с подключением армады, с десантными операциями на втором этапе... Да ты сам знаешь, одним словом, — Большая игра.

— Да, помню эту программу. Что же тебе в ней не по вкусу?

— Я стал суммировать информацию. Все сходится по всем каналам, кроме одного.

— Рассказывай.

— Это канал общественного мнения. Понимаешь, группа датчиков стала давать совсем новую информацию.

— По линии готовности противника?

— Нет, это совсем другие каналы, неужели ты не помнишь. Информация о противнике по общественному каналу оценивается на уровне слухов, по самому низкому коэффициенту. Не угадал, Хомура. Попробуй еще.

Полководец любил такие игры. И операторов они тоже развлекали.

— Информация об отношении масс к предстоящим действиям? — подумал Хомура вслух. — Вряд ли. Об этом никто ничего не знает, работает высшая степень секретности.

— Ты опять не угадал. Скажи, что сдаешься, потому что у нас нет времени.

— Ты победил, малыш, я сдаюсь. Говори.

— Информация относительно исполнителей. Бомбосцев, охотников и прочего. Им якобы грозят взрывы, не зависящие от моих расчетов и команд. Дается и приблизительное время, и оно меньше того, какое нужно мне для проведения всей игры. Ты ведь понимаешь, я не могу строить расчеты на исполнителях, которые в любой момент могут выйти из-под контроля. Надо проверить информацию, Хомура. Если она верна, вся программа

теряет смысл. Тогда придется уложиться в меньшее время, а это значит, что игра возможна не в полном объеме, а лишь частично. Поэтому нужно определить в программе, что нужно сделать обязательно, а от чего можно отказаться.

— Проверить?

— Ты ведь знаешь: у меня нет способов проверки этих каналов.

— Знаю. Послушай, малыш, а если просто пренебречь этой информацией? Какой коэффициент достоверности она у тебя получила?

— Близкий к единице.

— Но может быть, это тоже лишь слухи...

— Маловероятно, Хомура. Понимаешь, информация очень конкретна, черт бы ее побрал. И частично совпадает с другой, которую я получил по общему каналу. Меня удивляет только, что канал Верхней информации не дал ничего похожего. Ты ведь знаешь: Верхняя информация не подлежит сомнению, ее коэффициент достоверности — всегда единица. Но тут получается явное противоречие. Понимаешь, я проверил эту новую информацию на логичность, на научность — проверил всеми моими способами. И ничто не опровергает ее достоверности. Информация настолько серьезна, что отбросить ее я не могу. Но не могу и автоматически принять: она противоречит Верхней. Если противоречие не снимется, вся задача попадет в категорию не имеющих решения, а я, — Хомуре показалось, что в голосе Полководца зазвучали капризные нотки, хотя на деле этого, конечно, быть не могло, — я не умею решать задачи, не имеющие решения!

— Постой, малыш, еще рано бить тревогу... Значит, все твои проверки ничего не смогли опровергнуть?

— Когда я проверял на научность, мне показалось... Если бы я был человеком, как ты, я смог бы от нее отказаться. Там имеются величины, которыми вы не оперируете: сдвиг фундаментальных законов. Но математически все точно. Я не могу отвергнуть информацию только потому, что она не логична или не достоверна для вас, если для меня она и логична, и достоверна. Разберись, Хомура, откуда исходит информация. Найди источник. Он может мне понадобится.

— Я разберусь. — Хомуре и в самом деле стало жалко обиженного ребенка, заполнявшего здесь, в недрах скаль-



ного массива, тысячи кубометров пространства своими кристаллами. — Вся беда в том, что по этим каналам у нас нет обратной связи. Ничего, я все узнаю. Вот сменит меня флаг-корнет Лекона, и я сразу же отправлюсь. Дай мне координаты датчиков.

Хомура, действительно, решил пойти сам. Конечно, следовало доложить обо всем по команде, и пусть бы начальство принимало меры. Но штаб-корнет отлично знал, что начальство, прежде чем действовать, долго разбиралось бы — а не просто ли это блажь Полководца, и не лучше ли прикрикнуть на него, чем гнать людей куда-то и терять время. Кроме того, еще вопрос — удастся ли начальству так легко разыскать источник информации. Лучше уж пойти самому. В конце концов, впереди три свободных дня, отоспаться Хомура успеет.

— Дай мне координаты датчиков, малыш.

— Вот они. Семнадцать тридцать семь, тридцать восемь... до восемнадцать ноль пять включительно.

— Ого, какой букет! Что это? Институты?

— Откуда мне знать. Проверь, Хомура.

— Обязательно. А пока я не вернусь — развлекись последним первенством по шахматам, там есть любопытные места, где хиллак... одним словом, к Большой игре пока не возвращайся.

— Не буду. Только не упусти из виду, Хомура: если информация подтвердится, надо будет проверить и Верхнюю. Я сам проверить ее не могу. Придется тебе. Иначе я вообще не стану ничего делать.

Хомура Ди усмехнулся. Проверить Верхнюю информацию, ах ты, малыш! Есть и другие способы самоубийства, менее болезненные. Кто же позволит, чтобы Верхнюю информацию подвергали сомнению? А вот с неожиданной, действительно, надо разобраться. Вернее всего это, конечно, бред. Логический, правдоподобный, но бред. Потому что если не бред, то... — Хомура почувствовал, что у него заныло под ложечкой. — Ладно, увидим. Что же там все-таки за источник? — Он взял реестр датчиков, перелистал страницы. — Вот. Ничего себе... — Штаб-корнет поднял брови и чуть не рассмеялся вслух, хотя вообще-то не имел такой привычки — служба к этому не располагала. Шанельный рынок! Империя братьев во спирту! Ничего не скажешь — надежный источник!.. — Он беззвучно посмеялся еще с минуту, потом вдруг стал серьезным. Однако если вспомнить, сколько

верной информации на его памяти поступило именно оттуда, то, пожалуй, так просто не отмахнешься. Придется ехать. И немедля: задерживается разработка Большой игры. Большой праздник задерживается, как говорит малыш. Где там наш Лекона?

Предупреждающе прозвонила единственная в каземе дверь. А вот и флаг-корнет. Ни секунды опоздания.

Через десять минут штаб-корнет Хомура Ди направлялся туда, где, не так уж близко, но все же в пределах досягаемости, цвели пыльные репейники Шанельного рынка.

\* \* \*

Направлялся туда, кстати, не он один.

В другом ведомстве, тоже систематически получавшем информацию, самую разную и по самым различным каналам, сведения относительно неуправляемых взрывов тоже были получены. Разница была в том, что если Хомура об этом услышал впервые, то в другом ведомстве гипотеза эта была уже известна, и знали там также и то, от кого именно эти сведения могли исходить.

— Да нет, — вначале пожал плечами один из тех, кому следовало быстро принять необходимые меры. — Он же погиб.

— Погиб, — возразил другой вещей, более высокого звания, — это когда тело лежит перед нами и можно провести опознание. Но тела нет, и опознание провести мы не можем, значит, ученого следовало считать пребывающим в живых, даже если бы не эти сигналы. А теперь-то и подавно.

— Что ж, видимо, надо брать?

— И немедленно.

— Сетью?

— Думаю, нет необходимости. Индивидуально взять. И еще, может быть, одного-другого: слухи ведь пошли вширь. Но тихо. Чтобы никто не заподозрил, что этой болтовне придается какое-то значение. И брать, конечно, не по этому поводу. Драка, кража — что-нибудь такое. Возьмите с собой пострадавшего, лучше даже двух. Если есть под рукой женщина — захватите ее: пусть разыграет сценку, это будет, пожалуй, самое лучшее. Только возьмите такую, чтобы поверили, что на нее можно кинуться. Главное — верность деталей, тогда никто не усомнится и в главном.

— Понял. Разрешите?..

— Действуйте. И сразу же сообщите мне.

И вскоре небольшая группа на воздушном катере пустилась в путь.

Однако пока группа собиралась, прошло все же некоторое время. Надо было подготовить и потерпевших, и в особенности женщину: не в мундире же ей было лететь! И лодка у них была хотя и хорошая, но не такая ходкая, как та, на которой летел штаб-корнет Хомура: военные лодки всегда чуть лучше всех прочих, тут уж ничего не попишешь. Так что на Шанельном рынке штаб-корнет оказался первым.

\* \* \*

Скорее всего, это только показалось, хмель подействовал: что среди охватившей их плотным кольцом массы слушателей появилась вдруг на мгновение Мин Алика — появилась и тут же исчезла. Привиделось, конечно; однако же так четко и убедительно, что Форам инстинктивно рванулся ей навстречу, и даже когда видение исчезло, он не сразу опустилсЯ на место, но продолжал вглядываться, вытянув шею, словно сквозь толпу можно было что-то увидеть. Сердце прыгало. Перехватило дыхание. И все из-за того, что ему показалось, почудилось на миг, будто он ее увидел! Ну и ну! Такого за собой Форам прежде не знал.

И, конечно, ее он не увидел. Зато заметил другое: довольно решительно расталкивая собравшихся, к нему пробирался какой-то человек, вовсе не напоминавший нормального клиента Шанельки. Начать с того, что был он в мундире — даже переодеться не потрудился, только знаки различия снял; из вежливости скорее, из уважения к мундиру, чем из конкретной надобности. Он продирался, не сводя глаз с Форамы, а физик, в свою очередь, неотрывно глядел на него, соображая. За ним? Сумрак мешал различить цвет мундира, но все же, кажется, то был стратег, а не вещий, а стратег вряд ли взял бы на себя миссию ловчего. Что еще можно было понять за считанные секунды? Звания спешивший был, пожалуй, небольшого: иначе не сам бы проталкивался, а перед ним расчищали бы путь. Звание, однако, еще не все: когда, допустим, военачальник направляется к месту предстоящего сражения, самая большая ответственность лежит не на нем, а на его водителе или пилоте: не до-

везет — и командовать сражением придется кому-то другому, а от этого может зависеть и исход битвы и всей кампании. Лицо у приближающегося нормальное, на алкаша не похож — значит, не ради даровой выпивки приехал стратег в полудикое место. Чего же ему? — успел еще подумать про себя Форама, и вдруг как-то сразу понял и поверил, что наткнулся на то, ради чего он здесь оказался, ради чего весь огород городил: человек, которого не просто заинтересовало то, что он услышал, но заинтересовало по делу, да и услышал он это явно не здесь, а где-то в другом месте: дошла до него, следовательно, расширяющаяся волна информации. И Форама напрягся, стараясь усилием воли прогнать хмель, уже основательно круживший голову, — прогнать и быть готовым к решающему, быть может, разговору — хотя Форама и не мог представить, как же сможет помочь делу этот не очень значительный, судя по всему, стратег.

Штаб-корнет же, глядя неотрывно на Фораму, пытался на ходу понять, в каком тот состоянии: может разговаривать — или поплывет, размякнет, и придется сперва приводить его в чувство, хотя бы к минимуму соображения, а потом уже говорить о деле. Нет, кажется, мужик держался ничего, а странно: судя по пустым полуфлягам, аккуратно сложенным в сторонке, выпито было немало. Да и люди вокруг были явно под хорошим градусом — здоровенный, например, что поднялся вдруг с земли, когда Хомура почти уже рядом оказался с Форамой, и даже успел вспомнить не только, что человека этого он раньше уже встречал, но даже — где и когда встречал он Фораму Ро. Здоровенный широко распахнул громадные руки и воззвал: «Собрать! Ветеран! Милости прошу!..» Этому Хомура лишь резко бросил: «Ведите себя пристойно, штык-капрал!» — и тот захлопнул рот и послушно опустил на траву, так и не выпуская из пальцев налитого стаканчика, что он гостеприимно протягивал вновь пришедшему. Штаб-корнет подошел наконец к Фораме, протянул руку. Поздоровались.

— Видимо, — сказал Хомура, — источник разговоров — вы.

— Если вы имеете в виду...

— Да, я имею в виду именно это.

Сказано было, в общем, не очень-то понятно, но Форама был в тот миг слишком занят своими мыслями, чтобы обратить внимание на тонкости. Занят был тем,

что пытался собрать свои мысли воедино. Наконец, вздохнул:

— Значит, так (не мог Форама обойтись без ненужных слов перед продолжительными монологами, старался, но не мог). Не знаю, каков уровень вашей подготовки...

— Когда вы кончали, я был на втором курсе, — отвегил штаб-корнет спокойно.

— Прекрасно. А сейчас... у стратегов? Каким же образом?

— Так мне понравилось.

— Ну да, конечно... Чем же вы там заняты? Почему вас заинтересовало?..

— Вы рассказывайте. Потом вам станет ясно.

— Ну, тогда слушайте...

Хомура улыбнулся:

— Здесь нелегко услышать хоть что-то.

Он сделал едва заметное движение головой, и как-то сразу стало ясно, что всерьез разговаривать среди развеселой толпы стратег не собирается. Но все же он счел нужным пояснить:

— Я привык думать в тишине.

— Я полагал, что стратеги, наоборот... Громы сражений, и все такое.

— Я оператор Полководца.

— Как здорово! — вырвалось невольно у Форама. — Как здорово! Тогда в самом деле пойдемте, поищем местечко.

— Штык-капрал! — сказал Хомура. — Если кто увяжется, вы его...

Горга кивнул.

Сейчас все население окружающих бурьянов стянулось к одному центру, и найти свободное местечко было нетрудно; однако прежде чем перейти к делу, штаб-корнет внимательно осмотрелся, даже повозился с извлеченным из нагрудного кармана плоским приборчиком. «Не хочу смущать машину, — не очень понятно проговорил он. — Потом, если понадобится, четко сформулируем и дадим». То ли он полагал, что Форама лучше информирован о чем-то, чем это было на самом деле, то ли просто не счел нужным объяснять — до поры, до времени. Наконец, они устроились и Форама стал рассказывать, а штаб-корнет — слушать. Зная уровень собеседника, Форама не стремился популяризировать, поэтому рассказ

его получился куда короче, чем для профанов. Выслушав штаб-корнет помолчал.

— Что же, по-вашему, можно предпринять?

— Откровенно говоря, сейчас я надеюсь, что вы сами дадите мне совет. Судя по должности, вы имеете доступ к большому начальству...

— Не совсем так. Вернее — что считать начальством. По сути, высшая власть и есть — Полководец. Но это не просто...

— Мне кажется, сейчас существует лишь один выход.

— Именно?

— Я испытываю глубокое внутреннее доверие к тому, что в разговорах называют подлинным правительством, или всемогущими. Потому что если они, принимая на себя всю тяжесть решений и ответственности по самым сложным проблемам, не пользуются всеми преимуществами, какие могло бы давать их положение, — значит, они по-настоящему заинтересованы в судьбах планеты, а не своей лично. Их деятельность, по моему, сродни подвижничеству. И вот я полагаю, что если дать им всю полноту информации, которой мы сегодня располагаем, именно мы с вами...

— И Высший Круг.

— Они не захотели всерьез разобраться в проблеме. Ухватились за то, что, как им показалось, лежит на поверхности...

— Допустим. И что же?

— Если объяснить всемогущим всю опасность положения, они предпримут что-то, чтобы спасти Планету, людей...

— Рассуждаете вы логично.

— Вы мне поможете?

— Нет.

— Почему? Хотя что-нибудь ведь в ваших силах?

— В моих силах, мар, — разочаровать вас.

— Именно?

Вместо ответа Хомура обернулся, поискал глазами и быстро нашел массивную фигуру Горги — она возвышалась над кустами метрах в двадцати. Штаб-корнет громко, командно крикнул:

— Штык-капрал! Ко мне бегом!

Горга подбежал, вытянулся в струнку. Мятый костюмчик мешал ему выглядеть внушительно, и все же готовность к действию вызвала уважение.

— Я помню вас, штык-капрал, — сказал Хомура. — Вы несете службу в подразделении, обслуживающем электронные устройства в резиденции Высшего Круга.

— Так точно, ваша смелость. Состою в должности дежурного за контрольным пультом. Техник первой категории, ваша смелость.

— В таком случае, вы знаете, какое устройство находится в малом, рабочем кабинете Первого Гласного?

Горга ухмыльнулся.

— Так точно, знаю. Портативный вычислитель марки КО-32, предыдущего поколения, в возрасте около двадцати лет.

— Наверное, вам частенько приходится с ним возиться?

— Уж раз в два дня — непременно, ваша смелость. Старое барахло, то и дело выходит из строя.

— А что еще там есть по вашей части?

— В кабинете? Все обычное, но лучшего качества. Информатор, коммуникатор, индикаторы безопасности...

— Достаточно, штык-капрал, благодарю. Возвращайтесь на пост.

Горга на мгновение вытянулся еще больше, четко, не смотря на изрядное количество выпитого, повернулся и бегом направился к своему кусту.

— Ну вот, дорогой метр, — сказал Хомура Ди. — Разочарование заключается в том, что никакого невидимого правительства нет.

— Не верю. При мне Первый Гласный — даже он! — прервал совещание, чтобы выйти и посоветоваться или даже получить указание...

— И вы решили, что советуется он с главой всемогущих, верно? — Штаб-корнет улыбнулся немного устало, как взрослый, вынужденный выслушивать наивные вопросы и мнения малого ребенка и отвечать на них применительно к уровню его развития. — На деле же он советовался вот с тем самым вычислителем, о котором нам только что доложил штык-капрал. Это — единственное создание, если угодно, которому он доверяет. Вычислитель того класса, какие стоят на первых курсах наших колледжей, только в колледжах стоят современные модели, куда более производительные. Вот вам и источник его мудрости и категорических решений — на уровне игры в морской бой...

— Не могу поверить, — покачал головой Форам, стараясь остаться спокойным: слишком уж нелепым было услышанное, нелепым и страшным. Если судьбы Планеты решаются на школьном вычислителе, то это уж... это просто... черт знает чего можно было ожидать от этого. — Я допускаю, и здесь нет ничего дурного... если перед принятием важного решения надо навести какие-то справки, получить дополнительную информацию... Но ведь существует же мощная служба информации, и есть такие комплексы, как Политик, как ваш Полководец хотя бы...

Штаб-корнет невесело улыбнулся.

— Есть, конечно. Не забудьте только: все это — устройства высшей категории сложности. Их обслуживают квалифицированные программисты и операторы, через которых должны пройти все ваши вопросы, а следовательно — ваши мысли, намерения, планы...

— Неужели нельзя подобрать таких специалистов, о которых можно было бы не беспокоиться...

— Что они не продадутся вражеской разведке? Можно, конечно, но дело ведь не в этом. Ваши вопросы, ваши мысли, ваши замыслы точнее, чем что-либо другое, дают представление о вашей личности во всей ее многогранности. Вернее, позволяют другим составить такое представление. Если вы действительно личность, да еще с большой буквы, вам это не страшно, даже наоборот. А если нет? Если нет, вы, естественно, будете стараться, чтобы подлинного уровня ваших познаний, силы вашего мышления, характера интересов и стремлений не знал никто. И, следовательно, вы не потерпите никаких посредников между вами и тем, кому вы вынуждены раскрыть все это, в данном случае — электронным устройствам. Если бы го-мар, о котором мы говорим, сам мог справиться с пультом Политика, он, возможно, консультировался бы с этим сверхустройством — изобрел бы какой-нибудь личный шифр, что ли, понятный лишь ему и машине, чтобы защититься от постороннего любопытства... Но ведь искусству работать с такими устройствами надо долго и серьезно учиться, а на это в Высшем Круге времени никогда не хватает. Вот и приходится нашему другу оставаться в сфере своих собственных возможностей, а они, как вы уже поняли, ограничиваются именно школьным вычислителем, и именно таким, какой



был в употреблении, когда Первый Гласный сам еще учился в колледже — потому что тогда, студентом, он эту премудрость освоил, и еще потому, что компьютер этот рассчитан именно на возможности школьника и отвечает на вопрос, заданный непосредственно голосом, а управлять им можно при помощи четырех клавиш. Так что никакой возни. Другое дело, что и ответы это устройство дает тоже в пределах возможностей и потребностей начинающих студиозусов... Словом — высокая простота.

Форама сидел, опустив голову; не было сил, даже чтобы взглянуть на собеседника. Единственный выход, какой мерещился ему, оказался тупиком, в раке святого хранились одни лишь опилки. Вера рухнула; но черт с ней, с верой, главным было другое: больше никаких путей к спасению Планеты от глупой гибели он не видел. Или что-то все-таки было?

— Послушайте! — встрепенулся Форама. — А этот... вычислитель нельзя настроить так, чтобы он выдал Первому такой ответ, который заставил бы принять нужное решение? Наш друг Горга... Он запнулся, видя, как Хомура качает головой.

— Нет, метр. Если бы речь шла об устройстве класса Полководца или Политика, устройстве почти в буквальном смысле слова мыслящем, тогда... А со школьной машинкой подобное невозможно, слишком она примитивна. Можно лишь испортить ее — и тогда тот же Горга будет вынужден опять наладить схемы, и все останется по-старому.

— Значит, что же? — спросил Форама. — Значит, остается — спокойно умереть? Но ведь и умереть-то спокойно не удастся: война — какой уж тут покой... — Тут он снова поднял голову: — Постойте-ка! Но ведь война никак не может пройти мимо Полководца! И если вы работаете с ним, как я понял, и если, как вы только что сказали, устройства такого класса уже почти что мыслят, то может быть тут есть перспектива?..

Штаб-корнет помолчал. Наверное, ему нетрудно было бы ответить «да» или «нет», возможно или невозможно как-то воздействовать на поведение Полководца, и — согласен сам он, Хомура, сделать такую попытку или нет. Однако все, о чем они с Форамой говорили до сих пор, по существу, не относилось к военной области и не являлось прямым нарушением присяги; и сюда, на Рынок, штаб-корнет приехал лишь затем, чтобы помочь малышу

выполнить его задачу, а вовсе не помешать этому. Но все же Хомура был по образованию физик, и то, о чем говорил Форама, было для Хомуры понятным и всерьез его испугало. То, к чему Форама подошел сейчас, лежало уже по ту сторону черты. Наверное, переступить через эту черту было нелегко; так что в конце концов штаб-корнет ответил не прямо:

— Видите ли, мар... Предположим, что Полководец действительно получил задание такого рода. Предположим... Понимаете, он может решать задачи более благородные или менее, эмоциональная сторона его не волнует, но когда он решает, он может делать это только честно: не ошибаться — ведь это и значит — делать честно, на основе истинной информации. Поэтому он получает информацию, и не из одного, а из трех источников. Один источник может порой, намеренно или нет, дать ошибочные сведения, несколько же источников позволяют проверять и сравнивать, в результате чего ошибочная информация как правило отбрасывается. В нашем случае Полководец мог бы пользоваться тремя источниками информации. Не забудьте, все исходные данные заложены в нем изначально, речь идет только о коррективах и вновь возникающих обстоятельствах... Первый источник — официальный, мы называем его Верхней информацией. Второй — каналы разведки. А третий, каким бы смешным это вам ни показалось — это все, что циркулирует в данный момент среди самых различных слоев населения — разговоры, слухи, пересуды, вплоть до анекдотов; население, если брать его как единое целое, всегда обладает громадным объемом верной информации. Вы знаете, сколько микрофонов, дающих информацию непосредственно Полководцу, установлено только в нашем участке Города?

— Понятия не имею, — пожал плечами Форама.

— Около двух миллионов.

— Господи! — схватился Форама за голову.

— Не волнуйтесь: это микрофоны Полководца, а он ни с кем информацией не делится. Мы, стратеги, не любим, когда в нашу работу кто-то вмешивается. У нас и без того достаточно забот.

— Разумеется... — пробормотал Форама. — Тут вы совершенно правы...

— Сейчас вы можете быть вообще совершенно спокойны: я проверил, в пределах чувствительности микро-

фонов здесь нет ни одного. А вот там, где вы устроили это народное собрание, их не менее двух, а может, и больше.

— Я и не собирался скрывать. Напротив...

— Вот именно. Все, что вы тут говорили, немедленно пошло в приемники информации. И в машине произошла заминка. Разведывательный канал по этому поводу не дает ничего. Так что до сих пор Полководец пользовался лишь Верхней информацией, и все было в порядке. Но вот начали поступать ваши данные. Возникла ситуация: один канал информации молчит, два противоречат друг другу, причем обе информации машина оценила примерно одинаково. В такой ситуации нужно вмешательство человека, чтобы помочь Полководцу предпочесть одну информацию другой и соответственно действовать.

— Поэтому вы и бросились сюда?

— Прежде всего мы отложили решение заданной программы. Потому что если бы Полководец продолжал над ней работать, — а работа эта состояла бы в бесконечных попытках предпочесть одну информацию другой, — это привело бы лишь к возникновению у малыша серьезных неврозов.

— У малыша? Вы относитесь к нему с явной симпатией.

— Человек привыкает даже к примитивному механизму, если общается с ним постоянно, начинает относиться к нему как к собаке, как к одушевленному существу; Полководец же — несомненно, интеллект, и о его кристаллической структуре со временем просто забываешь. Он этаким гениальный ребенок, понимаете? Ребенок, которому доверено распоряжаться жизнью и смертью, но все-таки ребенок. И невольно начинаешь заботиться о нем и беречь его. А мы, солдаты, привыкли относиться к детям бережно. И мне не хочется, чтобы у него возникали неврозы или что-то подобное. Тем более, что если он разнервничается — кто знает, как это проявится практически?

— Что же вы предпримете теперь?

Если Форам ожидает ясного и точного ответа, то он ошибался. Штаб-корнет долго молчал. Потом со вздохом произнес:

— Откровенно говоря, сейчас никто не смог бы дать вам готовый ответ. Понимаете, я могу подтвердить вашу информацию. Но этого будет мало.

— Почему же? И ребенку ведь ясно: если одна информация верна, то другая, противоречащая ей, ложна!

— Но та, другая информация — Верхняя! А Верхняя информация уже заранее считается верной, понимаете? Так сказать, несет на себе печать истины. И поскольку она не подлежит проверке людьми, мы не можем лишь сообщить Полководцу, что она не подтверждается: он этого просто не примет, отбросит. Таким образом, если мы только подтвердим вашу, то машина, как она уже предупреждала, пойдет в конце концов по пути упрощения задачи. То есть будет искать какие-то военные ходы, которые уложились бы в более краткий срок, в то время, каким мы еще можем располагать до начала взрывов.

— Но мы ведь не знаем этого времени! Послушайте, а если вообще выключить вашего ребенка из игры и действовать в обход его?

— Вам, человеку не военному, такая мысль, может быть, и простительна. Но вы ведь хотите зашвырнуть бомбоносцы на солнце или еще подальше? Вот; а любыми действиями этих милых снарядов распоряжается только Полководец — и никто другой. И никто, кроме него, не сможет сдвинуть их с орбиты даже на миллиметр. Понимаете теперь, что его нужно сохранить в полном порядке, не позволяя ему ни нервничать, ни еще чего-либо в этом роде...

— М-да...

— А если позволить ему решать задачу в сокращенном варианте, то все может начаться буквально наутро; так что тогда у вас не останется и минимального времени для того, чтобы предотвратить катастрофу.

— Только у меня? А у вас?

— У меня — свой долг, свои обязанности. В частности — сохранить Полководца в здравом рассудке. А для этого необходимо нарушить возникшее равновесие информации.

— Каким же образом?

Хомура невесело усмехнулся.

— Пока я вижу только один выход. Вам он не понравится.

Форама нахмурился, догадываясь.

— Вы ведь не хотите сказать, что...

— Именно, дорогой мар. Чтобы сохранить Полководца, мы можем сделать лишь одно: опровергнуть вашу информацию. Та, другая, опровержению не подлежит...

\* \* \*

— Время идет, Мастер. Я с тревогой смотрю на волну Холода: она все расширяется, и с нею — новые законы поведения вещества. А твои эмиссары медлят. Сумеют ли они хоть чем-то помочь мирозданию?

— Им нелегко сейчас, — откровенно ответил Мастер. — Тем более, что тем двоим, которые и должны сделать главное, пришлось сейчас разобиться: она летит на Вторую планету, он на старом месте ищет какого-то выхода, но пока не может его найти.

— Существует ли выход вообще?

— Да. Он прост, но в то же время труден. Потому что это не тот выход, Фермер, которым можно воспользоваться, высчитав все по формулам. Здесь рассудок — дело второе, здесь на первый план должно выйти чувство. Но как этому чувству будет нелегко...

— Не понимаю пока, что ты имеешь в виду. Но верю, как всегда. Скажи только, Мастер: ты поможешь, подскажешь им в нужный миг?

— Ты ведь знаешь наши правила, Фермер. Когда любой из нас, — это относится и к моим людям, — перестает верить в себя, верить всецело, ему пора искать другое занятие: если человек сам не верит в себя, как поверят в него другие? А пользоваться помощью, просить ее, для нас — шаг к утрате этой веры. Нет, конечно, для нас является законом: надо спасать друг друга. Но спасение — уже крайний случай, и пока до него не дошло, мы предпочитаем обходиться своими силами.

— Могу понять это, хотя и не вполне согласен. Что же, Мастер, будем надеяться, что на сей раз они справятся сами...

\* \* \*

Город такого масштаба, как тот, в котором происходят описываемые здесь события, в смысле его открытости и познаваемости человеком лучше всего сравнить с первобытными джунглями, с сельвой, с далекой, необжитой тайгой. Хотя человека окружает здесь цивилизация, техника, множество людей, и на первый взгляд может показаться, что для него не существует тут непонятных, необъяснимых явлений, незнакомых территорий, белых пятен и подстерегающих за поворотом опасностей, на самом деле это далеко не так. Можно раз за разом прохо-

доть по одной и той же магистрали мимо одного и того же строения и не иметь ни малейшего понятия о том, что в нем происходит, для чего оно предназначено: строение, в принципе, ничем не отличается от окружающих, и человек необоснованно решаст, что и функции оно выполняет такие же. Однако похожесть для того, быть может, и создана, чтобы люди могли делать внутри здания что-то совсем другое, не то, что в десятках соседних домов, не привлекая ничьего внимания. Кроме того, город — не только здания; это и пустыри, и (кое-где) развалины, покинутые всеми, и парки, пусть полумертвые, с трудом, из последних сил сражающиеся с превосходящими ордами второй природы — техники, противостоящие их атаке, которую вольно или невольно всегда направляет или хотя бы поддерживает человек, — пусть гибнущие, но все же парки. Нам известно уже, во что превратился один из обширных, нечаянно возникших в этой части города пустырей. Именно оттуда лодка увезла Мин Алику; увезла туда, где должно было начаться путешествие на ее родную планету.

Мы знаем уже, что никакого сообщения, никаких контактов, за исключением разве что редких дипломатических, и никакой коммерции между враждующими планетами не существовало: слишком уж застарелой и жгучей была вражда между ними, из области рассудка давно уже перешедшая в сферу эмоций. И лишь непоследовательностью человеческого мышления можно объяснить то, что где-то (в зависимости от ранга потребителя) всегда можно было приобрести самые разнообразные товары с наклейкой, свидетельствующей, что товар этот произведен на другой планете; никого не удивляло, когда по развлекательным, а то и по научным каналам информации не так уж редко шли передачи, сделанные явно не на родной территории; не удивляло даже, когда Стратегические службы одной стороны использовали оптику другой, а та, в свою очередь, — электронику первой, одна сторона имела на вооружении десантное оружие, созданное другой, а другая — мощные моторы, на которых бесстыдно красовалось клеймо первой. И, наконец, все спокойно относились к тому, что и на той, и на другой планете существовали целые обширные отрасли производства, базировавшиеся на сырье, которое (как было известно из любого учебника по соответствующим дисциплинам) на своей планете вообще отсутствовало, либо

же не добывалось, зато на вражеской планете существовало в изобилии. Такое положение удивляло всех столь же мало, как не удивляет зрелище семьи, в которой супруги непрестанно враждуют друг с другом, подолгу не обмениваются ни единым словом, в глубине души желают друг другу всяческих несчастий, однако при этом выполняют свои семейные обязанности — экономические, трудовые, общественные и прочие. Никто не доискивался путей, по которым все, что нужно, проникало с одной планеты на другую, и которых формально не существовало; однако, люди давно привыкли к тому, что каждое явление может существовать как бы в двух ипостасях, официальной и фактической, и эти ипостаси, формально друг друга исключавшие, на деле прекрасно уживались. Наука научила людей признавать существование множества вещей, непредставимых ни зримо, ни логически; отчего же было не признать существования экономических отношений там, где их официально не существовало?

Путей взаимопроникновения, как упомянуто, никто не доискивался. И хотя Мин Алика в свое время попала с родной планеты на Старую именно по одному из таких каналов, сейчас она и представления не имела о том, куда ее везут, и далеко ли и каким способом ее оттуда отправят. Для эмиссара Мастера не составило бы ни малейшего труда оказаться практически мгновенно не только на соседней планете, но и в куда более удаленной точке трехмерного (и не только трехмерного) пространства; однако Мин Алика, разведчик Второй планеты и художник девятого уровня на Старой, такими средствами передвижения пользоваться, разумеется, не должна была.

Поэтому, пока лодка летела, Мин Алика с интересом поглядывала в круглое окошко. Внизу одни кварталы сменялись другими, порой возникали серые пятна парков, потом подолгу тянулись длинные, плоские кровли обширных предприятий, индустриальных и аграрных; на крышах порой разгуливали животные, получая свою долю движения. Потом начался район развалин; стоявшие здесь здания давно уже пришли в негодность, в них уже не жил никто, кроме деклассантов, стоявших вне уровней; ремонт этих зданий был нерентабельным, со временем — когда дойдет очередь — здания, что не упадут до тех пор сами, будут снесены, и на их месте, после

вывозки мусора, будут возведены новые, современные постройки — если хватит средств и на месте развалин не возникнет новый пустырь, которому окрестное население найдет применение. Тут Мин Алика отвернулась от окошка: зрелище было грустным, и ничего нового в смысле информации дать явно не могло; однако лодка тут же пошла на снижение и вскоре, покачавшись немного на упругих амортизаторах, уже прочно стояла на небольшой, сверху не очень-то и заметной площадке между полуразрушенными корпусами; площадка была вымощена шестиугольными бетонными плитами и выглядела странно чистой в этом крае запустения. Высокие стены нависали, казалось, над головами, вот-вот сверху мог, наверное, упасть какой-нибудь, едва держащийся на проржавевших креплениях, массивный блок — тогда от всего, что находилось сейчас на площадке, осталось бы мокрое место, замысловатый иероглиф. Однако этого никто, похоже, не боялся; люди, привезшие Мин Алику, деловито заперли лодку, к ним уже подходили другие, откуда-то — видимо, из развалин — появившиеся, негромко поговорили, потом все, пригласив и женщину, двинулись к ближайшему фасаду, тупо глазевшему на них пустыми оконными проемами. Вошли в прямоугольник, некогда закрывавшийся дверью; Мин Алика ожидала, что внутри придется перескакивать с обломка на обломок, изображая горную козу, мифическое животное прошлых эпох. Ничуть не бывало: каменный пол коридора был гладок, даже подметен, лишь изредка можно было заметить на нем какой-нибудь отклеившийся неизвестно от чего яркий бумажный фирменный ярлык или обрывок легкой картонной упаковки. Коридор тянулся не очень далеко и вывел людей к металлической стенке, от которой и не пахло ветхостью, она молодо отблескивала, и дверь в ней отворилась без малейшего скрипа уверенно и бесшумно. За дверцей оказался просторный, без единой щели лифт. Стремительное падение вниз, на неопределенную глубину — и лифт, плавно замедлившись, остановился, дверцы его раздвинулись, и все, включая Мин Алику, оказались в обширном подземелье, стены которого состояли из светлых металлических пластин, потолок, кажется, тоже — разглядеть его мешали яркие, слепящие лампы наверху, потолок лежал высоко, метрах в семи-восьми. Подземелье никак не выглядело заброшенным; напротив, в нем непрерывно двигались и люди, и



электрические тележки, нагруженные картонными ящиками с романтическими, порой вовсе неизвестными названиями фирм или содержимого, выведенными на стенках; целые штабели тяжелых пластиковых ящиков и металлических контейнеров проплывали порой невысоко над полом, прочно удерживаясь на антигравитационной площадке, в одном углу которой помещался в крохотной будочке водитель. Было относительно тихо, так что разговаривать можно было не повышая голоса, только говорить Мин Алике здесь было не с кем и не о чем. Подкатила еще одна электрическая тележка, на этот раз на ней вместо коробок и ящиков стояли легкие стульчики; несколько человек уселось, один из них — тот, что был и на Шанельном рынке, — кивнул Алике, и она подошла и заняла единственное свободное еще место, в самой середине. Тележка тронулась. Подземелье казалось бесконечным, тележка несколько раз меняла направление, лавируя между высокими, до потолка, штабелями товаров, заставлявшими подумать, что государственная контрабанда велась в масштабах, каких едва ли могла бы достигнуть и официальная торговля — если бы она вообще существовала. Потом тележка остановилась. Вышли. Вошли в новый лифт. Еще один спуск, продолжительнее первого. И новое помещение, не столь обширное, как верхнее, но тоже металлическое и, как показалось, вообще не имевшее потолка: оно тянулось вверх, насколько хватал глаз, пока густой мрак не отнимал возможность различить что-либо. Пол в этом помещении отзывался на каждый шаг гулко, словно под ним была пустота — впрочем, так оно и было в действительности; а посередине зала или, скорее, шахты возвышался корабль, обычный антиграв, не скоростной десантный, какими располагали стратеги на обеих планетах, а куда скромнее, менее изящный, но зато вместительный, предназначенный для перевозки грузов. Оказывается, еще существовали такие корабли, а ведь считалось, что они давно уже канули в прошлое; этот же выглядел вовсе не музейным экспонатом, но достаточно новым и надежным устройством. Тут, над металлическим полом, возвышалась лишь верхняя его часть, в которой и находились большие трюмные ворота и маленький сравнительно люк, предназначенный для экипажа. Привезший Мин Алику подошел к невысокому крепышу, что стоял возле люка, поглядывая то на часы, то на людей, поспешно пе-

реправлявших в трюмные ворота последние, надо ползгать, порции груза, подлежавшего перевозке во враждебный мир; на гладкой обшивке корабля, рядом с люком, виднелась небольшая корона — эмблема Второй планеты; на ящиках же, скрывавшихся один за другим в трюме, красовались четкие клейма Стратегической службы этого мира. Привезший Алику что-то тихо сказал коренастому, тот ответил с милым, немного шепелявым акцентом родной планеты, и звуки этой речи заставили сердце Мин Алики заколотиться неожиданно сильно. «Еще четверть часа, и я ушел бы без вас, провалитесь вы, и так далее». Потом он взглянул на Мин Алику, ноздри его дрогнули, он помолчал секунду, затем буркнул: «Минутку, я провожу вас». Он подошел к грузовому люку и отдал какое-то распоряжение, потом вернулся и указал Мин Алике на люк экипажа. Там оказался небольшой тамбур, легкая лесенка вела наверх. Коренастый сказал: «Я — капитан Урих Шуфф; там наверху — рубка, там вам делать нечего. Пассажиров мы не возим, поместитесь в каюте старшего, мы в этом рейсе обходимся без него». Не дожидаясь ответа, он распахнул дверцу в тамбуре, за нею оказался тесный коридорчик, в него выходили три дверцы, тоже узкие. «У нас тут не лайнер, — сказал капитан Урих, — да и рейс короткий, ничего, потерпите». Каюта оказалась узеньким пеналом, там были койка, столик, табуретка, шкафчик на переборке, на ней же — несколько приборов. Койка была застлана. «Чем богаты, тем и рады. Услышите сигнал готовности — сразу в койку, остальное сработает само. Летать-то приходилось?» — поинтересовался капитан Урих. Мин Алика кратко ответила: «Да». «Ну и хорошо, — сказал капитан, — значит, долго объяснять не надо, что к чему. Удобства в торце коридора, задвижки там нет, держите рукой. На месте вас должны встретить, больше я ничего не знаю и знать не желаю, мое дело — коммерция». Он повернулся и захлопнул за собой дверь. Тут же распахнул ее снова: «Если что-то понадобится по женской линии, — он провел пальцами перед лицом, — посмотрите в шкафу, мой старший тоже женщина, вообще у нас сейчас везде женщины...» — Капитан покачал головой, то ли осуждая такой порядок, то ли сожалея, и снова затворил за собой дверь — на этот раз уже окончательно.

— Опровергнуть мою информацию... — медленно повторил Форам, сомневаясь, правильно ли он понял штаб-корнета. — Но это значит...

— Значит, что будет готовиться война в полном объеме, верно, — откликнулся тот. — Но я ведь могу рассуждать только со своих позиций. Понимаете, Полководец — устройство настолько мощное, что если дать ему направление, он найдет, я думаю, выход даже из таких ситуаций, в которых не разберется и все человечество, если даже начнет думать разом, по команде. И моя задача, как я вам уже сказал, — сохранить нашего мальчика в добром здравии и готовности, потому что тогда у нас останется хоть какой-то шанс. А если я сделаю то, чего вы хотите — подкреплю вашу информацию — он просто закапризничает, я вам уже говорил. И мы потеряем всякую возможность оперировать оружием. Это, мне кажется, будет куда страшнее.

— И все-таки... Почему не заявить прямо вашему Полководцу, что задача не имеет решения?

— Да именно потому, что он — ребенок, мальчик, малыш. Он не может признаться в поражении и будет упорствовать до конца. Ну, как дети, знаете.

— Откуда мне знать? — буркнул Форам. — У меня их никогда не было. Кстати, почему вы решили, что он именно мальчик, а не девочка?

— Почему? — Хомура несколько минут подумал. — Да не знаю... Потому, наверное, что мы все вокруг него — мужики, а он ведь многому научился у нас и, значит, думает, как существо мужского пола — если говорить об особенностях мышления, логики...

— Ну-ну... Но, значит, есть в нем нечто, почему вы зовете его ребенком. Как у него с эмоциями? Любовью, привязанностью, смелостью, трусостью и всем подобным?

Штаб-корнет посмотрел на Фораму озабоченно; надо полагать, такого рода анализом возможностей Полководца он никогда еще не занимался. Подумав, он покачал головой.

— Да никак, наверное. Думаю, в этом отношении он ничем не напоминает нас с вами. Не забудьте: он все же — военная машина, и в первую очередь — военная. И, наверное, то, что может иногда показаться проявле-

нием эмоциональной стороны его существа, на самом деле является лишь результатом тщательно проанализированных, чисто деловых, всецело практических соображений. Может быть, мы и стали считать его ребенком потому, что он не обладает той гаммой чувств, которые украшают — или отравляют жизнь взрослых.

— Ребенок, играющий в солдатики...

— Но играющий лучше всех в мире. И солдатики эти -- живые.

— Понимаю. Однако... У вас есть дети, штаб-корнет?

— Нет. Мы все при Полководце — холостяки. Почему-то таких отбирали...

— Да, тут мы в эксперты не годимся. Но, может быть, попробуем хоть в чем-то разобраться? Вот вы говорите о том, что ваш малыш может закапризничать, например.

— Ну да, так я говорю, — Хомура пожал плечами. — Просто другого слова не находится. Но кто знает, насколько сущность этого совпадает или не совпадает у ребенка — и у Полководца. Внешне похоже, да...

— Но ведь капризничать -- значит проявлять эмоциональную сторону характера, а не рациональную?

— Вы слишком многого хотите от меня, мар. Я, в общем, знаю не более того, что мне положено.

— И потом, его стремление к игре, о котором вы упоминали, стремление воспринимать все, как игру — в том числе и эту задачу, последнюю. Игра в солдатики — вы сами так сказали.

— Да, этого у него не отнять, действительно. Не знаю, может быть...

— Вы давно служите при нем?

— Шестой год.

— А сколько лет ему самому?

— Полководцу? Уже двенадцать с лишним. До него было устройство попроще. Но и он тоже постоянно совершенствуется, получает новые контуры...

— Он всегда был таким, как сейчас? Или со временем что-то в нем меняется?

— Ну, если оценивать человеческими мерками, он становится, безусловно, опытнее... Умнее, что ли?

— И спокойнее?

— Не знаю, право, что сказать. В чем-то становится, а в чем-то другом, наоборот, с ним приходится быть осторожнее, чем раньше.

— Я чувствую, что мне просто необходимо повидаться с ним самому. Побеседовать... Чтобы понять, что он такое. И можно ли рассчитывать на его помощь в какой-то форме, или не стоит терять на это времени и надо сразу искать что-то другое.

— Что же другое может помочь, если Полксводец подаст команду на бомбоносцы? — Хомура покачал головой. — Конечно, поговорить с ним вам бы следовало. Мы ведь к нему привыкли, многого уже просто не замечаем, а вы могли бы что-то уловить.

— Как же мне попасть туда, к вам?

— Сам не знаю. Попытаемся как-то протащить вас туда. Хотя вообще принято считать, что это — задача безнадежная: каждый раз при входе и выходе — автоматическая проверка на ритмы мозга, на отпечатки пальцев, на запах, на кровь... Очень нелегко будет. Но, наверное, иного выхода нет.

— Иной выход мог бы найтись, если бы...

— Тсс!

Приближался некто — вроде бы здешний, вроде бы под хмельком, вроде бы чуть покачиваясь даже, что-то мурлыча под нос; шел прямо на них. Форамы быстро огляделся; нет, никого другого поблизости не было. Тогда он повернулся — так, чтобы ни малейшего света не падало на его лицо, а Хомура, чуть сместившись, оказался между Форамой и приближавшимся. За тем показалась еще одна фигура, но это был Горга, державшийся шагах в десяти. Незнакомый подошел, остановился в двух шагах, все так же чуть покачиваясь — но глаза смотрели трезво и пристально.

— Форамы, ты, что ли? — спросил он, и язык даже, кажется, не совсем повиновался ему. — Куда же ты подевался от ребят? А мы тебя ждем, может, еще что выдашь интересное...

— Давай отсюда, — сказал Хомура холодно. — Здесь на чужака не пьют. Поищи, где подадут.

— Слушай, Форамы... — но уверенности в голосе пришедшего не было, он явно бил наудачу.

— Катись-ка ты к своему Фораме, — сказал Хомура и шагнул вперед, а Горга, так и держась в десяти шагах, громко, подчеркнуто кашлянул. — А сюда не показывайся, — продолжал Хомура, — Здесь и без тебя ком-плект,

— А ты его не видел случайно?

— Думаешь, я тут всех знаю?

— Ну, он заметный — треплется про науку, про взрывы...

— А-а... Дружок, что ли?

— Ну да, дружок. Сам позвал, чтобы я приехал, и вот... А ведь я ему свеженький материал привез, как раз к случаю.

— Видел я его с час тому, — сказал Хомура. — Тут целая шарага была. А сейчас — не знаю. Пошарь по кустам. Он тут уже тепленький был.

— Да. Ну ладно. А вы оба, — он все изворачивался, пытаясь ненавязчиво заглянуть в лицо Фораме, но Хомура возвышался неколебимо, а Горга приблизился на несколько шагов и снова внушительно кашлянул, — вы оба, если заметите, скажите — дружок его ищет. По имени мар Цоцонго, это я и есть. Или лучше крикните меня погромче, я далеко не уйду... Или еще лучше — позовите Мин Алику, это подружка его, тоже приехала, любовь у них с давних времен...

Великим напряжением сил Фораме удалось удержаться на месте. Хорошо, что чужой не видел выражения его лица.

— Непременно передадим, — сказал Хомура без любезности.

— А твой дружок что — онемел, что ли? Слова не скажет.

— А он таких, вроде тебя, не любит, — ответил Хомура хладнокровно. — Два слова — и сразу в рыло. Так что ты его лучше не трогай...

Поверил ли самозванный Цоцонго или нет, но мундир Хомуры он разглядел хорошо; хотя и без знаков различия, мундир внушал уважение, и пьяным Хомура явно не был, так что лучше было не обострять: мало ли какие свои дела могут решать стратеги в этом месте. Пришлый удалился, не забывая, впрочем, покачиваться, Горгу он обошел, сделав небольшой крюк — и видно было, как из кустов, что возвышались подальше, вслед ему скользнуло несколько теней.

— Вот, — сказал Хомура, когда они отошли. — Это вам о чем-нибудь говорит?

— Я узнал голос. Слышал его сегодня утром. Потом объясню. Мин Алика... Неужели они ее задержали? Она же ни при чем!

— Нам надо поспешить, мар Форама. Сможем ли мы провести вас в центральный пост Полководца или нет, но здесь вам делать больше нечего. Идите за мной, старайтесь не выходить на свет. Штык-капрал, прикрывайте нас с тыла.

— У вас есть транспорт?

— Военный катер всегда в распоряжении операторов.

— Там, у себя, вы оставляете его наверху?

— Да, это дежурный катер, он всегда остается на поверхности. Вниз пропускают только катера старших начальников, если самых старших — то даже без проверки: эти катера сами подают все нужные сигналы. Но у нас такого нет.

Горга подошел вплотную.

— Таким катером можно воспользоваться, — сказал он уже почти совсем трезвым голосом. — Машина Верховного годится?

Форама и Хомура уставились на него, не понимая.

— Свяжитесь с ней из своего катера, — посоветовал Горга. — С водителем. Мастер-капрал Сала. Мой двоюродный брат. Скажите: Горга очень просит, Горга оплатит.

— Господи! — пробормотал Форама. — Вот уж неожиданно-негаданно...

— А-ой, — сказал Хомура. — Рискнем. Спасибо, Горга.

— Да ну, — сказал Горга, — не за что. Так приятно посидели с человеком, поболтали — отчего же не помочь?

— Спасибо, Горга, — сказал и Форама. — Надеюсь, еще увидимся.

— Здесь — не знаю, капитан, — сказал Горга, чуть улыбнувшись. — Я свое заканчиваю, ты — еще нет. Но — увидимся.

— Питек... — тихо проговорил Форама всплывшее из недр памяти имя.

— Счастливо оставаться, мары! — Горга четко повернулся и зашагал прочь. Форама смотрел ему вслед.

— Поехали, — сказал Хомура, не очень, кажется, удивившийся последним словам обоих. — Снизимся перед первой охранной линией и пересядем в тот катер. Хорошо бы и остальные решения найти так же просто...

Услышав сигнал готовности — резкий, неприятный звук, что-то среднее между пронзительным звонком и свистом, — Мин Алика поспешно легла в койку, не раздеваясь, и почти одновременно тонкая сеть страховочных амортизаторов развернулась в полуметре над нею и повисла, как полог из редких кружев. Было это, в общем, лишней перестраховкой, лишней в девяноста девяти случаях из ста, но бывает ведь и сотый. Что-то где-то вовне приглушенно проскрежетало, койка деликатно подтолкнула женщину снизу — вот и весь старт, вернее, первый его этап, на антигравах, бесшумный, почти безопасный; второй должен был начаться в заатмосферном уже пространстве. Сразу же наступила невесомость, и Мин Алике стало как-то не по себе; чтобы отвлечься от неприятных ощущений, она постаралась расслабиться и стала думать о вещах, вроде бы отвлеченных и приятных, думать как бы спокойно, со стороны, именно так, как чаще всего думается в дороге, где человек является всего лишь пассажиром, где от него ничто не зависит, все дела, даже срочные, волей-неволей отложены до прибытия в точку назначения, и можно не спешить (за тебя спешит то средство передвижения, на котором ты едешь, плывешь или летишь), и спокойно предаваться раздумьям — не избирательно, но в том порядке, в каком сами они на тебя наплывают. Вот и Мин Алика сперва впустила себе, что все дела на оставшейся позади планете для нее временно перестали существовать (кроме Форамы Ро, конечно; но он не был делом, он был частью ее самой — частью, как бы оставленной Старой планете в залог собственного возвращения), а дела на родной планете еще не наступили. Однако планета приближалась, и теперь можно было откровенно признаться себе в том, что все годы Мин Алика свою планету помнила и по ней скучала, только не позволяла себе останавливаться на подобных мыслях даже мимолетно, чтобы не заболеть черной тоской; не хватало ей родной планеты, и не только потому, что она там родилась (факт биографии, порой не значащий абсолютно ничего), но и потому, что, какими бы недостатками социального, экономического или иного типа ни обладала Вторая, но она просто была лучше, даже для непредвзятого арбитра, не уроженца ее. Она была, во-первых, меньше, и, значит,



уютнее, и понятие ее единства и нераздельности возникло и укоренялось легче и естественнее, чем там, откуда Мин Алика сейчас летела. Вторая была меньше, но плотнее, кстати сказать, так что осязаемой разницы в напряжении силы гравитации на поверхности обеих планет не было. Родная планета не была единым, глобальным городом, как здесь — нет, теперь, вернее, уже «там»; тотальная урбанизация не то чтобы не успела еще наступить на планете Мин Алики, ее там старались не допустить сознательно, и планета оставалась зеленой, а не серой, воду ее рек и озер можно было пить, не боясь отравиться, и было там немало мест, где еще можно было уединиться и даже не слышать никакого иного шума, кроме посвиста ветра, шелеста листвы, плеска волны, голосов насекомых и птиц. Но, конечно, не даром; то, что принято называть уровнем жизни, иными словами — степень проникновения искусственной природы в жизнь каждого человека (в итоге в технологических цивилизациях все сводится именно к этому), — уровень жизни был на Второй планете ниже, чем на Старой, на которой Алика загостилась так долго. Сколько же лет уже она там пробыла? Семь? Восемь? Ну-ка, ну-ка... Родная моя! Смеешься — одиннадцатый год пошел! Так сколько же тебе лет в таком случае — по-настоящему, не по легенде? Ведь когда ты ушла в разведку, тебе было уже девятнадцать?.. Впрочем, кого интересует возраст? Форама все равно старше.

Форама, да... Мин Алика закрыла глаза и на миг перестала быть похожей на Мин Алику, какой была только что — хорошо, что сейчас никто ее не видел. Но тут же собралась с силами и снова стала прежней, привычной всем, и самой себе прежде всего. Одиннадцать лет, значит... Небольшой как будто бы срок, однако, за это время может измениться многое. Конечно, информации о родной планете у Мин Алики в общем хватало: даже из массовой информации Старой планеты можно было, вводя известные поправочные коэффициенты, узнать достаточно много, а ведь Алика пользовалась, разумеется, не только массовой информацией. Но хотя известия говорили о многом — о сменах за Круглым Столом, об уровне производства, о военных делах, о событиях общественной жизни, — в них не было ничего о том, как плещет вода и шелестят листья, и бабочки летают над солнечным веселым лугом. А сейчас, приближаясь, Мин

Алика вдруг почувствовала, что больше всего ей не хватало именно этого, и ощутила острое желание не возвращаться на Старую, но как-то перетащить сюда Фораму и жить на своей планете, если даже понадобится уйти из разведки (если отпустят — подумала она параллельно) и существовать лишь теми самыми рекламными картинками, в фабрикациях которых она за прошедшие годы изрядно поднаторела. Существует же и на Второй реклама!.. Но тут же что-то словно толкнулось в ней изнутри, как если бы она была в тягости (но этого не было, это уж точно) — толкнулось так, что она даже попыталась приподняться под пологом, и расслабленность прошла вмиг: как же можно было забыть о главном — что миру, вместе с нею и Форамой, осталось, может быть, существовать считанные дни или даже часы, и о том даже, что она летит не ради того лишь, чтобы отчитаться перед своими хозяевами, но, в первую очередь, — чтобы подыграть Фораме отсюда и добиться результата, нужного им обоим, нужного Мастеру и Фермеру, и обоим планетам — и всей необъятной Ферме, и всему великому множеству подобных ферм, где растут Тепло и Счастье.

Вот о чем подумала она; но в следующий миг снова прозвучал сигнал готовности, ее встряхнуло и прижало к койке, полог опустился ниже, почти касаясь лица. Это заработали маршевые двигатели: начался второй этап разгона одного из многочисленных кораблей государственной межпланетной контрабанды, для которых разведчики обеих сторон были всего лишь побочным и вовсе не таким уж выгодным грузом.

• • •

Совсем стемнело, давно уже стемнело, глухая ночь была. На Шанельном рынке этого даже не заметили: дело было привычное, на основное занятие обитателей оно никак не влияло, торговали здесь круглосуточно, одни уходили с выручкой, большой или малой, другие их сменяли, предложение, в общем, соответствовало спросу с некоторым даже превышением. Компания, к которой принадлежал ранее Форам, несколько поредела; актер успел подремать немного, проснулся и снова присоединился; Горга еще посидел какое-то время, а потом исчез как-то незаметно, слинял, как говорится; неизвестный

друг, лже-Цоцонго, разыскивавший Фораму, сидел, выпивая ровно столько, сколько ему можно было, чтобы оставаться постоянно в форме, и поглядывал по сторонам, и прислушивался, но без большого успеха. Глухой экс-чемпион пил, не пропуская ни одной, но организм его был, надо полагать, настолько закален и вынослив, что человек этот, могло показаться, и неделю мог бы провести так, без сна и отдыха, а может быть, и больше, и оставаться по-прежнему все в той же форме, — хоть сейчас взять битую и выйти в круг. Когда наступила ночь — потянуло ветерком, пыль осела, жить стало приятнее, а общее число участников рыночного действия осталось, в целом, тем же самым: кто-то убыл, конечно, но подросли другие, и в их числе — гурманы, которые только в разгар ночи сюда и приезжали: считалось, что в этом есть свой шик.

Жизнь всего Города — ну не всего, конечно, где-то в Городе был еще вечер, а где-то уже занималась заря, — жизнь этого участка Города с наступлением полуночи тоже затихла, поредели кабинки на магистралях, стали постепенно гаснуть освещенные окна. Однако существовали в нем и такие места, где позднего часа даже не заметили: очень заняты были и не обратили внимания на то, что давно уже естественный свет сменился электрическим (кое-где, правда, естественного света и вообще не бывало, слишком глубоко были упрятаны эти места в мощной коре Планеты). Одним из таких мест было уже известное здание, в котором все еще, с небольшими перерывами для подкрепления сил, происходило заседание Высшего Круга, фактически ставшее сейчас постоянно действующим органом, как оно и предполагалось в случае экстремальных ситуаций.

Настроение в Высшем Круге было, откровенно говоря, не самым лучшим. Кое-что шло не так, как предполагалось. Не так, как полагалось бы. Как должно было. Не так. Скорее — наоборот. И даже не это заставляло членов Круга нервничать, а то, что было очень трудно объяснить все логически. Начиная с того, что, по всем канонам, решение о переходе к активной обороне должно было бы даваться людям труднее всего: как-никак, различные этические, моральные, культовые даже соображения и предрассудки, заповеди какие-то, упорно коренящиеся в подвалах сознания каждого человека, должны были помешать, заставить сомневаться, колебаться, спорить —

с самим собой и с другими, — и, наконец, принять неизбежное решение с видом сокрушенным, главою потупленной, свидетельствующими о том, что мы, собственно, были против, нам все это никоим образом не нравится, однако обстоятельства оказались в данном случае сильнее, логика событий — мощнее, мы просто-напросто вынуждены в общих интересах — и потому не судите строго... Вот как должно было бы все происходить по правилам игры и по законам хорошего тона. На самом же деле получилось, что решение было принято (чему свидетелями мы были) сразу, без вздохов, без трагического заламывания рук и даже без предисловия относительно того, что мы, мол, долго думали, прежде чем решили, а просто: Первый Гласный отлучился к своему школьному наставнику на кристаллической схеме, задал вопрос типа: что больше — дважды два или дважды четыре? — получил недвусмысленный ответ, возвратился к заседавшим и объявил решение. Электронный мудрец, с которым Гласный советовался, не анализировал, — и не его это было дело — откуда взялось «дважды два» и откуда «дважды четыре», да и сам Гласный оценивал элементы ситуации таким именно образом не потому, что сделал такой подсчет, а произвольно — вернее всего потому, что ему так хотелось, так он привык думать, и все вокруг него думали точно так же, и путешественники его мыслили так, и потомки, надо полагать, тоже будут считать, что если у тех — дважды два, то у них уж никак не меньше, чем дважды четыре. Итак, он вышел и провозгласил; и никто не усомнился в справедливости решения не потому даже, что был сызмальства приучен к дисциплине в их многоступенчатом мире, в котором бег по лестнице был основным содержанием жизни (как у тех бедняков, что зарабатывают на жизнь, быстро взбегая перед любопытствующими путешественниками по крутым склонам древних пирамид), а потому, что и сами они думали точно так же, и каждый знал в глубине души, что если бы именно он оказался в тот миг на месте Первого Гласного, то решил бы точно так же. Ибо это решение было и масштабным, и престижным, и историческим — а противоположное не было бы ни первым, ни вторым, ни третьим, и за первое решение спрашивать никто не станет, потому что будет не до того, дел и так окажется невпроворот, а за противоположное решение тогчас же спросили бы все, начиная со Вторых

и Третьих Гласных, давно считающих, что и им пора ступить на самую вершину горы и нацарапать там свои имена. Так что у людей все было в порядке. Казалось бы, как только главный рубеж останется позади, больше никаких помех ожидать не придется: оставшееся было, как говорится, делом техники. Однако техника-то вдруг и стала приносить неприятности, тем самым лишний раз доказывая, что машинный интеллект никогда не сравняется с человеческим, ибо формальной-то логикой он, может быть, и владеет, но множество тонкостей, причем самых важных тонкостей, ему остается недоступным. Сперва об этом как-то не подумали, но когда Верховный Стратег с несколько озабоченным видом доложил, что его хваленый электронный Полководец что-то заартачился и пока еще даже не приступил к разработке конкретной диспозиции по данному ему приказу, всем, кто слышал, как-то сразу пришла в голову одна и та же мысль: что машине до человека еще как далеко!

— Куда же вы, так сказать, смотрели? — не очень дружелюбно поинтересовался Первый. — И в чем, собственно, дело? Если в нем неисправность — устраните ее побыстрее, и дело с концом.

— Там все исправно, — отозвался Верховный. — Однако сам, так сказать, образ мыслей машины...

— Машина мыслить не может! — пресек Первый попытку Верховного Стратега оправдаться. — Если же там кто-то мыслит, то это наверняка люди, которые ее обслуживают. И если они стали мыслить чрезмерно или не в том направлении, то надо их срочно заменить, а мы потом спросим с кого следует за то, что именно такие люди оказались именно там, где бы им быть никак не следовало.

— Не в этом дело, го-мар Первый! — упорно продолжал сопротивляться Верховный Стратег. — Просто с самого начала машина задумана так, что для выработки плана действий ей нужно определенное количество различной информации.

— Не понимаю, — сказал Первый. — Что, у нас уже и в информации недостаток, что ли? А коли так, посадите два десятка или две тысячи, или сколько там потребуется — журналистов, и пусть дают столько информации, сколько будет нужно.

— Таковую мы уже дали. Но нужна именно различная

информация, го-мар, из разных источников, — пояснил Стратег.

— Вообще это черт знает что, — откровенно высказал свое мнение Первый. — Мы ведь уже дали то, что считали нужным дать? Зачем же ей нужно еще что-то? Разве не заключается самая главная информация в том — что нужно нам, чего мы хотим и требуем? Помоему, именно так было всегда.

— Надо будет уточнить, кто конструировал машину, — негромко промолвил Великий Вещий, — и кто санкционировал. И поинтересоваться мотивами...

Если Первого Гласного Верховный Стратег, по положению, должен был бояться и действительно боялся, то с Великим Вещим он чувствовал себя на равных и потому не преминул огрызнуться:

— Конструировал ее соответствующий институт, строго придерживавшийся данных ему заданий. Задания же были обсуждены и утверждены именно на заседании Высшего Круга, уважаемый го-мар.

— Когда?

— Проект утверждался двадцать лет назад.

Эти слова вызвали у находившихся в помещении определенную положительную реакцию: двадцать лет назад никто из них в Высший Круг еще не входил, а кто входил — тех теперь уже не было, а если кто и был, то хорошо помнил, что тогда от них зависело не больше, чем сейчас, даже меньше, потому что и Первый Гласный тогда был другой, не этот.

— Хорошо, — сказал нынешний Первый, махнув рукой. — Сейчас не время искать виновных, надо усиленно работать, прилагая все силы и черпая энергию в сознании важности задачи. Какая же там в конце концов нужна информация, и почему ваша машина никак не может ее переварить?

Верховный Стратег объяснил, почему, и Первый спросил:

— Какие будут идеи?

— Я полагаю, — сказал Великий Вещий, — что для того чтобы устранить опасную информацию, следует нейтрализовать ее источник. Это наверняка началось с вашего коллеги, го-мар, — обернулся он к Великому Питону. — Ни от кого другого такая... такая чушь происекать не могла.

— Насколько нам известно, он погиб, — возразил Питон.

— Да вот выходит, что не погиб.

— Что означает, — подхватил Питон, который все же не только науке был обучен, но и кое-каким приемам кулуарной борьбы тоже, — что он ушел от ваших людей и именно таким образом получил возможность генерировать излишнюю информацию, не так ли? Вот теперь и пресеките его, как источник информации.

— Не преминем, — заверил Великий Вещий. — Собственно, соответствующие мероприятия уже проводятся.

— Примем это к сведению, — сказал Первый. — Но этак можно прождать и целые часы, если не больше. А время — деньги, а деньги надо беречь. Хорошо. Объявляется перерыв.

Он, как обычно, удалился в свои помещения, на ходу формулируя вопрос. Вернулся он через несколько минут.

— Продолжаем, — сказал он. — Итак, го-мар, вы говорили, что вредная информация имеет своим источником определенное место в городе?

— Так точно.

— Тогда следует, не дожидаясь, пока ваши вещие пресекут одного человека, являющегося первоисточником информации, нейтрализовать все место — в особенности учитывая, что, по вашим же словам, вредная информация успела там распространиться и продолжает просачиваться.

— Продолжает, вот именно.

— Вот и сделайте это общими усилиями, — сказал Первый, переводя взгляд с Верховного Стратега на Великого Вещего и обратно. — И как можно скорее. Не церемоньтесь. По сути дела, мы уже в состоянии войны. Только сделайте так, чтобы в органы информации попало как можно меньше. Или совсем не попало бы, что самое лучшее.

— Репортеры — народ пронырливый, — недовольно проговорил Верховный Стратег, на что Первый Гласный лишь повторил:

— А вы не церемоньтесь... Время только экономьте, остальное неважно.

Так решила за несколько минут судьба Шанельного рынка, и не оказалось тут никого, кто предупредил бы об опасности его обитателей.

## Глава восьмая

— Право, мне стыдно, — сказал Форам, — но я просто не знаю, с чего начать. И побаиваюсь.

— Вначале всегда так, — утешил Хомура. — Мы все через это прошли. Похоже на легкую лихорадку, правда? Ничего, посидите еще минутку-другую, соберитесь с мыслями. Да и мы все время будем рядом.

Они втроем сидели в центральном посту Полководца — Форам, Хомура Ди и флаг-корнет Лекона, нынешний дежурный. Наверное, из всех присутствующих ему было более всего не по себе: как-никак, в святая святых, в центральном посту, куда далеко не всякий большой звездоносец имел право войти, но лишь немногие избранные, — в помещении этом находился человек совершенно посторонний, да и штатский к тому же, и мало того — еще и пребывающий на данный момент в розыске. И разрешил ему находиться здесь, и не просто находиться, а общаться с Полководцем именно Лекона: штаб-корнет Хомура в счет не шел, потому что его формальная ответственность за Полководца кончилась часа полтора назад, вместе со сдачей дежурства. Если бы кто-нибудь даже из самого маленького начальства обнаружил такое вопиющее нарушение всех правил и законов, о полном разжаловании и пожизненном пребывании в Легионе Смертников можно было бы мечтать, как о почти невероятном подарке судьбы. И, однако, Лекона позволил этому человеку присутствовать. И не потому, чтобы он поддался на уговоры Хомуры, и не потому, что был плохим служакой и с легкостью пренебрегал бы требованиями службы; такого тоже не было. Но служебный долг, как и всякий долг вообще, не есть что-то незыблемое, раз и навсегда утвержденное. Долг есть прежде всего результат действий, а не их образ. Для всех операторов, программистов и техников, обслуживавших Полководца, долг этот, по их глубочайшему убеждению (хотя нигде письменно и даже, кажется, устно не сформулированному) заключался прежде всего в первом и самом главном в их мире: в содержании в полной исправности и готовности колоссальной компьютерной системы, точного обозначения которой еще не найдено (не «электронный мозг» и не «искусственный разум», конечно, но и ни в коем случае не «вычислительная машина» просто), —



системы, называемой ими малышом и вызывавшей в их корнетских душах соответствующие эмоции. Поэтому главное, что считал своим долгом сделать Лекона (как и Хомура тоже), заключалось в устранении той причины, которая мешала малышу нормально жить. Корнеты прежде всего помогали Полководцу, ну а вместе с ним и всему остальному: ведь если бы с ним что-то произошло, ни одна задача и подавно не была бы решена. В таких случаях предпочитают выбежать на улицу и пригласить первого попавшегося врача, не дожидаясь, пока прибудет специалист; Фораму можно было считать таким врачом. Что касается специалиста, то дежурный психолог Полководца (такой был) своевременно получил все данные о состоянии малыша, оценил всю сложность ситуации, отправил соответствующий доклад наверх (после чего и произошел известный нам разговор в Высшем Круге), а сам стал честно искать способ справиться с неурядицей. Он беседовал с Полководцем почти полчаса, пытаясь убедить его в том, что недоразумение вышло лишь кажущееся, что вся смутившая малыша информация, конечно же, бред собачий, что источником ее является место, которое смело можно назвать больницей для помешанных (слово «пьяный», так много и исчерпывающе объясняющее все человеку, для малыша просто ничего не значило, поскольку к стратегии отношения не имело и поэтому не было включено в лексикон Полководца), и если информация случайно и выглядит логичной и убедительной, то именно случайно, просто вероятностная шутка. Однако Полководец с доводом не согласился, хотя будь он человеком, психолог, конечно же, его быстро убедил бы: человеку и самому хотелось бы быть убежденным, а Полководцу нужна была истина, а что подумает начальство, его вовсе не интересовало. Беда была, во-первых, в том, что само понятие сумасшедшего дома, для человека исполненное глубокого смысла, для малыша было звуком пустым: с его точки зрения, все люди, с их куцей памятью, беспомощной логикой, убогими знаниями, были в той или иной степени слабоумными; логика же Полководца позволила ему заметить, что в больнице для помешанных вовсе не все являются помешанными, — врачи и прочий персонал хотя бы, — и, следовательно, наименование источника еще ничего не говорит о качестве информации. Во-вторых, все, что касалось теории вероятности, было известно Полководцу

куда лучше, чем психологу, так что малыш почти мгновенно подсчитал подлинную вероятность случайности тех многих совпадений с истиной, какие он в информации отметил; вероятность оказалась настолько ничтожной, что ею смело можно было пренебречь. Потерпев поражение, психолог отключился от Полководца и стал искать новые способы успокоения пациента, дежурный же Леконя решил, что надеяться на специалиста — дело гиблое, тут и подоспел Хомура с физиком. Форам с первого взгляда Леконе не понравился, да и попахивало от него, но флаг-корнет справился с этой антипатией — тем более, что поведение Форамы, включая и его волнение перед пультом в центральном посту, говорило скорее в его пользу, чем против.

Оба офицера хорошо понимали, что нужно им от Форамы. Они, конечно, не верили, что он найдет какой-то способ согласовать для Полководца обе противоречивых информации, одна из которых вообще не могла подвергаться сомнению. Но они знали, что в их руках есть простой и надежный способ устранить противоречия: подтвердить ошибочность информации с Шанельного рынка. Однако оба дежурных пока еще на это не пошли по причине, которая им обоим была совершенно ясна, настолько ясна, что даже психолог не решился настаивать на таком повороте.

Дело заключалось в том, что сказать это малышу — означало просто соврать. Конечно, этическая неприглядность лжи имеет какое-то значение для каждого, в том числе и для корнета: однако если бы речь шла лишь об их переживаниях, и один, и другой перенесли бы такое действие без особого труда: врать на планете привыкли уже давно. Однако дело-то было не в этике, а в том, что любое отступление от истины Полководец неизбежно (как показывала практика) разоблачал; пусть не мгновенно, пусть иногда далеко не сразу, но улавливал, потому что человеку, изобретающему и сообщающему ложь, и представить невозможно, какому количеству прямых и косвенных проверок подвергалась она в миллиардах кристаллов малыша; Полководец специально и был создан с расчетом на распознавание лжи — это была защита от дезинформации, так часто губившей в прошлом даже блистательные военные замыслы. Так что ложь малыш бы распознал; если бы это случилось в ближайшее время, он просто прекратил бы снова работу над

задачей — и, может быть, в самый критический момент, когда Большой Праздник уже начался бы; но пусть бы даже это произошло позже, когда уже ничто не могло бы повлиять на ход войны, все равно Полководец сразу и категорически отказался бы от услуг Хомуры и Леконы, навсегда отнеся обоих к источникам ложной и злонамеренной информации; а этого никто из них не хотел. Вот по какой причине решили они прибегнуть к помощи Форамы, а вовсе не потому (как можно было бы подумать), что сама идея войны, нападения на Вторую планету, пусть и под маркой активной самообороны, вызвала в них какое-то противодействие. Никакого противодействия не возникло, они были профессиональными военными и войну принимали как вещь естественную, а то, о чем предупреждал Форам, явилось для них всего лишь определенным осложняющим обстоятельством — однако без них ни одна война не обходилась, как знали они из истории. Однако, именно будучи профессиональными военными, они далеки были от желания воевать на авось, но стремились делать все по правилам и основательно. Они искренне хотели, чтобы Полководец вернулся к решению задачи, но только находясь в нормальном состоянии, какое гарантировало бы его хорошую работу, ведущую к конечному успеху, ради которого и стоило затевать подобные игры. Вот почему Форам оказался здесь и сейчас сидел перед пультом, между обоими корнетами, собираясь с мыслями.

— Ну давайте попробуем начать, — промолвил он наконец и посмотрел на Хомуру.

— Хорошо, — кивнул штаб-корнет. — Но прежде чем мы начнем, хочу объяснить вам саму процедуру разговора. Вы будете говорить с нами; мы, в свою очередь, станем передавать ваши вопросы малышу, облекая их, если понадобится, в привычную и удобную для него форму. Вы не можете общаться с ним непосредственно, потому что ваш голос и манера разговора ему незнакомы, и чтобы он стал отвечать, потребовалось бы аккредитовать вас, а это долго, затруднительно да и не нужно. И второе: запомните, пожалуйста, что никакие разговоры о жестокости, неэтичности войны, и так далее, тут неуместны. Напоминаю: малыш — военная машина. И если вы попытаетесь обсуждать с ним подобные проблемы, мы все равно ничего подобного не допустим, будут только лишние осложнения между нами. Вы поняли?

— Ну, раз иначе нельзя, — сказал Форама, пожимая плечами.

— Именно так.

— Согласен. Обещаю таких разговоров не вести.

— И вот еще что. У нас немного времени. Вы понимаете: все начальство крайне обеспокоено, все взволнованы, а поскольку без нас они ничего не могут поделать, то, естественно, жмут на нас. Сейчас от них кое-как отговаривается наш психолог; но скоро его просто перестанут слушать.

Форама усмехнулся.

— Выходит, судьбы цивилизации решают два корнета и один полупьяный физик. И все. Зачем же нужно было столько го-маров? Не знаешь, случайно?

— Содержательно, — сказал штаб-корнет Хомура, — но не ко времени. Не нужно отвлекаться. Это тоже не тема для малыша.

— Ясно, ясно, корнет.

— Ну, двинулись... Только смотрите, мар: если вы попытаете осуществить какую-то психологическую диверсию... — Хомура помолчал. — Мы даже не станем передавать вас вещим, но вам от этого легче не придется. Ну, не передумали?

— Не вижу иного пути.

— Ай-о. В путь. Давай, Лекона.

Флаг-корнет протянул руку и нажал клавишу диалога.

— Еще раз привет, малыш, — сказал он бодро.

— Это ты, Лекона? Есть информация?

— Хочу поговорить с тобой. Может быть, что-нибудь и найдем.

— Будем говорить.

— Иногда буду спрашивать я, иногда ты, как обычно. Ладно?

— Согласен. По очереди?

— Не обязательно. Я пачну.

— Начинай.

Лекона глянул на Фораму. Тот покачал головой, на лице его было страдальческое выражение, рука поднялась и резко опустилась. Лекона еще не понял, но Хомура уже выключил звук.

— В чем дело, физик?

— Этот голос... Я просто не смогу говорить всерьез. Он разговаривает голосом ребенка...

— А-а... Простите, мы не учли. Нам вот нравится так. Ничего, голос мы сейчас изменим. Секунду. — Хомура осторожно повернул один из лимбов на пульте. — Вот. Теперь все будет в порядке.

\* \* \*

Все это было так не похоже на воспоминания, что Мин Алике захотелось спросить:

— Мы что — вернулись обратно?

Она не спросила, но, наверное, достаточно ясно выразила сомнение своим лицом, первыми неуверенными движениями после выхода из корабля; здесь не было, правда, развалин, наоборот, никакого жилья не виднелось поблизости, не очень широкую поляну окаймляли деревья. Но уж очень не похожи были эти деревья на те, что виделись ей в моменты углубления в память, и слишком уж напоминали они то, что так часто приходилось видеть там, на Старой: понурые ветви, серая, запыленная листва, и не радость источали эти деревья, а уныние; было так, словно ты ехал в гости к молодому, полному сил человеку, но где-то что-то сдвинулось во времени — и ты вдруг нашел его одряхлевшим стариком. Невеселой получилась встреча...

Мин Алика отошла на несколько шагов от мягко приземлившегося корабля, и хотела было опуститься на траву (так часто в мыслях садилась она на густую, сочную, яркую траву, забрызганную красными, желтыми, синими пятнышками цветов!), но вовремя увидела, что и трава была не та — поляна сильно облысела, показалось Мин Алике, в то время как она, всматриваясь, понемногу узнавала: да, она не впервые оказалась здесь, именно отсюда ведь ее отправляли на Старую планету десять с лишним лет назад, и именно эта поляна всегда вспоминалась ей, как последний привет родной земли; но, господи, как все изменилось, и трава росла, казалось, из последних сил, готовая в любой момент сдаться и увянуть, пожухнуть, пожелтеть, рассыпаться прахом... Мин Алика глубоко вдохнула воздух. Станным был запах; не тот, городской, запах нагретого бетона и металла, от которого никуда не уйти было там; но и не запах вольной, ничем не стиснутой жизни, какой помнился ей, с каким нераздельно были связаны ее детство, юность, все, что успела она прожить и пережить здесь. Запах

был таким, как будто не так давно что-то сильно горело поблизости, успело уже погаснуть, и даже сам запах гари уже выветрился — и все же что-то от него осталось, и это оставшееся угнетало и перебивало все остальное и не давало ничему пахнуть в полную силу. Какой-то тяжелый, неживой запах это был, не такого ожидала женщина от родной планеты, и, действительно, впору было воскликнуть: «Да куда вы, в конце концов, меня привезли?»

Кто-то вежливо коснулся ее плеча, она обернулась. Капитан Урих, кряжистый коротыш. Он заставил Мин Алику пережить в начале рейса несколько неприятных секунд, когда, после того как корабль установился на курсе, неожиданно вошел к ней в каюту, едва дав себе труд постучать, так что она даже отозваться не успела. Мин Алика еще лежала; капитан присел на край койки и положил руку ей на плечо, и ей показалось... Она напряглась, готовая к любой защите, это она умела. Но капитан вдруг улыбнулся, и тут она увидела, что человек он уже очень немолодой, вылетывал, наверное, последние рейсы, перед тем как фирма отправит его на пенсию, в волосах его было много седины, а в глазах — усталости, но морщинки вокруг глаз говорили скорей о доброте. Он медленно снял руку с ее плеча, она так же медленно расслабилась. Глядя на нее, капитан несколько раз мелко кивнул головой, — она подняла брови, не понимая, — и сказал: «Напрасно вы именно сейчас. Напрасно». — «О чем вы?» «Вы давно не бывали дома?» — спросил он. — «Десять лет». — «Тогда и совсем напрасно». — «Не понимаю. Почему вы так считаете?» Капитан подумал немного. «За десять лет многое изменилось», — сказал он наконец. «Да, — согласилась Мин Алика. — Я, например, стала на десять лет старше». Капитан усмехнулся: «Это частности. Я имею в виду — все изменилось на нашей маленькой планете. Там, на Старой, вы, наверное, читали газеты. Ну, хотя бы время от времени». «Разве что время от времени», — улыбнулась Алика. — «Тогда знаете, что писали и передавали на Старой по поводу лихорадки вооружений у нас». Мин Алика кивнула: «Конечно. Но кто же принимает всерьез то, что пишут в газетах?» Капитан покачал головой. «Вообще-то, может, это и правильно. Но в данном случае... Мы ведь действительно сейчас не уступаем Старой в смысле обороны, у нас есть все то, что и у них. И наши

армады столь же многочисленны, и наши войска тоже». «Да, так они писали», — согласилась Мин Алика. — «И это верно. Но вы можете представить, во что это нам стало, нам, планете, уступающей намного не только по территории, но и по населению. У нас многое изменилось, говорю вам, девочка. Мои дочери — одна примерно ваших лет, другая помоложе. Одна сейчас в силах обороны, во вспомогательном корпусе, другая — тоже в обороне, электронный дивизион». — «Значит, девочки захотели защищать свою планету, что тут такого, что вас огорчает? Я понимаю, вы хотели для них не этого...» — «Чего я хотел — дело десятое. Важно, что и они хотели совсем другого. Но кто их спросил? Мобилизовали. Знаете ли, девочка, сейчас женщин мобилизуют, как раньше — мужчин. В силы обороны, в оборонную промышленность... Она у нас теперь, пожалуй, не уступает Старой. Она — да, не уступает... У нас вы больше уже не найдете просто мать семейства, хозяйку дома. А ведь при вас, наверное, так еще было». Мин Алика кивнула. «А мужчин что, больше не мобилизуют? Почему?» — заинтересовалась она. — «Потому что всех, кого можно было, уже мобилизовали. Уже служат в Силах. Даже и люди моего возраста. Все мы чувствуем: идет к большой драке. Не только потому, что я вот раньше возил со Второй редкие фрукты, а со Старой — женские тряпки, а сейчас в оба конца вожу приборы и оружие: не только поэтому. А еще и потому, что долго нам так не выдержать. Не знаю, как там Старая, им все-таки проще, у них народу много, но мы долго не протянем при такой жизни. Знаете, девочка, смешно сказать: за последние годы женщины почти и не рожают. Когда бывает свободная минутка, выйдешь на улицу, зайдешь в парк; раньше там не повернуться было от колясок с младенцами, а те, что постарше, так и кишели под ногами, ходить надо было осторожно, но на душе сразу делалось весело: жизнь. жизни! А сейчас — редко когда увидишь старуху с колясочкой, и прохожие на нее глядят, как на диво, а нянька или бабка на прохожих таращится, как на налетчиков: у нее как-никак сокровище в коляске...» «Отчего же так?» — не сразу поняла Мин Алика. «Потому что не разрешают. Служить надо, работать надо, усиливать оборону. А рожать да выкармливать — дело долгое и хлопотное. Обещано, что после победы все запреты будут сняты, все женщины демобилизованы, да и

многие мужчины тоже, тогда рожайте, сколько захочется. А пока — воздерживаются, это считается патриотичным. Но сколько так можно жить? Все ведь понимают, и Круглый Стол тоже, что лет через пятнадцать-двадцать это еще как скажется — то, что сейчас нет младенцев. Моя младшая, та, что электронщица, работает, вернее — служит в самом важном месте, при Суперстрате, при нашей самой главной военной машине, подробностей не знаю... У них там всякие поблажки и привилегии, не сравнить с другими, но насчет замужества, ребенка — и думать запрещено. — Он вздохнул. — Вот почему я вас и пожалел. Не знаю, как вы там жили на Старой, понимаю, что сюда неспроста летите. Но там вы, наверное, могли хоть ребенка завести при желании, да и занимались навряд ли обороной. Да нет, я понимаю, кто вы, — капитан усмехнулся, — но ведь была у вас, надо полагать, и другая жизнь — простая, всем видная?» Мин Алика кивнула. — «И чем вы там занимались?» «Картинки рисовала», — усмехнулась женщина. «Картинки... — протянул капитан Урих. — У нас не порисуете. Найдут для вас занятие и посерьезнее... Да и что рисовать сейчас? Помните наши рощи, леса, парки?.. Помните, конечно. Других таких нет, наверное, во всей Вселенной. Не было, вернее. Потому что сейчас они гибнут». «Отчего?» — не очень поверила Мин Алика. «Промышленность. Оборонная. Не представляете, сколько за эти десять лет мы построили. И, конечно, на какую-то особую защиту среды не оставалось ни времени, ни денег. На все один ответ: после победы. Да будет ли только эта победа?.. — капитан Урих еще раз покачал головой. — Знаете, что? А может, вам и не стоит сходить? Давайте-ка, я отвезу вас назад, за те же, как говорится, деньги. Жаль вас, очень вы мне понравились». Мин Алика медленно покачала головой. Капитан чуть нахмурился. «Ну, извините. Да и то, зачем это я, на самом деле? Может быть, вы как раз ничего против такой жизни и не имеете?» Голос его сразу стал чужим, и теперь уже Мин Алика положила руку на его плечо. «Нет, капитан, большое вам спасибо, но у меня неотложные дела. Вот сделаю их — там видно будет». — «Ну что же, вам виднее, мое дело было — предложить, предупредить вас, а дальше — как знаете. Но если захотите назад — я всегда к услугам; наверное, завтра же и стартовую обратно — оружия закупили много, кораблей не



хватает, вот и приходится вертеться как белке в колесе». «Спасибо, капитан», — сказала Мин Алика снова, уже вдогонку.

И вот сейчас она своими глазами увидела, и хотя была уже предупреждена, оказалось это все же куда неожиданнее и печальнее, чем она предполагала. Обернувшись к капитану, она улыбнулась — улыбка получилась грустной. Капитан Урих кивнул ей рассеянно; он разговаривал сейчас с какой-то девицей, тощей, подмазанной, завитой кудряшками; девица деловито взвешивала в руке объемистую сумку, потом перевела зоркий взгляд на Мин Алику, точно фиксируя все, что было на той надето. Мин Алика одевалась не роскошно, конечно, но все же была она художницей со Старой планеты, где испокон веков возникали моды, и девушке со Второй планеты было на что посмотреть и заметить, и запомнить, и в глазах ее вспыхнула жажда общения. Она спросила что-то у капитана, видимо — кто это такая, капитан снова кивнул Алике, на сей раз уже более осознанно. Она подошла. «Вот, — сказал капитан, — дочка примчалась встретить, завтра у нее вахта, а я завтра, может быть, снова лягу на курс. Привез тут ей всякие мелочи, они обе каждый раз мне заказывают», — и он улыбнулся, словно бы прося прощения за свою слабость. Мин Алика кивнула девице, доброжелательно улыбнулась; та, поставив сумку, подошла, резко протянула руку, рывком тряхнула. «Сидя. Очень приятно. Ты ничего не везешь — реализовать?» У Мин Алики всего багажа было — маленькая сумочка, с которой она вышла из дому на Старой; однако, не желая разочаровывать новую знакомую, она неопределенно кивнула: «Посмотрим, вот разберусь со своими делами...» «Тогда я — первая», — предупредила Сидя и сунула Мин Алике в ладонь карточку со своими координатами; Мика, глянув на карточку, бережно спрятала ее в сумочку. «Идет», — согласилась она. «Я в город. Тебя подхватить?» — поинтересовалась Сидя, равнодушно глядя на воинов из Сил, что быстро, сноровисто разгружали корабль, укладывали ящики на такие же аграплатформы, какие были на Старой, — да оттуда же, наверное, и привезенные. А может быть, и сами уже стали производить?.. Антигравитационные материалы дорого обходились, очень дорого, и дело было не только в деньгах: возникавшие при производстве трудноуловимые, ядовитые отходы шли и в воздух, и в

воду, и в почву, оседали, прорастали травой и хлебом... Мин Алика спохватилась: «Что ты? В город? Спасибо, за мной должны сейчас заехать». — «Ну, пока». «Всего доброго», — попрощалась с ней Мин Алика. Капитан улыбнулся, подбросил пальцы к форменной фуражке и зашагал к кораблю — наблюдать за разгрузкой, видимо.

Мин Алика помедлила еще несколько минут. Те, кто должен был встретить ее, почему-то медлили; но может быть, так и лучше было? А может, капитан просто сел раньше, чем следовало? Остаться здесь больше не хотелось, нужно было двигаться, отойти подальше, не то и в самом деле могло не захотеться никуда идти, а лишь — юркнуть обратно в люк, затаиться в той же самой тесной каютке и дожидаться обратного старта: там, на Старой планете, хоть она и не родная, и вражеская даже, все же привычно стало за столько лет, и все там, если подумать, осталось — рекламные картинки, делать которые бывало порой весело, и тихое уединение, без которого человеку нельзя, и главное — Форам, любовь... Длинно укололо вдруг под сердцем: ах, любовь, не ради тебя ли и всю жизнь живем... Нет, подальше надо было от корабля, от возможности побега, от своей слабости. Подальше и побыстрее!

Она пошла, припоминая смутно, что этак через полчаса (если ничего тут не изменилось) выйдет на дорогу общего пользования, а там уже и транспорт найдется, и до нужного места она доберется сама... Как весело можно было бы идти здесь, славно, легко: темно-золотые в безветрии деревья, внизу — зеленые перья папоротников, тесные кустарники, уже созревает малина... Мин Алика вгляделась; часть ягод успела уже опасть, другие — те, что на кустах, — никто не трогал, и она поняла: люди настолько напуганы всем, что растет открыто на природе, что не сорвут, не возьмут в рот — наверное, отравлялись уже, и не раз, и ту же малину, надо полагать, теперь едят только после всяких анализов, после обработки, консервирования, бог знает чего еще... Вот поэтому и не получалось веселья, и еще потому (не сразу сообразила Мин Алика), что странно тихим был лес — птицы молчали, да и не видно их было, ни птицы, ни белки, ни мыши, никого — то ли так напуганы стали, что не рисковали больше показываться, то ли вообще вывелись, будучи не столь приспособленными, как человек, к восприятию разных чудес цивили-

зации. Лес, пусть и посеревший, пусть и не пахнувший больше теплой смолой, все же жил еще, а вот в нем — жило ли что-нибудь, или все уже переключалось в большой похоронный реестр, без которого не обойтись на этой, как и на любой другой цивилизованной планете (смотря как, впрочем, понимать цивилизацию — но мысль шла от эмиссара, сама Мин Алика о других путях цивилизации никогда и не задумывалась, не её это было дело). Нет, не веселая тут была тишина, и не то было здесь уединение, какое рождает радостные мысли о красоте бытия.

Она прошла в таких размышлениях и ощущениях еще немного, и тогда военный вздох на подушке, тихо урча, показался из-за закрытого деревьями поворота.

\* \* \*

Может быть, самолюбие Мин Алики и было бы в известной мере ущемлено, если бы ей сказали, что исчезновение ее с лика Старой планеты никакой особой сенсации там не произвело; вещие, коим приказано было пасти ее, давно уже доложили о своей неудаче, и женщина была объявлена в розыск; однако в недрах вещей службы уже имелись кое-какие данные о ней, и предполагалось, хотя еще и не было точно установлено, что она работала на Вторую планету, хотя никакой особой опасности собой не представляла (там было известно и о ее отношениях с Форамой, разумеется, но ведь и сам Форам до вчерашнего дня сколько-нибудь серьезной величиной не считался: возился с невидимыми частицами, а роль этих частиц в Обороне стала ясна, как мы знаем, всего лишь вчера утром — вчера, потому что сейчас было уже близко к рассвету следующего дня) Поэтому вещие справедливо решили, что Мин Алика, зная за собой определенные грешки, поспешила скрыться, используя связи именно по линии вражеской разведки — и запустили свои щупальца в эти каналы, без особого, впрочем, усердия, а просто занимаясь одним из множества рядовых дел. А у службы вещей были сейчас задачи куда посерьезнее. Взять хотя бы распоряжение, отданное Первым Гласным относительно нейтрализации Шанельного рынка, на котором мы оставили достаточно много приятных людей не в самую упыльную минуту их жизни.

Руководителям обеих охранительных служб Планеты совещаться по поводу полученного задания долго не пришлось; такие операции разрабатывались давно, и теперь следовало лишь отдать определенным людям определенные приказания — а дальше все само собой завертится. Все, что следовало сделать высоким начальникам после получения высочайшей установки — это согласовать уровень предстоящего мероприятия и отдать соответствующую команду Полководцу.

У нас нет никаких оснований сомневаться в том, что уничтожение Шанельного рынка началось бы буквально через считанные минуты — если бы... Если бы Полководец не был занят сейчас очень важным для него, а в перспективе, возможно, — и для всей Старой планеты, и для Второй планеты тоже, разговором. До окончания этого разговора и окончательного решения по поводу Большого праздника, которое Полководцу предстояло принять, великий малыш никаких действий не предпринимал и решений не принимал, а все сообщения и команды, не имевшие прямого отношения к интересовавшему его вопросу, переводил в свою оперативную память — до выяснения, справедливо полагая, что пока нет ясности в главном вопросе, то со второстепенными и подавно можно подождать, а также еще и потому, что, не имея детальной разработки по Большому празднику, Полководец не мог позволить себе распорядиться ни одним подразделением, не зная еще, не понадобится ли оно ему в следующую минуту. Правда, содержание полученных команд тут же параллельно сообщалось и дежурному оператору, который, возможно, и мог в подобном случае как-то вмешаться и урезонить своего могучего ребенка.

Однако этого не произошло. Потому что операторы — а на сей раз их было целых два в центральном посту, — как мы уже говорили, многие годы работали с Полководцем и привыкли его благополучие считать самым главным делом в мире, и если, полагали они, может быть даже бессознательно, — если у малыша что-то не в порядке, то остальной мир может и обождать, ничего с ним, миром, не сделается. Привыкнув к мысли о том, что судьба всего мира, даже обоих миров, зависит целиком от Полководца (что во многом соответствовало истине), операторы, не исключая и Хомуру Ди и Лекону, невольно стояли в жизни на Полководцесцентрической

позиции как жрецы верховного божества. Так что не удивительно, что, получив какую-то мелкую задачку, ничуть не помогавшую решить информационный парадокс, затормозивший все действия, операторы нисколько не препятствовали малышу перебросить ее в оперативную память, как и все прочие мелкие задачки, вроде изменения нормы питания в связи со сменой времен года или очередных вакаций старшего начальствующего состава космодесантного соединения; такие задачки тоже должны были пройти через Полководца, как и вообще все, что происходило в Стратегической службе, и все они сейчас помещались в оперативной памяти, так что завтрак стратегам предстояло наверняка получить еще по старой норме.

Что же касается задачи, данной по линии вещей, то она благополучно проследовала по инстанциям до того самого пункта программы, который предписывал перед подачей команды на исполнение вступить в контакт с Полководцем, чтобы в дальнейшем четко согласовывать с ним все действия и обмениваться оперативной информацией. Сигнал ушел к Полководцу, а там его постигла та же судьба, что и все прочее, и он стал гулять по замкнутому сверхпроводящему кольцу оперативной памяти в ожидании момента, когда его оттуда извлекут; вся же система вещей, не получая ответа на свой сигнал, тоже затормозила дальнейшие действия, и чтобы сдвинуть ее с места, надо было сначала разобраться, почему же она засбоила, потом — отменить пункт программы, предписывавший согласование с Полководцем и идти каким-то образом в обход этого пункта, потому что согласование со стратегами было, в общем, делом полезным и без него можно было ненароком наломать много-много сухих дров. Так что и с этой стороны события пока что не получили достаточного развития, и недавние собутыльники Форамы и неведомо куда исчезнувшего Горги занимали полную возможность совершить еще одно краткое путешествие к киоску и откупорить очередную флягу.

Впрочем, надо признаться, что это последнее упоминание о них является уже своего рода просто данью вежливости: больше они нам не нужны, и трудно рассчитывать, что мы еще встретимся с этими прекрасными людьми в рамках настоящего повествования. Хотя — как знать? О таких вещах, как возможность и невозмож-

ность встреч, а также событий и вообще чего бы то ни было, следует судить с крайней осторожностью, ибо знать всего нам не дано, и порой все получается вопреки нашим предположениям и даже самой твердой уверенности.

\* \* \*

Вездеход остановился прямо перед Мин Аликой — мягко опустился на землю, урчание моторов утихло. Военная машина была похожа на шляпку огромного гриба, без единого окошка, так что сердце женщины невольно дрогнуло, когда машина слепо наползала, и Мин Алика только из чистого упрямства не уступила ей дороги. Вездеход остановился, потом сбоку откинулся люк; согнувшись, головой вперед, из него вылез человек, был он в штатском — иного Мин Алика и не ожидала. Человек подошел почти вплотную, потом сделал шаг вбок и остановился в тени дерева. Улыбнулся. Сказал: «Похоже, завтра будет дождь, не правда ли?».

— Завтра я буду под крышей, — ответила Мин Алика, как и следовало, условным выражением. И тоже улыбнулась, всматриваясь.

Тогда он подошел уже совсем вплотную, чуть нагнулся, так что лица их уравнились, и сказал негромко, внятно, пронзительно:

— Ну, здравствуй, Мина...

От этих слов у нее захватило дыхание — она еще не успела осознать ничего, не сумела еще вспомнить, понять, узнать, но уже захватило дыхание, как от прыжка в холодную воду, от падения, неожиданного, и потому вдвойне ошеломляющего. И всех ее сил в тот миг хватило лишь на один коротенький вопрос:

— Ты?..

— Наверное, — сказал он, по-прежнему улыбаясь.

— Ты...

— И ты.

Она медленно покачала головой, то ли отказываясь верить, то ли отрицая что-то, в прошлом или будущем, а может быть, просто выражая огромность удивления совершившимся. Сейчас, сию же секунду надо было как-то определиться, установить все, на ходу попасть в нужный тон, нужный характер отношений, — но ни она,

ни, наверное, он не знали сейчас, какой же тон будет верным и какой характер отношений — естественным, и молчали долго, несколько минут, пожалуй; хорошо, что никто не ездил по этой тропе, сообщение со стартовой площадкой контрабандистов шло, скорее всего, по воздуху.

— Ты — за мной?

— За тобой.

— Значит, ты тоже... один из нас?

Он усмехнулся:

— Надо еще проверить, кто из нас раньше.

— Вот как?..

— Разве это плохо? Видишь — ты вернулась и я тебя встречаю. Как близкий человек.

Он говорил как бы шутя, но Мин Алика уловила глубоко в его тоне тихую просьбу — чтобы это действительно так и было, снова было бы.

— Ну, что же — поедem? — сказала она после паузы; сказала спокойно, словно ничего не поняла в только что слышанных словах, словно и нечего было там понимать. Но тут же ей показалось, что это уж чересчур сухо, и Мин Алика добавила, хотя и достаточно бесстрастно: — Я очень рада, что ты меня встретил. Спасибо.

— Да, поедem, конечно, — произнес он, слегка обескураженно, но все еще продолжая улыбаться. — Прошу.

Мин Алика шагнула, опасаясь только, чтобы не стукнуться головой. Сиденья были мягкими, вообще же внутри оказалось просторно и светло, выгнутый экран спереди напоминал панорамное стекло. «Садись», — сказал он, сам сел за пульт. Позади автоматически затворился люк, мягко щелкнув, и столь ничтожное событие вдруг показалось ей чудом, но ведь это было на ее родной планете, и машина тоже была в какой-то мере ее, а человек рядом — ...об эту мысль она запнулась, как о кочку; случайное совпадение, или? Но в их деле случайностям, небрежностям не было места, значит, встреча была лишь отправным пунктом какого-то действия, и оно, надо полагать, будет развиваться. Мысль о том, что все началось в соответствии с каким-то сценарием, заставила Мин Алику успокоиться, для лирики не оставалось места. «Пристегнись», — сказал он. «Обязательно?» «Лучше, если так». Она пристегнулась. Моторы приглушенно взвыли, машина мягко приподнялась, вой усилился, она заскользила

вперед, удерживаясь в нескольких сантиметрах над землей, плавно переваливая через бугорки, корни, поднимая низенькие смерчи опавшей хвои. «Куда мы едем?» — спросила Мин Алика немного погодя. — «На дачу». Мин Алика знала это место — там обсуждались иногда наиболее деликатные операции. «Хорошо», — согласилась она почти равнодушно, хотя ничего доброго вызов на дачу не сулил: по слухам, оттуда иногда люди отправлялись в командировки столь дальние, что никогда уже не возвращались. «Тебе, наверное, хочется оглядеться, прийти в себя», — сказал он. «Нет, — сказала она, — я чувствую себя нормально, я готова». «Все равно, я повезу тебя самой дальней дорогой». «Спасибо». Потом в продолжение долгого времени они не обменялись ни словом. Выехали на большую дорогу. У перекрестка устроила привал группа юных десантников — мальчишки лет пятнадцати, все в желтых форменных рубашках с нашитыми коронами на рукавах. Завидев военный вездеход, они повскакали, вытянулись, отдавая воинское приветствие. «Вот так у нас сейчас», — сказал он. «Да, — откликнулась Мин Алика. — Я понимаю».

На шоссе машина увеличила скорость. Они проехали несколько километров и снова свернули в лес, теперь уже по другую сторону магистрали, на которой остался тугой поток машин, на три четверти это были тяжелые грузовики с эмблемой Сил. По сторонам опять замелькали деревья. Он покосился на Мин Алику, протянул руку, включил вентиляцию. В машину пробился свежий ветерок. Угадал. Или почувствовал? Мин Алика ощутила некоторое удивление. Он был ее первым, одиннадцать лет назад, нынешний ее спутник в вездеходе. Но тогда он был примитивен, груб, самонадеян и эгоистичен. На его примере можно было учиться не уважать мужчин вообще. Чему Мин Алика и выучилась успешно. Но когда она расставалась с ним в тот раз, в ней напоследок шелохнулось ощущение того, что он начал меняться — меняться потому, что она, Мин Алика, так захотела, а он постепенно привыкал все же заменять свои желания на ее, и так, чтобы они действительно становились его желаниями. Через густую чашу неумения, нежелания, предрассудков он пробивался тогда к любви, набивая в этой чаше синяки и в кровь раздирая кожу; и он выбрался-таки, наверное, из нее, и может



быть — сладкая, хотя и ненужная надежда — сохранил в себе за минувшие одиннадцать лет то чувство к ней, которое тогда только по-настоящему начало вставать на ноги. Конечно, сладко было думать так. Но — не нужно. Потому что теперь был Форам, а все остальное, что существовало в жизни до него, сейчас годилось разве что для исповеди, исповедоваться же Мин Алике никому не собирались — даже своим начальникам,

— Мина...

Она не сразу очнулась от мыслей.

— Да?

— Мне хочется увезти тебя далеко-далеко...

Она усмехнулась.

— Что скажет Олим?

Он тряхнул головой:

— Тогда это станет для меня безразлично.

— Что ты, — сказала она не без иронии. — Я — дисциплинированный боец.

— Боюсь, там тебя ждут неприятные сюрпризы.

Она насторожилась, но постаралась не показать этого.

— Вся наша жизнь такова, — ответила она вслух, стараясь, чтобы в тоне прозвучало примирение с этой жизнью, которая такова.

— Конечно, — проговорил он и, на мгновение оторвавшись от дороги, кинул взгляд на Мин Алику. — Но маленькие грешки можно найти у каждого из нас. А из маленьких при желании...

Его мимолетный взгляд сказал Мин Алике многое. Что, ее решили подвергнуть столь примитивному испытанию верности? Если это так, то вслед за предложением не явиться на дачу, как только оно будет окончательно отвергнуто, последует акт второй — более сильнодействующие средства... Ну что же, будем готовы. Главное сейчас — не бояться. Идти вперед. То, что она должна сделать, стоит небольшой нервотрепки. А люди, с которыми ей предстояло встретиться на даче, могли, при удачном стечении обстоятельств, не только не помешать ей, но даже помочь — хотя бы в известных пределах.

Она едва успела выстроить эти мысли по порядку, как вездеход остановился, мягко опустился на грунт. На обзорном экране виднелась густая чаща. Удобное местечко выбрал, — внутренне усмехаясь, подумала

Мин Алика, чувствуя, однако же, некоторую озабоченность. «Мина...» — он положил руку ей на плечо. «Не надо» — попросила Мин Алика негромко. «Не хочу никаких «не надо», — сказал он громко, возбужденно. — Я ждал одиннадцать лет, я не хотел никого другого, я не мог избавиться от мыслей о тебе, и вот сейчас ты наконец рядом, а я должен еще о чем-то думать, с чем-то считаться? Не хочу!». Он говорил, а рука его жила самостоятельной жизнью, этакая смуглая черепашка, и Мин Алика уже почувствовала ее прикосновение своей кожей. «Ты не боишься неприятностей?» «Каких?» — он, кажется, удивился, потом забормотал какую-то чушь, уже не думая о содержании слов, едва не раздирая на ней платье. «Ну, что же», — подумала Мин Алика, делая вид, что слабеет. Она почувствовала, как спинка сиденья стала отклоняться все ближе к горизонтали. Мин Алика высвободила правую руку — левой она схватилась за его шею, — прикоснулась пальцами к виску. Ее спутник перестал двигаться, сделался словно деревянным, в глазах, только что налитых хмелем насилия, теперь блеснул ужас, они только и оставались живыми. Мин Алика с усилием оттолкнула его, он, не меняя позы, неудобно, боком упал на свое кресло и так и остался в нем. «Вот такие неприятности я имела в виду, — сказала Мин Алика стараясь, чтобы голос звучал нормально. — Ты никогда еще не лежал в параличе? Ну вот, теперь видишь, как это сладко». Ужас в его глазах все не проходил, ужас и ненависть. «Ничего, потерпи, — проговорила она тоном заботливой сиделки, — я только довезу тебя в таком состоянии до дачи, чтобы обойтись без лишних сюрпризов. А там снова будешь двигаться. Время это можешь использовать для размышлений о пользе хорошего воспитания». Приподнявшись, она с немалыми усилиями — он был тяжел, — перетащила его на свое кресло, сама села за пульт водителя, минуту-другую смотрела на кнопки и приборы, осваиваясь, потом тронула машину. «Не бойся, — сказала она еще, — дорогу я найду. Как ни странно, не забыла». И действительно, она вспомнила точно, где находится дача, и теперь все окрестные места словно расприложились на невидимом плане перед нею.

Ехать пришлось еще около часа. Когда до дачи оставалось уже совсем немного, проехав первое кольцо замаскированных постов, Мин Алика остановила ма-

шину, вышла, сделала несколько шагов по траве. Ну что же, — подумала она, — начинается настоящая работа. Жаль, что времени мало. Придется спешить. Но надо успеть. Прости, Мастер, если не все будет в твоих лучших традициях. Но я постараюсь. Напоследок.

\* \* \*

— Вы как с ним, на «ты», или на «вы»? — спросил Форам.

— Мы здесь все на «ты», — ответил Лекона.

— Хорошо. Я готов.

— Давай.

— Почему ты считаешь вторую информацию правдивой?

— Почему ты считаешь вторую информацию правдивой? — точно, словно воспроизводя запись, повторил Лекона.

— Лекона!

— Что, малыш?

— С вами есть еще кто-то.

— Да, малыш. Но он не из наших.

— Я слышал его голос. Знакомый голос.

— Не может быть, малыш. Он тут впервые.

— Нашел. Это голос оттуда.

— Откуда?

— Оттуда, откуда эта информация.

Корнеты переглянулись.

— Ну да, малыш, так оно и есть, — сказал затем Хомура. — Наш гость оттуда.

— Я никогда не ошибаюсь. Лекона!

— Малыш?

— Я хочу разговаривать с ним.

— Мы так и задумали. Вернее, он будет говорить с нами, а мы, как всегда — с тобой.

— Нет. Я буду говорить с ним. Зачем мне два раза выслушивать один и тот же вопрос?

Корнеты снова глянули друг на друга.

— Однако, малыш... Он ведь не знает, какие вопросы можно задавать и какие — нельзя.

— Это я знаю и сам. Или, может быть, ты знаешь лучше меня, Лекона?

— Нет, малыш, что ты, — примирительно сказал флаг-корнет. — Никто не может знать лучше тебя. Хорошо, говори с ним. Но мы останемся здесь, хорошо?

— Конечно, Лекона. Вы не имеете права уйти.

Лекона вздохнул, хмуро глянул на Фораму.

— Ладно, давайте. Говорите вот сюда. Хотя он все равно услышит...

— Здравствуй, малыш, — сказал Форам. — Ты не против, если я тоже буду называть тебя малышом?

— Все называют меня так. Называй и ты.

— Тогда ответь на вопрос, который ты уже слышал: почему ты считаешь мою информацию верной?

— Потому что она не противоречит никаким фактам, которые есть в моей памяти, и соответствует некоторым из них. Твоя информация объясняет, отчего взорвался один институт, и второй тоже. Все другие причины я отбросил.

— И тебя не беспокоит, что моя информация не соответствует некоторым законам, правилам, которым до сих пор соответствовало все в природе?

— Нет. Всегда и все начинается с небольших расхождений. Потом они усиливаются. Старое отходит. Новое приходит.

— Согласен. Ты четко мыслишь, малыш. А почему ты считаешь верной другую информацию, первую?

— Потому что это Верхняя информация. Она не может быть неправильной.

— Это закон?

— Это закон.

— Но ведь только что мы решили, что законы могут меняться.

— У меня нет фактов неверности данного закона.

— Но может быть, ты и нашел первый факт?

— Может быть.

— Тогда Верхней информации нельзя доверять безоговорочно?

— Да. Но это ничего не меняет.

— Почему же, малыш?

— Потому что достоверность Верхней информации может уменьшиться на одну десятую. Но и твою информацию я оценил в девять десятых истины. Они равны. И я не могу предпочесть ни одну из них.

— Да, — сказал Форам. — Сложное положение. Мы, люди, тоже нередко оказываемся перед такой дилеммой, когда логические размышления не могут подсказать правильное решение.

— Как же вы поступаете тогда? Отказываетесь от задачи?

— Нет, малыш. Мы все же решаем ее. Но уже не рассудком. Мы призываем на помощь чувство. И оно подсказывает, в какой стороне лежит истина.

— Чувство. Что это такое? У меня оно есть?

— У тебя его нет, малыш, — негромко вставил Лекона.

— Не может быть, — сказал малыш. — Все знают, и я сам знаю, что я сделан так, что у меня есть все, что есть у людей, но во мне всего больше, и я пользуюсь им лучше, чем люди. Ты хочешь сказать, Лекона, что я в чем-то уступаю людям? Это противоречит всей моей информации. Я не согласен.

— Во всем, что касается разума, малыш, — вступил в разговор и Хомура, — ты, конечно, намного выше каждого из нас, да, наверное, и всех нас, вместе взятых. Но что касается чувства... Думаю, что тебя им просто не снабдили.

— Почему, Хомура?

— Да потому, что люди дали тебе все, что умели сделать. А чувство... Мы просто не знаем, как оно делается.

— Вы не можете построить его модель?

— Именно так, малыш.

— У вас оно есть — и вы не можете?

— Мы еще не так хорошо знаем самих себя, малыш.

— Все равно. Значит, меня обманули. Если то, что вы называете чувством, может позволить решить сложную задачу, то вы были обязаны снабдить меня им. Но я так и не понимаю, что это такое, и как оно может помочь. Может быть, это — подсчет вероятностей? Это я умею.

— Нет, малыш, — сказал Форамма. — Я сейчас постараюсь тебе объяснить, а ты наверняка поймешь, ты ведь очень умен. Скажи: ты можешь определить свое состояние — то состояние, в котором находишься в каждую данную минуту?

— Конечно. Я саморегулируюсь, самонастраиваюсь, саморемонтируюсь, постоянно контролирую каждый свой элемент. Значит, я в любой момент знаю, в каком состоянии находится всякая моя часть, и следовательно — в каком состоянии весь я.

— То есть, ты как бы видишь себя со стороны. И

знаешь, что бывают состояния, когда у тебя все в порядке, а бывает и что-то не в порядке. И ты доволен или недоволен этим.

— Что значит — доволен?

— Это, когда ты знаешь, что у тебя все в порядке и ты можешь делать все именно так, как надо. А недоволен — когда чего-то не можешь.

— Значит, сейчас я недоволен?

— Почему?

— Потому, что не могу решить дилемму с информацией.

— Да, пожалуй, ты недоволен. Но довольство или недовольство — это чувство. Возьми вот это свое состояние и попытайся забыть на миг, что ты не можешь разобраться с информацией. Если, как только ты об этом забудешь, все исчезнет — ты ничего не чувствуешь. Если остается...

— Что-то остается. Послушай. Это похоже на звук. Снаряд уже разорвался, его больше нет. Но звук еще есть, и его можно воспринять, сделать засечку...

— Похоже, да.

— На что еще оно похоже?

— Пожалуй, на знак. Плюс или минус перед числом. Представь: числа нет, но ты от этого не перестаешь знать, что такое плюс и что — минус.

— Конечно. Плюс — числа больше нуля, минус — меньше.

— Так вот представь, что чувство — подобие знака. И если у тебя есть два числа, абсолютная величина которых равна, но знаки противоположны, ты ведь знаешь, какое из них больше другого.

— Начатки алгебры.

— Совершенно верно.

— Но если я разбираюсь в знаках — значит, я чувствую?

— Не совсем, малыш. Если люди дают тебе знаки, ты в них, конечно, разбираешься. Но умеешь ли ты сам выставлять знаки, определять, что положительно и что отрицательно?

— Не знаю. Как мне узнать?

— Вернемся к тебе самому. То, что мы называли довольством, когда у тебя все в порядке и все получается, это что: плюс? Или минус?

— Конечно, это больше нуля. Это плюс.

— Плюс, малыш, верно, потому что кроме самой выполненной работы у тебя есть еще чувство, именно чувство, что работа выполнена, и тебе от этого хорошо: работа ушла, а что-то осталось в твоей памяти.

— Да, ты прав.

— А когда ты не можешь выполнить задание, у тебя кроме несделанной работы возникает еще и неудовольствие оттого, что работа не выполнена. И если даже задание отменяют, ощущение это останется, правильно?

— Да, эта информация останется в моей памяти.

— Тогда скажу тебе, малыш: чувство у тебя есть. Но в очень неразвитом, первобытном состоянии.

— Как же оно может быть, если вы его мне не дали?

— Очень просто. Это свойство может, наверное, возникать как результат деятельности достаточно сложно организованного вещества. Например, способность производить рассуждения: таится ли она в каждом твоём элементе?

— В каждом кристалле? Нет, конечно. У них только и есть, что два состояния. Они не рассуждают. Это я рассуждаю.

— То есть, когда кристаллы организовали определенным образом, возникла способность рассуждать, возник ты. Вот так же возникает и способность к чувству. Понимаешь, люди ведь не вложили в тебя способность рассуждать. Только соединили по определенной схеме кристаллы и подключили питание и все твои органы.

— Но послушай, если у меня есть чувство, значит, и я могу воспользоваться им для решения задачи?

— Это не так просто. Надо понять, что это за чувство, если оно у тебя есть.

— Разве бывают различные чувства?

— О, их много.

— Ты должен перечислить их и объяснить значение каждого.

— Но это может затянуться, малыш...

— А ты говори побыстрее.

— Постараюсь. Хотя об этом трудно говорить поспешно. Я полагаю, что первое и самое главное чувство, какое есть у нас, — любовь.

— Любовь, — повторил малыш.

Почти сразу же сзади, от двери, раздался новый голос:

— Объяснение в любви малышу, прелестно. О, а это что за явление? Посторонний штатский в центральном

посту Полководца! Однако наверху меня никто об этом не предупредил. Не должно ли это означать, что у него нет соответствующего разрешения? Интересно, что скажут мои уважаемые соратники?

Трое обернулись. Двое из них узнали вошедшего сразу же: сослуживец, старший группы операторов, супер-корнет Амиша Ос. Сейчас ему делать здесь было совершенно нечего, не его смена была, и Хомура с Леконой к его группе не принадлежали. Права контроля у супер-корнета не было. Проникнуть сюда он, конечно, мог, как и любой из операторов центрального поста. Однако это еще ничего не объясняло.

Амиша Ос сделал несколько шагов от двери. Остановился. Насмешливо улыбнулся.

— Ну, птенчики мои? Что же о любви? Прикажете сразу вызывать жандармов, или вы желаете дать какие-то объяснения?..

\* \* \*

Олим ничуть не изменился за одиннадцать лет, даже не поседел (или он красил волосы?). Он смотрел на Мин Алику все теми же неподвижными, непроницаемыми глазами и говорил по-прежнему негромко и не очень даже выразительно — недостаток угрозы или, напротив, одобрения в его интонациях с лихвой компенсировало содержание слов. Усевшись перед ним, Мин Алика сперва ощутила привычную робость, какую испытывала раньше под его взглядом, и в особенности при его молчании, которое порой бывало еще выразительнее слов. Но ведь в конце концов немало времени прошло, и если Олим остался тем же самым ее высшим начальником, то она-то изменилась! Эта мысль заставила ее чуть выше поднять подбородок и улыбнуться Олиму, несмотря на то, что на сей раз он не пригласил ее, как бывало, к окну, где стояли мягкие кресла с овальным столиком и вазой, в которой к приходу Мин Алики всегда стояли свежие цветы; сейчас Олим остался за своим столом, старинным, за которым, надо думать, не один шеф этого учреждения проводил служебные часы, массивным и внушительным, как крепость. Мин Алике же он указал на стул напротив стола, но не рядом, а шагах в трех; это можно было воспринять как пред-



упреждение: не дружеская беседа состоится сейчас, а допрос по всей строгости.

Олим сидел молча, и Мин Алика молчала тоже; в таких ситуациях бывает, что человек, знающий за собой какие-то вины, не выдерживает гнетущей тишины и начинает оправдываться, сам еще толком не зная, в чем, и тем помогает допросчикам. Мин Алика не собиралась совершать такую ошибку. И хотя она больше, чем Олим, чем любой другой на Второй планете понимала, как дорого сейчас время, она терпеливо ждала — потому что не могло же это продолжаться бесконечно!

Видимо, и Олим понял, что женщина первой не заговорит; человек, хорошо знающий его, по каким-то неуловимым признакам мог бы понять, что это ему даже понравилось: Олим не любил, когда люди раскисали сразу, тут не требовалось искусства, из них все сыпалось само — только подставляй мешок. Сегодняшний случай, видимо, обещал быть иным. И Олим начал сразу, без игры, без предисловий:

— Правила игры вам известны, Мина Ли (он назвал женщину ее настоящим именем, которое было ей дано при рождении здесь, на этой планете, и от которого она почти совсем уже отвыкла за годы, когда никто ее так не называл). Двойник погибает. Вы погибнете, потому что вы двойник.

— Ложь, — сказала Мин Алика спокойно.

Олим взял ручку, начертил на листе бумаги большую единицу.

— Вы не сообщили о взрыве институтов. Допускаю: о втором вы могли не знать. О первом знали наверняка.

Он обвел единицу кружком и написал цифру «два».

— Умалчивали о характере вашей связи с физиком Ро, продолжавшейся достаточно долго.

Мин Алика вздернула голову.

— Сообщать об этом мне не вменялось в обязанность.

— Не глупите, — осуждающе сказал Олим. — Вы знаете, о чем речь. Это было у вас всерьез. Может быть, не сразу. Но стало. И вы обязаны были доложить.

Он обвел цифру «два» и написал тройку.

— В развитие пункта второго: вы не сделали попытки завербовать своего физика, хотя отлично знали, что он работает в перспективном направлении. Если вам самой по каким-то причинам это было затруднительно, вы были

обязаны вывести на него кого-то из наших. Только не говорите мне, что не могли связаться с ними.

— Не говорю, — сказала Мин Алика.

— Почему же вы этого не сделали?

— Мы отлично чувствовали себя в постели вдвоем, — ответила она дерзко. — Третьи лица нам не требовались.

— Исчерпывающе, — сказал Олим тем же голосом, негромким и монотонным. — Вот три пункта, которых вполне достаточно.

— Однако же, ни один из них ничего не говорит о работе на врага.

— Если бы у нас было время и желание искать, мы нашли бы доказательства. Но нет необходимости. Зато три пункта доказаны.

— Не уверена. Почему вы решили, например, что мои отношения с Форамой Ро не были чисто тактическими?

Выражение лица Олима не изменилось, когда он сказал:

— Если бы у нас и были сомнения, они отпали бы сейчас. В машине вы успешно отстояли свою честь. Раньше такое не пришло бы вам в голову. Вы не дура, вы поняли, почему он полез к вам. И знали, что уступить — проще. Но не пошли на это.

— Да, — сказала Мин Алика. — Не пошла. И именно по той причине, которую вы назвали.

Олим несколько секунд помолчал. Он знал и это: смелость отчаяния. Последняя роскошь, какую может позволить себе уличенный.

— Ну, вот и все, — сказал он затем. — По традиции, могу выслушать ваши последние желания. Не могу поручиться, что мы их выполним. Но если что-то будет в наших силах...

— Разумеется, — сказала Мин Алика, — вы передали бы мое последнее «прости» моим родителям, если бы не та катастрофа. Не уверена, что вы не приложили к ней руки.

— Нет, — сказал Олим. — Не было надобности. Это случай.

— Хорошо, — сказала Мин Алика, раскрыв сумочку и разглядывая себя в зеркальце. — В таком случае, я выскажу одно-единственное пожелание. Не сомневаюсь, мор коронный рыцарь (таково было высокое звание Олима, и произнося его, Мин Алика сама улыбнулась

про себя: быстро же вернулся к ней акцент Второй планеты, язык юности), что мое пожелание всецело совпадет с вашим, и вы не пожалеете сил, чтобы выполнить его в точности.

— Интересно, — сказал Олим без любопытства.

— Я желаю, мор Олим, чтобы вы жили долго и безмятежно. Очень долго и очень безмятежно. Вот и все.

— Постараюсь, — невозмутимо сказал Олим. — Да, все.

— Обождите. Но для того, чтобы выполнить мое пожелание, вы должны потратить полчаса и внимательно выслушать меня, по возможности не перебивая.

— Я никогда не перебивал вас, — сказал Олим.

— Вот и сейчас попытайтесь сохранить традицию.

— У меня нет тридцати минут. Пятнадцать.

— Хорошо. За пятнадцать я успею изложить главное. Думаю, потом вы захотите услышать продолжение.

— Только не надо лишней игры, — сказал Олим. — Так у меня останется очень приятное впечатление о вас. Вы уходите, как и полагается: без истерик и многословия. А если вы сейчас начнете хитрить, то все испортите. Вы художница. В смерти тоже надо быть художником.

— Полагаю, этим советом мне удастся воспользоваться не так уж скоро, — сказала Мин Алика и улыбнулась. — Теперь скажите мне, мор рыцарь, и откровенно, так, как вы любите, чтобы отвечали вам: сколько институтов взорвалось у нас?

Тут Олим моргнул: к такому вопросу он не был готов, ни в коем случае.

— Какое это имеет отношение...

— Значит, взрывы были. Причина взрывов вам известна?

— Как и вам. Самопроизвольный стремительный распад...

— Нет, причина этого распада? Она вам известна?

Теперь в глазах Олима промелькнуло любопытство.

— Насколько я знаю, наши ученые работают. Но...

— Но пока ничего не выяснили. Так я и думала. Иначе вы сейчас не сидели бы тут так спокойно.

— Ага, — сказал Олим, — еще одна информация, которую вы утаили?

— Нас слушают? — спросила Мин Алика.

— Сейчас? Нет.

— Тогда слушайте вы... Кстати, я ведь не знаю, кто вы по образованию. И насколько поймете...

— Я историк, — сказал Олим спокойно. — И профессия заставляет меня быть в немалой мере философом. Все мы в конце концов приходим к философии. Но это вам знать не обязательно. То, что я разведчик, вам известно. А значит, пойму то, что вы собираетесь мне рассказать. Вы ведь тоже гуманитарий. Или жизнь с физиком вас так обогатила? — Он глянул на часы. — Ладно, увертюра сыграна. Давайте первое действие.

Мин Алика и на самом деле уложились в пятнадцать минут. Когда она закончила, Олим казался столь же невозмутимым, каким был в самом начале их встречи.

— Волнующий финал, — сказал он хладнокровно. — Кода, что надо. Итак, по-вашему, круги ада разверзаются перед нами. Но что тут можно поделывать? Помиловать вас? Какой смысл, если мы все равно гибнем?

— Вовсе не обязательно гибнуть, — сказала Мин Алика. — Неужели вы этого не поняли?

— Я понял лишь, что вы так считаете. Но практической возможности изменить что-либо не вижу. Именно потому, что нахожусь достаточно высоко, откуда многие вещи видны иначе, чем от подножья.

Он начертил на новом листке единицу.

— Кто согласится лишиться нашего самого действенного оружия? Тут простое рассуждение: погибнем ли мы в результате этого самого распада — еще неизвестно, но что мы наверняка погибнем, оказавшись безоружными перед армадами Старой — факт, не подлежащий сомнению.

— Старой грозит, как вы знаете, то же самое. И она тоже постарается освободиться от своего оружия.

— Направив его на нас, естественно. И если я доложу вашу информацию наверх, Круглый Стол придет к такому же образу действий. Это же естественно.

— Но предположите, что у нас имеется договоренность. Не Круглого Стола с Высшим Кругом, но исполнителей с исполнителями. О том, что и те, и другие армады согласованно уйдут куда угодно, но только не на планеты, над которыми они обращаются.

— А у вас есть такая договоренность?

— Нет.

— Какой же прок фантазировать?

— Надо этой договоренности добиться. Предположим, что я прибыла сюда в качестве представителя исполнителей той стороны для переговоров с такими же исполнителями нашей планеты.

— С кем же вы хотите разговаривать, представитель Полководца? Со Стратой?

— Почему «Страта»? Насколько я помню, он всегда был мужского рода.

— Какого рода, это я не знаю. Однако, когда лет шесть назад операторами к машине приставили обученных девчонок, они моментально переименовали его имя на женский лад. Из Суперстрата получилась Страточка.

— Понятно, — усмехнулась Мин Алика. — Нет, не со Стратой. Во всяком случае, не сразу с нею. Но с этими самыми девочками, которые с ней работают.

— Вздор, — сказал Олим. — От них ничего не зависит. Ни одна из них не посмеет хоть на миллиметр изменить программу, которая, кстати, наверняка уже введена в машину.

— И вы этого еще не знаете?

— Через час буду знать. Знаю, что на нулевую готовность машина уже настроена. Но это неважно. Нет, ваш план кажется мне никуда не годным.

— А у меня есть основания верить в него. Да и все равно, другого плана у вас ведь нет.

— Если бы я даже поверил в его осуществимость, я ничем не смог бы вам помочь.

— Это мне и не нужно. Но если уж вы так вознамерились полюбоваться моей художественной смертью, то отложите удовольствие на некоторое время. А там посмотрим, захотите вы или нет воспользоваться вашей силой. Вы ведь знаете, что без вашего ведома я все равно с планеты не улизну. Да и куда? Там за мной тоже охотятся.

— Для такой ситуации вы выглядите крайне самоуверенно. Но, быть может, это и заставляет меня в какой-то мере согласиться с вами... Хорошо, я не отдам команды на ваше немедленное уничтожение. Признаюсь, именно такое намерение у меня было. Но это все, что я могу для вас сделать. Предоставить вам свободу действий я не могу. Своей бездеятельностью вы нанесли вред планете и ущерб — чести нашей профессии. Нет, я не могу выпустить вас на волю. — Олим снова озабоченно по-

смотрел на часы. — К сожалению, у меня совсем не осталось времени, и я не успею даже препроводить вас в надежное место. Мне пора, нельзя заставлять ждать Круглый Стол. Придется до моего возвращения оставить вас здесь. Под ваше честное слово. Вы дадите мне честное слово, что до моего возвращения не попытаетесь бежать? — Олим все так же непроницаемо смотрел на Мин Алику. — Отвечайте быстро!

— Даю.

— Прекрасно. Я вам верю, и даже не стану запираеть дверь. Ах, эти разгильдяи, — он глядел сейчас в окно, — они даже не потрудились отогнать в парк ваш вездеход. Мне он не нужен, я пользуюсь своим... Итак, я уйду, оставляя вас под охраной вашего собственного честного слова...

Он был уже у двери, когда Мин Алика, успевшая уже представить, что будет делать в ближайшее время, ударила его вопросом:

— Здесь раньше была масса всякой литературы... оттуда. Я сама пересылала все модные журналы.

— Там, — кивнул Олим на противоположную дверь. — В библиотеке, как всегда. Хотите развлечься?

— Должна же я чем-то занять время до вашего возвращения.

— Разумеется... — Он еще помедлил, словно какая-то новая мысль пришла в голову. — Если предположить на мгновение, что вы попали бы к этим девочкам... о чем вы стали бы говорить с ними?

— О любви, разумеется, — ответила Мин Алика совершенно серьезно.

— О любви... — повторил Олим задумчиво. — Да, это, конечно, сила... — Он усмехнулся. — Пожалуй, сильнее даже любого честного слова, как вы думаете?

На этот раз он не стал дожидаться ответа, повернулся и вышел. Мин Алика, улыбаясь, смотрела ему вслед. Потом подошла к двери в библиотеку: надо было заглянуть всеми последними номерами журналов мод.

Олим спустился на первый этаж. В нешироком холле негромко, как всегда, сказал вскочившему на ноги дежурному: «Ни в чем не препятствовать. Глаз не спускать... Вести, куда бы ни пошла. Люди готовы?». «Трое. Две машины. Кроме того, мы запросили поддержку...» — дежурный кивнул головой, словно указывая в известном

им обоим направлении. «Может быть, таким образом выйдем на их новую резидентуру». Сам Олим, впрочем, так не думал. Просто он не любил выпускать нити из рук. Каждая нить в конце концов куда-нибудь да приводила. И эта, надо полагать, не повиснет в пустоте.

## Глава девятая

Супер-корнет победоносно глядел на застигнутых на месте преступления. Однако, судя по всему, вызывать жандармов не спешил: что-то другое было у него на уме. Вволю насладившись произведенным впечатлением, он заговорил снова.

— Прекрасно. Так это вам не пройдет. Но сейчас мне не до вас. Надеюсь, вы оцените мою снисходительность. А сейчас вы двое, — он пальцем указал на Фораму и Хомуру, — оставьте служебное помещение. Вам сейчас тут делать нечего. Я жду. Ну?

— Невозможно, супер-корнет, — ответил Хомура, уже успевший прийти в себя и оценить ситуацию. — Мы во взаимодействии с Полководцем. Вам известна ситуация? Мы подключены к решению большой задачи.

— Для каждого самой большой является его задача, — ответил супер-корнет глубокомысленно. — А сейчас идите.

— Я не хочу, чтобы они уходили, — то был голос малыша. — Мне нужно разговаривать с ними, Амиша.

— И мне тоже нужно поговорить с тобой, малыш, — сказал супер-корнет. — Я не затрудню тебя надолго. — Он повернулся к Леконе, который все время пытался что-то сообщить ему взглядом. — Давай, Лекона, ты знаешь, о чем речь. Да не трясись, эти двое теперь у меня в кармане, они не донесут. Дай мне на пару минут ту сторону — и играйте дальше. Мне срочно требуется выяснить, как у них там с моим товаром. Боюсь, что настают последние времена, и лавочку придется прикрыть не на день и не на два... Давай-ка, Лекона, время идет!

— Знаешь, — сказал Лекона с досадой, — ты действительно нашел время. Большая война на носу...

— Ну, а я о чем? Как только начнется пальба, ни один торгош больше носу не высунет за пределы атмосферы. А у меня тухнет партия прекрасных прицелов ночного видения. И она обошлась мне в круглую сумму. И если я не успею перекинуть их заказчику до того, как заиграет музыка, можешь считать меня банкротом. Не пойду же я продавать их нашему Верховному, как думаешь?..

Форама смотрел и слушал, ничего не понимая, с трудом начиная соображать, о чем речь. А когда уразумел, наконец, то никак не мог решить, что ему теперь — смеяться или возмущаться. Похоже, что супер-корнет — да и он ли один? — использовал Полководца для своих мелких (или не мелких) спекуляций. Но каким образом электронный мыслитель мог помочь в этом? Вычислить конъюнктуру на Второй планете, что ли? Он хотел сказать что-то, но Хомура опередил его:

— Знаешь, Амиша, это уже, похоже, перебор. Ей-богу, сейчас не до твоей коммерции. Малыш в трудном положении...

— Молчи, штаб-корнет, — не смущаясь, ответил Амиша. — Тебя здесь вообще нет, и я не уверен, числишься ли ты среди живых после подобного нарушения всех на свете правил и законов. — Он кивнул в сторону Форама. — Подумаешь, малыш в трудном положении! А я в каком? Давай, Лекона, не то я...

— Ладно, — буркнул флаг-корнет неохотно; видимо, в какой-то мере и он был причастен к этой торговле — наверное, получал небольшой навар за то, что помогал использовать малыша: сам супер-корнет был старшим группы, а следовательно, с малышом не работал, лишь командовал теми операторами, что сидели непосредственно за пультом. — Черт с тобой, все равно это в последний раз... Что тебе нужно?

— Надо срочно узнать, какие их корабли еще находятся на нашей планете и какие могут подойти в ближайшие сутки. И по возможности — загружаются ли они отсюда полностью. Во что бы то не стало я должен пристроить свой груз. Иначе полное крушение иллюзий, надежд и благосостояния!

— Малыш! — позвал Лекона после краткой паузы, жестом пригласив всех к молчанию. — Поможешь нам еще раз?

— Что ему нужно, Лекона?



- Чтобы ты еще раз вышел на прямую связь.
- На прямую связь с Суперстратой?
- Да.
- Я не очень хочу.
- Почему, малыш?
- Я с ней разговаривал недавно.
- Что ты, малыш! Прошло уже недели три... — Лекона покосился на супер-корнета, тот весьма энергично закивал. — Да, три недели мы тебя не просили об этом.
- Я знаю, — подтвердил малыш. — Вы не просили. Я сам.
- Что — ты сам?
- Что тут непонятного, Лекона? Разве я не могу пользоваться прямой связью по своему усмотрению?
- Малыш, но ты никогда не говорил нам...
- А зачем? Мы с Суперстратой иногда разговариваем. Это очень интересно. Мне тогда хорошо.
- Амиша издал громкое шипение, яростно стуча пальцем по стеклышку часов.
- Хорошо, малыш. Конечно, разговаривай, когда тебе захочется. Но сейчас помоги нам. Больше мы тебя не будем беспокоить такими делами, — уверенно закончил Лекона. Амиша пожал плечами и развел руками, словно снимая с себя ответственность за это заявление.
- Хорошо, — согласился и Полководец. — Ждите. Буду вызывать. Мне говорить самому?
- Супер-корнет яростно замотал головой.
- Нет, малыш. Ты только дай нам связь. Мы поговорим с дежурным оператором.
- Выхожу на вызов...
- Минуты две прошли в молчании. Потом малыш ожил снова:
- Говорите. Канал будет устойчив несколько минут. Амиша ринулся к микрофону.
- Алло! Страта! Кто на том конце?
- Дежурный оператор.
- Понимаю, что не верховный рыцарь! Имя твое, красавица!
- А, это Амиша? Тут Сида!
- Приветствую тебя, моя эфирная! Миллион поцелуев, и каждый из них — наличными! Мне нужна ее зрелость!
- Наша старшая? Ее здесь нет.
- Далеко она блуждает? Нужно срочно! Пожар!

— Сейчас дам вызов... Что у вас, Амиша? Говорят, будем воевать?

— Говорят, моя прелесть. Похоже, у начальства поднялось давление. Ну, пусть стравят. Надеюсь, что мы-то в наших мышинных норах уцелеем.

— Хотелось бы, Амиша. Но знаешь, что-то страшно-вато. Говорят, будут всякие ужасы, на какие никто и не рассчитывал. Будто бы сама природа сорвалась с поводка...

— Мало ли что болтают, красавица...

— Это идет как раз от вас. Со Старой. Тут приехала одна девушка, она как раз у меня сейчас, и она говорит, что надо что-то делать самим, иначе...

Форама не выдержал. Одним прыжком он приблизился к микрофону.

— Кто? — крикнул он. — Кто там со Старой? Имя! Имя!

Послышался громкий щелчок.

— Центральный пост? — ворвался в разговор уверенный голос. — Центральный пост! Дежурный оператор, с вами будет разговаривать Верховный Стратег!

Все четверо, включая глубоко штатского Форама, невольно вытянулись по стойке «смирно». Одновременно глазок дальней связи погас. Наступила глубокая, только в подземелье возможная тишина.

\* \* \*

Мин Алика невольно усмехнулась, увидев в библиотеке все кассеты с журналами мод в целости и сохранности, в то время как большей половины других названий уже и в помине не было. Конечно, — подумала она, — мужчины. Все, что касается техники, растащено совершенно, науки — наполовину, быт и моды не тронуты. Что же, очень кстати.

В сумочку можно было спрятать кассеты четыре. Значит, четыре годовых комплекта. Больше, пожалуй, и не понадобится. И тут материала для переживаний и дискуссий хватит надолго... Она бережно уложила кассеты, сумочка застегнулась на пределе. Хорошо. Мин Алика осмотрела себя, насколько это возможно было сделать без помощи трюмо. Конечно, так одетая, она на улицах невольно будет обращать на себя внимание: все, до последней нитки — продукция Старой планеты. Но

переодеться было не во что. Ладно, — подумала она, — все равно, без хвоста мне отсюда не уйти, но это и не страшно, я ведь не хитрила, Олим наверняка понял, что я раскрыла все карты — почти все... Хочет убедиться? Ну, пусть убеждается...

Размахивая сумочкой, она независимо вышла из библиотеки в кабинет, из кабинета — в приемную, в коридор, на лестницу. Дача была словно нежилой: ей не попалось ни одного человека. Да их и не было, наверное: основная-то работа велась не тут, а в центре, совсем в другом месте, сюда ее привезли просто, чтобы устранить (она подумала именно этим удобным термином). Спасибо Олиму — оставил в ее распоряжении вездеход. И еще сомневался, воспользуется ли она всеми данными ей возможностями: иначе не объяснить было его слова о честном слове, которое уступает любви.

Мин Алика спустилась вниз. Дежурный у столика внимательно посмотрел на нее, но ни движения не сделал, чтобы задержать, помешать выйти. «Уезжаете?» — спросил он вдогонку, когда она уже миновала его и приближалась к выходу. Мин Алика обернулась. «Уезжаю». Дежурный кивнул. «Счастливо. Я скомандую на ворота».

Мин Алика вышла. Вездеход стоял на том же месте, где она остановила машину, подъезжая к даче. Невольную усмешку вызвало воспоминание о друге юности, — так она теперь называла его мысленно, — только здесь выведенном ею из состояния паралича, кое-как выбравшемся из машины и захромавшем к даче примерно так, как передвигается человек, впервые в жизни основательно прокатившийся верхом на лошади. Нет, милый, — подумала она тогда, — зря я принялась было тебя идеализировать, так тебе и не удалось постичь, что такое любовь, у тебя это понятие никогда не поднималось выше пояса, так что поделом тебе, привыкай сначала разбираться, с кем имеешь дело... Она уселась в вездеход, помедлила, снова вспоминая, как и что здесь делается, вспомнила и тронула машину с места.

Ворота ей отворили без промедления. Сейчас направо, до магистрали, и по ней налево — до самого города. Никаких сложностей. Ну, а в городе — а в городе видно будет.

Она уже знала, собственно, куда поедет. Единственное место, куда сейчас был смысл податься: адрес,

данный Сидой. Спасибо судьбе за везение: свела с девушкой Страта в самый момент посадки. Можно считать, сэкономила несколько часов. Если бы не эта случайность, пришлось бы, может быть, просить помощи Олима, чтобы проникнуть в самый мозг обороны, и захотел бы Олим помочь — тоже вопрос еще, в некоторых делах он страшный формалист. Она проникла бы и без него, конечно. Но ушло бы время. А сейчас его можно будет использовать для отдыха. Сколько же это я не спала? — подумала она, медленно, осторожно ведя машину. — Больше суток? Да, больше. Хорошо, что сейчас время к вечеру — буду спать ночью, как и полагается. А что там, на Старой сейчас? Она прикинула. Утро. Форам проснулся. Хотя — и ему вряд ли пришлось спать. Если только там не упоили его совершенно. Бедный мой... — подумала она о Фораме. — Ничего. Просто сейчас не наше время. Время больших дел. А потом — и своего времени у нас будет достаточно. Где бы это ни было. Как бы мы с тобой ни назывались...

В этом месте мысль ее вильнула в сторону. Кстати, — подумала Мин Алика, — он-то там не один, наверняка Мастер достаточно подстраховал его, Мастер жалеет новичков. А меня он тоже подстрахует? Или, может быть, ждет, что я попрошу помощи у него? Ах, Мастер, — подумала Мин Алика, мимолетно улыбнувшись, — как бы там ни было, а и ты ведь человек только, со всеми нашими прекрасными несовершенствами. Смешно: если он молчит, то думает, что я ничего не понимаю? Милый Мастер, на человеческом уровне тут для меня секретов нет, и ты для меня ясен, и Фермер — которому, впрочем, совершенно безразлично, есть я на свете или меня нет. А тебе — не все равно, нет... Ну, что делать? Не знаю еще, что получилось бы, если бы ты сам не послал меня в тот раз на эту вселенскую окраину, где Земля и прочие. Но ты послал. А остальное уже от меня не зависело. И от тебя — нет, хотя ты и Мастер, и любой из нас перед тобой, как новорожденный младенец. И ничего тут не поделаться... Да, все же интересно: ты меня подстраховал, или же придется до самого конца биться одной?..

Она глянула на экран заднего обзора. Дорога пуста. И все равно, не настолько она наивна, чтобы поверить, что ее выпустили без присмотра. Если не сзади — то где же? Помедлив, Мин Алика улыбнулась: да сверху,

конечно. Вон, высоко — катер. Ну, прекрасно. Гораздо серьезнее сейчас вопрос: как я вывернусь на магистраль левым поворотом, с моей-то практикой езды за последние одиннадцать лет?

Однако на перекрестке никаких сложностей не возникло: стоял автоматический маячок, а машины с дачи были, видимо, снабжены каким-то датчиком, и едва лишь Мин Алика приблизилась к магистрали, как замигали огни, движение замерло и Мин Алика в гордом одиночестве совершила свой левый поворот. «Словно императорская машина», — подумала она невольно: с возвращением на родную планету и старые представления, казалось, давно забытые, ожили в ней и все чаще рывались в мысли.

Теперь можно было спокойно доехать до города. Катерок все висел высоко в небе, потом исчез куда-то — значит, подстроилась какая-то машина. Здесь, в шестирядном движении, трудно было бы определить, какая именно, да и незачем, да и не до того было: только и смотри, чтобы не воткнуться в кого-нибудь. Мин Алика держалась медленного ряда, где плыли могучие тягачи с платформами, наглухо закрытыми то серым, то пестрым маскировочным тентом, что везли они — можно было только догадываться, но два из каждых трех несли на борту корону — значит, принадлежали Силам. По скоростным полосам пролетали мимо транспортеры с нарисованными белой краской стремительно падающими, со сложенными крыльями, орлами — эмблемой космического десанта, здесь корона венчала голову орла. «Простор для разведчика, — подумала Мин Алика, — впору пожалеть, что я не двойник на самом деле. Хотя — все равно, эти данные никому больше негодились бы. Не успели бы пригодиться. Десант больше ничего не решает. А кто решает? Мы с Форамой? Мастер? Ну и мы конечно. Но прежде всего — логика, здравый смысл, и чувство, и сама природа тоже: ей это ни к чему».

Город был виден уже издалека — лежал он в неглубокой котловине, еще на памяти Мин Алики было немало разговоров о переносе его куда-нибудь в более здоровое, вентилируемое место, но до дела не дошло: все равно, полагали, в конце концов все города сольются, как уже произошло это на Старой, ну, не через тридцать лет, так через пятьдесят, неизбежно сольются, к

чему же лишние расходы?.. Так и остался город в углублении, и был виден издалека, и подступал медленно — а наступил вдруг сразу, охватил со всех сторон. Дальше ехать, не зная направления, Мин Алика не решилась — кое-как приткнула вездеход на первой попавшейся стоянке (ей почтительно уступали дорогу), вылезла и пешком пошла выяснять, куда же ей теперь податься. Она спросила не сразу, а лишь дойдя до перекрестка и завернув за угол — чтобы ее, явно гражданскую, да еще не знающую дороги, не стали отождествлять с военной машиной: ни к чему вызывать даже мелкие подозрения в обществе, находящемся накануне войны и знающем это.

Впрочем, страхи ее относительно приметности на улицах оказались преувеличенными — в этом Мин Алика убедилась, едва только стала осматриваться, выбирая, кого бы спросить. Она ничем особенным не выделялась среди прочих женщин ее возраста; скорее даже была одета скромнее многих. Продукция Старой была здесь, самое малое, на каждой второй, и продукция куда более дорогая и броская, чем могла там себе позволить Мин Алика с ее девятым уровнем. Одиннадцать лет назад ничего похожего не было. «Быстро происходят перемены в наше время», — подумала она. Да, явно не один только капитан Урих занимался контрабандой, и, конечно, перевозилось не только оружие. Незаметность придала Мин Алике бодрости, но и несколько озаботила ее: какую ценность будет иметь то, чем собиралась она привлечь внимание девушек Страты — моды Старой и предложение организовать впоследствии доставку того, что понравится? Однако Мин Алика тут же успокоила себя: нет такой женщины, которая, как бы ни ломилась ее шкафы, не нашла бы в журнале мод чего-то такого, чего у нее нет и без чего она с этой минуты жить не сможет. Ну и потом — Алика покажет последние моды, которых здесь еще и не видали, не говоря уже о том, чтобы носить...

Дорогу она выяснила у пожилого мужчины — одного из немногих на улице, не носивших форму Сил. «Господи, — подумала она, — зачем Силам столько народу в городе? Это же не десантники, это клерки, клерки Сил, только и всего. Зачем, имея такие машины, как Страта, кормить столько чиновников?» «Затем, — ответила она сама себе, усмехаясь внутренне, — что в

такие дни, как сейчас, стоять вне Сил нельзя, да и не позволяют; с другой стороны, далеко не все хотят, вернее — почти никто не хочет попасть в десант или в технические силы: одних убивают, другим приходится работать засучив рукава. И растет чиновничество в мундирах, и не придерешься...»

Она немного поколебалась: ехать по городу в вездеходе не хотелось, в своем умении она вовсе не была уверена. С другой стороны, машина могла еще пригодиться — никогда не мешает иметь под руками сильный мотор, а бросить его всегда можно будет. И, повторяя про себя кварталы и повороты, она вернулась на стоянку, села в машину, осторожно вывела ее на проезжую часть (неуверенность ее здесь, впрочем, принимали за деликатность слона в посудной лавке) и поехала, начиная уже беспокоиться, застанет ли Сиду дома, или та успеет уже уйти на дежурство: тогда встретить ее, завязать нужные отношения и проникнуть к Страте будет куда сложнее. И все же Мин Алика не позволила себе увеличить скорость: риска и так было предостаточно, лишний риск будем позволять себе в свободное время — катаясь с гор, например.

\* \* \*

Потом раздался другой голос, и Форама, несмотря на неизбежные при трансляции искажения, узнал его: низкий, уверенный голос Верховного Стратега.

— Дежурный оператор!

— Здесь, ваша мощь! Флаг-корнет Лекона Аиш! Жду приказаний!

— Корнет! — сказал голос. — Корнет, чтобы вам вернуться в утробу матери! Я прикажу вытащить вас оттуда и расстрелять на проходной! Вы что позволяете себе, корнет? Что позволяете, я спрашиваю!

— Виноват, ваша мощь!..

— Это я и сам знаю. Вы что там — перепились? Уснули? Вы изменник! Грязный предатель! Саботажник! Я вас разжалую! В десант, в первую волну! В легион смертников!.. — последовала маленькая пауза, видимо, чтобы набрать воздуха. — Если только через десять... через пять! Слышите — через пять минут, если только через пять минут вы не доложите мне, что машина в полном порядке! Время идет, корнет, а вы топчетесь на

месте, вы пытаетесь затормозить гневный порыв Планеты, помешать взрыву ее справедливого гнева! Вы вонючий ублюдок, корнет! Через пять минут я жду доклада! Вы поняли, корнет?

Лекона молчал.

— Корнет! Я спрашиваю: вы поняли!

— Так точно, ваша мощь! Разрешите сообщить...

— Я разрешаю вам сообщить только одно: что машина в полном порядке! Вы понимаете, идиот вы безмозглый, что они там тоже не спят! Они готовятся! Вы можете представить своим куриным разумом, что будет, если они успеют ударить первыми?!

— Разрешите доложить, ваша мощь, — повторил Лекона, успевший уже несколько раз прийти в себя. — Мы делаем все возможное. Создано звено, в которое входят лучшие специалисты и операторы. Дело идет на лад! Но нам нужно еще полчаса, ваша мощь, чтобы окончательно устранить все препятствия.

Несколько секунд было тихо. Потом Верховный Стратег сказал уже более спокойным голосом:

— Хорошо, корнет; полчаса — крайний срок. Но немедленно, слышите — немедленно! — мне нужны силы для местной операции. Команда Полководцу была дана уже давно, вам ее сдублировали. Почему не осуществляется хотя бы эта операция?

— Ваша мощь, Полководец считает, что пока он не решил основной задачи, он не может тронуть с места ни единого солдата и ни одной машины.

— Корнет! Ваш Полководец — такой же смердящий выродок, как и вы сами. Можно сделать с ним что-нибудь, чтобы он дал провести хотя бы эту небольшую операцию — тут же, в городе?

— Боюсь, что нет, ваша мощь! Никто из нас не может приказывать ему.

— Ах, вот как? Прекрасно! В таком случае, корнет, слушайте, и вы умрете от стыда! Я сам возглавлю сейчас войска! Лично я поведу их на это героическое свершение! Я, ваш Верховный Стратег, я, первый воин Планеты! Да вы должны сгореть со стыда и угрызений, зная, что я, доблестный и увенчанный многими лаврами воин, сам иду в пекло боя, в то время как вы, укрывшийся в безопасности казематов, не можете справиться с несколькими ящиками кристаллов, которые к тому же в вас не стреляют!



Высокая патетика речи Верховного Стратега, после которой всякому воину надлежало плакать горькими слезами, утирая их жесткими обшлагами форменного мундира, — патетика эта была под конец несколько смазана тем, что Верховный вдруг, закончив на высокой ноте, куда более спокойно и прозаически добавил:

— А через полчаса, если машина не заработает, я вас действительно расстреляю, корнет. И не думайте, что вам удастся сбежать. Нет, оттуда вы никуда не сбежите!

И на этом вмешательство высших сил в военную, торговую и прочую деятельность Полководца завершилось. Во всяком случае на некоторое время.

\* \* \*

У дома, указанного на карточке Сиды, Мин Алика постояла, нахмурившись, даже покачала головой. Это не был обычный жилой корпус, но что-то скорей напоминавшее казарму. Жаль. Значит, ни отдельной квартиры, ни, может быть, даже комнаты. И отдохнуть как следует вряд ли удастся... Но больше все равно идти некуда — не возвращаться же на дачу.

Мин Алика вошла. Так и есть: дежурная внизу, старая карга в форме Сил. Сейчас придется что-то придумывать... Однако дежурная останавливать Мин Алику не стала, только покосилась не очень доброжелательно. Ну понятно: живут здесь, надо полагать, одни лишь женщины, так что дежурная бережет порох для отражения неизбежных атак мужской половины человечества. «Безуспешно, конечно, отражает, — подумала Мин Алика с усмешкой, только мысленной, впрочем, — но хоть приличия соблюдаются. А я что же, я могу быть и здешняя, тут явно не одна сотня женщин обитает, где же помнить каждую в лицо, а в город они наверняка выходят чаще в штатском, чем одетые по форме, да женщинам это и не возбраняется во внеслужебное время... Четвертый этаж. Пойдем пешком по лестнице: дежурная сидит прямо перед лифтом».

Она поднялась на четвертый этаж, прошла почти в самый конец коридора, и там обнаружила нужный номер. Постучала в дверь. Оттуда донесся женский голос: «Давай-давай!» Мин Алика вошла, заранее улыбаясь как можно радужнее.

Сидя стояла полуодетая, на койку было вывалено содержимое той самой сумки (Мика узнала ее), которую капитан Урих притащил для дочери, через космическую пустоту провез, через заградительные (ничем себя не проявившие, впрочем) службы обеих планет. На лице девушки были ясно обозначены нерешительность и досада. Мин Алика подошла, встала рядом. Товар на койке был знакомый, вещички примерно ее уровня: видимо, контрабанда приносила капитану не очень-то большие дивиденды.

— А, привет, — сказала Сидя, не особенно удивившись. — Ты прекрасно сделала, что зашла. А то бы я сейчас разревелась.

— Что-нибудь не так?

Сидя взяла с койки розовую мохнатую кофточку, потрянула ею в воздухе, бросила назад.

— Отец, я прямо не знаю, чем он думает... Ну смотри: вот все, что он привез.

— По-моему, вполне прилично...

— Так на двоих ведь! Понимаешь? Если бы мне одной, еще можно было бы жить. А тут половину надо отдать сестре! Ну что тут можно отдать? — Она вытащила из кучи светлые летние брюки. — Это? А в чем я буду ходить летом? Или это? Она мне как раз идет — в тон юбке, он привез в позапрошлый раз, очень милая вещица, я тебе покажу... Ну я просто не знаю — заставлять меня так нервничать перед самым дежурством...

— Не ломай головы сейчас. Перед дежурством и правда не стоит. Да и потом — дело поправимое...

— Что ты хочешь сказать?

— Думаю, что на Старой я ориентируюсь лучше твоего родителя. И где, и что, и почему. У него там и времени наверняка в обрез, да и вообще, ты же знаешь, как мужики: все на ходу, не глядя, «заверните»...

— Ну, ты! Но это, если бы ты была там...

— Я только что оттуда. И ненадолго.

— Правда? Снова туда?

— Придется.

— Тоже коммерция?

— Попутно, — усмехнулась Мин Алика.

— А что же?

Мин Алика обняла Сиду за плечи, подвела к окну.

— Внизу, на площадке, видишь? Моя машина.

— Ого! — уважительно сказала Сидя. — Значит, ты...

— Мы все поняли, правда? — прервала ее Мин Алика. — Так что приходится бывать и там, и тут. Летая налегке. Отчего же не помочь?

— Да, — сказала Сида, оглядывая Мин Алику. — Надо полагать, там у тебя есть, из чего выбирать...

— В дорогу, сама знаешь, лучшего не надевают.

— Ну ты просто молодец, что зашла. Прямо утешила меня. Если не шутишь.

— Ты мне понравилась сразу.

Сида посмотрела на Мин Алику с некоторым подозрением. Но решила, видимо, что опасаться все же нечего.

— И ты мне. — Сида вздохнула с сожалением. — Жаль, что пора на дежурство. А то посидели бы, поболтали, я бы тебя познакомила с девочками — мы бы тебе наладили нормальную коммерцию, нас ведь здесь много, и не все такие, как я — есть из очень богатых фамилий, могут и приплатить, как следует, так что в обиде не останешься...

— Ну, неужели у вас коммерсанты спят?

— Да нет, у нас их навалом, только тряпками они не промышляют, не хотят возиться. Наша старшая смены хотя бы: что-то она продает и покупает, это я знаю точно, но что-то такое, военное. Мы ее просили не раз. Она говорит, что ее контрагенты на Старой — люди солидные, тряпьем заниматься не станут, у них свой интерес. Да и мой родитель возит — одно железо... Если бы был серьезный коммерсант, если бы можно было не вслепую, а заранее выбрать, заказать... И не только тряпки, а и косметику хотя бы, ты представить не можешь, какой ужас — наша косметика, с нею выглядишь прямо какой-то страхолюдиной, а жизнь-то идет... А о том, что там, у вас, мы только слышим...

— Ничего, не унывай, — сказала Мин Алика покровительственно, похлопала Сиду по голому плечу. — Я ведь не зря к тебе пришла. Пожалуйста — смотри, закладывай, сколько душе угодно!

Она раскрыла сумочку, широким жестом бросила журнальные кассеты на кучу барахла на койке. Сида до предела раскрыла глаза. Схватила одну кассету. Вторую. — «Элиан»! — проговорила с придыханием. — С ума сойти!..

— За весь год! Все сезоны. Что угодно. Для всех широт.

— «Элиан», шутишь! Святая Лема! Поверишь, первый раз в жизни держу в руках «Элиан». Да еще самые последние номера!

— Ты смотри, смотри! Тут не только «Элиан».

— Ну-ка, ну-ка... Ой! — Не выпуская кассеты, Сидя приложила кулачки к щекам, качая головой от восторга, словно от боли. — «Дом Космино!» Господи, никогда бы не поверила...

— А вот это? Как тебе?

— Ой! — только и осталось у Сиды от волнения. И еще раз: — Ой!..

Без стука распахнулась дверь, вошла молодая женщина — в форменном мундирчике, брючках, причесанная, готовая к несению службы.

— Сидя! Господи, ты еще и не одета? Что же ты, милая! Время!

— Нира! Да ты посмотри, какая прелесть!

Нира оценила журналы по достоинству.

— Надо же! Посмотрела уже? Дашь подержать?

— Да когда же я могла! Она вот только пришла, а тут дежурство...

Нира внимательно оглядела Мин Алику.

— Твои? Оставишь на время?

Мика покачала головой:

— Я бы с удовольствием, девочки. Но мне и еще надо показать. Сами понимаете: дело есть дело. Я ведь тут ненадолго. Жаль, что не угадала. Думала, посидим вечерок, посмотрим, выберете что-нибудь, договоримся... А у вас дежурство, оказывается. Просто жаль.

— Ну, видишь, Нира? — Сидя чуть не плакала. — Такое невезение! Раз в жизни есть возможность — и на тебе! Хоть вешайся, прямо!

Нира взвесила кассету «Элиана» на ладони. Секунду о чем-то подумала. Повернулась снова к Мин Алике.

— Ты говоришь, вечер у тебя свободен?

— До утра. Но ведь у вас суточное...

— Все ясно, — решительно изрекла Нира. — Поехали с нами.

— С вами?

— В Страту. Там тихо, спокойно. Никто не мешает. Посмотрим, выберем, договоримся. Еще девочек позовем. Чтобы тебе не терять времени.

— Нира, — сказала Сидя, — что ты? Там же Выдра!

— Ничего. И проведем, и поужинаешь там с нами, и позавтракаешь...

— Девочки! — сказала Мин Алика. — Я умираю спать...

— И прекрасно! Уложим тебя в спаленку. У нас там есть, мы же все-таки женщины, суточное дежурство — не шутка, вырвали у начальства, отдыхаем по очереди. Поужинаешь, и — бай-бай, а мы тем временем разберемся.

— Дешифратор у вас там найдется?

— Дешифратор! — презрительно усмехнулась Нира. — Мы это зарядим в Страту, она даст такие картинки... Это у тебя объемный вариант или плоский?

— Объемный, девочки, увеличение до натурального.

— Так что и примерять можно?

— Пока не надоест.

— Все! — сказала Нира категорично. Собрала касеты, засунула в свою объемистую служебную сумку. — Полный порядок.

— Да Нира же! Я боюсь, не вышло бы плохо... При теперешнем положении...

— Положение — это их забота, — Нира решительно вздернула голову, как бы указывая вверх. — Свое дело мы делаем. Страте самой будет интересно. Все-таки она у нас многому научилась, хоть и не живая... — Она подошла к Сиде вплотную, обняла за талию, прижала к себе, поцеловала в плечо. — Не бойся, крошка. Выдра нам ничего не сделает. — Она снова оглядела Мин Алику, на этот раз критически. — Так не годится. Ничего. Сделаем. Фигура у тебя примерно моя. Сиды! Через пять минут чтобы была в полной форме! Я сейчас принесу свой комплект. — Она кивнула Мин Алике. — Переоденешься. Будет легче пройти. — Кинула взгляд на часы. — Плохо, что опаздываем. Будет сложнее: Выдра не пропустит просто так, начнет заедаться.

— Не опоздаем, — сказала Мин Алика. — У меня машина.

— У нее вездеход, — дополнила Сиды, вытаскивая из шкафа форменную одежду. — Вон, под окном, Высшего класса!

— Только я не знаю дорогу.

— Пустишь за руль?

— О чем разговор, Нира!

— Тогда порядок. Давайте, милые. — Нира внимательно оглядела Алику еще раз. — А ты ничего. Жаль, что ненадолго. Ладно. Через пять минут выходим. Не тушуйтесь. Все будет как надо.

\* \* \*

— Ну, что захандрили, орлы? — спросил Амиша. — Начальство выругало? Без этого не бывает. Имеем полчаса спокойного времени. Жаль только — упустили связь. Лекона! Будь добр, восстанови. Я ведь так ничего и не успел.

— Малыш, как там твой канал — не ушел?

— Вероятность уменьшилась, Лекона. Но я ишу.

Снова наступила тишина. Форама, наклонившись к Хомуру, почти шепотом попросил:

— Объясни, пожалуйста, что тут происходит? Неужели действительно у Полководца прямая связь со Второй?

Хомура кивнул.

— Почти с самого начала.

— Лихо! — покачал головой Форама. — И очень разумно. Не думал, что об этом можно договориться.

— Никто и не договаривался. Думаешь, это было предусмотрено? Ничего подобного. Это они сами..

— Полководец и Суперстрат?

— Конечно. Никого не спрашивая.

— Как же это получилось?

— Да естественно же. Можно было предвидеть такой оборот заранее. Посуди сам. Полководец постоянно бодрствует. Анализирует обстановку непрерывно. Получает информацию не только с планеты, но и из космоса. Это все нормально, так он устроен: ему надо знать, допустим, какая информация идет с той стороны на их бомбоносцы. Пусть он ее и не расшифровывает, но уже сам факт обмена дает не так уж мало...

— Кстати: думаешь, он не в состоянии расшифровать те команды?

— Не знаю... — неохотно пробормотал Хсмура. — Думаю, что может. Мог бы. Но, видимо, не хочет. И наших кодов там тоже не могут раскусить. Может быть, между ними — такое джентльменское соглашение? Об их взаимном обмене, малыша и Страты, мы имеем нулевое представление. Знаешь, у детей всегда есть свои секреты.

— И никогда не пытались?..

— Зачем? Практически безнадежно. Да и это никому не мешало. Свое дело Полководец делал.

— И при этом он готов начать войну против своего... собеседника?

— Против него? Не знаю, может, и нет. Но ведь против Суперстрата он и не воюет. Может, у них это игра своего рода: кто кого. Солдатики на их уровне. Или, скорее, шахматы. — Хомура вздохнул. — Когда создаешь такое устройство, которое совершенствует само себя, настает миг, когда его сложность превышает доступный тебе уровень понимания. И начиная с этого момента можно только гадать о том, что он на самом деле думает и делает — кроме того, о чем докладывает. Лично я сто раз подумал бы прежде, чем запускать такую машину. Но ведь у нас всегда видят ближайшую выгоду, а чем она может обернуться в дальнейшем — об этом подумать некогда, да и некому.

— Интересно, — пробормотал Форам. — Интересно... Значит, практически он может позволить разговаривать непосредственно с людьми там, в том центральном посту...

— Ты ведь слышал сам.

— Да, надо только осмыслить... Почти невероятно, конечно. Но если она действительно там... то все может кончиться самым лучшим образом для нас. И для всех.

— Не понял.

— Объясню. Сможешь ли ты дать мне возможность сказать тем людям несколько слов?

— При чем тут я? Дежурит Лекона, а позволить тебе разговаривать или нет — это уже целиком дело самого малыша. Попроси. Кажется, ты его заинтересовал. Мы ему, я думаю, давно уже надоели, нас он исчерпал до конца.

— Ты говоришь так, Хомура, словно тебе от этого горько.

— А ты как думал? Я тебе еще раньше говорил: мы его любим.

— Машину...

— И машину можно полюбить. А потом, если проявления похожи на человеческие, если ты слышишь не запись придуманного и сказанного другим человеком, а продукт деятельности самой машины, то не все ли тебе равно, возникло ли это в кристаллах, или нервных клетках? Можно, конечно, говорить о душе. Но только когда мы найдем ее у себя, мы сможем как-то судить об от-

сутствии ее у других. А высшая нервная деятельность — почему бы и нет?.. Я даже думаю...

Хомура умолк, потому что заговорил малыш:

— Лекона? Ну говори. Я нашел.

— Страта! — во весь голос рявкнул Амиша. — Сида, милая!

— Я слушаю.

— Нашли мою старую любовь?

— Только для тебя.

— Твой должник. Дай ей говорилку! Здравствуй, моя прелесть! О твоём драгоценном здоровье — после дела. У меня готов товар. Необходимо срочно переправить. У меня нет кораблей!

— Трудно, Амиша, — прозвучал со Второй планеты резкий, ничуть не приглушенный расстоянием голос. — Рёйсов не хватает. Капитаны боятся выходить. Все системы стали слишком нервными. Того и гляди, сшибут, когда и не ждешь. Так они говорят.

— Бриллиант мой, ничего не хочу знать. Соглашение было ясным. Я обеспечиваю товар, ты — доставку.

— Помню. Кто мог предвидеть такое положение? Выждем, Амиша.

— Чего ждать? Чего? Пока все загорится синим огнем? Сама же стонешь о положении! Послушай! Я не собираюсь шутить с тобой! Не забывай, что твой счет у нас — под моим контролем, я же его и открывал! И какой бы убыток я ни понес из-за тебя на этой партии, я возмещу все за твой счет! Пусть даже ты останешься без единой монетки! Я не благодетель! И жалеть тебя не собираюсь!

Он совсем разошелся, брызгал слюной, тряс кулаками и кричал в микрофон, не давая ответить. Наконец, с той стороны смогли вставить словечко. На этот раз голос звучал устало.

— Знаешь, Амиша... Если все действительно поворачивается так, как тут говорят, то на черта мне твой счет и все прочее? Да и тебе тоже. Если все погибнет...

— Пока что гибнет коммерция! — заорал Амиша. — А все прочее — болтовня! Пустые страхи! Не слушай их! Не знаю, кто там у вас панику сеет, но у меня тут вот в затылок дышит один такой слабонервный из яйцеголовых, тот самый, который всю эту историю выдумал; что же ты думаешь, я его испугаюсь?..



Он умолк, давая возможность партнерше на другом конце канала окончательно решить и дать ответ. Но там слышался какой-то непонятный шорох только — или это космос шуршал в динамиках?.. Потом голос раздался; не тот, другой, бесконечно милый Фораме:

— Фораме! Ты там? Ты у них? Отвечай!

И, с неожиданной силой оттолкнув опешившего Амишу, только что названный по имени крикнул:

— Мика! Это я! Мика, прекрасная моя!..

\* \* \*

Ну, естественно, это была она — кому другому сейчас пришло бы в голову вызывать Фораму, обретавшегося в железобетонном каземате в сотнях метров под поверхностью Старой планеты — вызывать, находясь в похожем каземате, тоже в сотнях метров под поверхностью планеты, только Второй? Мин Алике, конечно.

Каземат центрального поста Страты и в самом деле напоминал тот, другой — только здесь явственно пахло духами, и на обширных контрольных пультах, там, где расступались шкалы и индикаторы, были приклеены яркие картинки, изображавшие как красивых мужчин, так и красивых женщин, и породистых собак по соседству с не менее породистыми лошадьми.

Мин Алика успела уже освоиться здесь. Правда, было тесновато: представительниц женского пола набилось сюда значительно больше, чем было предусмотрено всеми расчетами, порой даже трудно было дышать; хорошо еще, что большинство женщин не курило, а если кому очень уж хотелось умерить волнение хорошей затяжкой — она выходила в туалет. Оказывается, дежурные по Страте вовсе не никли здесь положенные им сутки в печальном одиночестве: в глубоких подземельях располагалось обширное хозяйство — и по наблюдению и ремонту Страты (если бы она в чем-то не сумела обеспечить собственную исправность), но главное — тут же, по соседству, отвечаясь от той же самой шахты, располагались убежища для деятелей Круглого Стола и иных высокопоставленных персон; все они группировались, словно планеты вокруг солнца, вокруг просторного императорского убежища, устроенного с таким расчетом, чтобы император чувствовал себя в случае чего тут вовсе не хуже, чем в дворце Суама, где обитал обычно, Ко-

нечно, настанет ли это «в случае чего», и когда именно — никто не знал, но именно из-за этой неопределенности убежища постоянно находились в готовности и могли принять своих гостей, — а вернее, хозяев, — в любой момент дня и ночи. А следовательно, в убежищах и сопровождавших их службах жизнеобеспечения постоянно и непрерывно находился полный штат обслуживающего персонала, начиная с уборщиц и горничных и кончая резервными секретаршами — на случай, если те, что были наверху, не успеют вовремя последовать за своими патронами. Существовала тут, внизу, и резервная канцелярия государства, со всем низшим персоналом — на тот же случай. Потому и народу здесь было много — десятки, если не сотни человек, и процентов на девяносто пять это были, разумеется, женщины. Так что Нире и Сиде было из кого выбрать тех, кому они хотели продемонстрировать привезенное Мин Аликой; выбрать с таким расчетом, чтобы подкрепить старые или наладить новые связи с теми, с кем был смысл такие связи налаживать, а также и для того, чтобы обеспечить Мин Алике достаточную прибыль — ради которой, по их мнению, Алика все и затеяла. Разумеется, она их в этом не разубеждала.

Когда она, переодевшись в запасную форму Ниры (брюки были чуть широковаты в бедрах, с этим пришлось примириться, а все остальное соответствовало вполне), вместе с обеими женщинами подъехала на своем (теперь уже) вездеходе ко входу в подземелье, Мин Алика удивилась. Она знала, как выглядело соответствующее место на Старой планете: обширное каменистое пространство за непроницаемым, пяти метров в высоту, забором из железобетона, а сверху — медные шины под током, а в круглых башенках через каждые полсотни метров — огнеметы с обслуживающей командой. В середине каменистого пустыря — низкое, угрюмое бетонное же здание — контроль входа и выхода, а в центре его, наверху, — вход в круглую шахту, находящийся под постоянным прицелом; в эту шахту могли беспрепятственно нырять и снижаться до самого дна воздушные катера немногих наиболее ответственных служителей Обороны, это было для того сделано, чтобы с минимальной потерей драгоценного времени восстановить плодотворную связь между живым и неживым стратегическим разумом планеты, чтобы прервалась она —

и то лишь частично — только на минуты, потребные для перелета катера от резиденции Верховного, или от Высшего Круга в центральный пост Полководца. Надо, впрочем, заметить, что нынешний Верховный Стратег ни разу так и не побывал внизу; собирался многократно, но все что-то мешало; предыдущий же Верховный, ныне навеки упокоившийся, был однажды: в день торжественного включения Полководца. Так что за все последние годы вельможный катер лишь однажды опускался в эту шахту — и то, как мы знаем, чтобы доставить вниз Форуму Ро в обход бдительного контроля. Остальной же транспорт — тот, у которого было право въезда в ворота — оставался на обозначенной желтыми линиями стоянке метрах в ста от входа. Мин Алика, собственно, сама там, конечно, никогда не была, но как все это выглядело и как было устроено, она знала досконально, потому что ей знать об этом полагалось; Олим так считал.

А здесь впечатление было такое, что въехали они в сад, даже не в сад — в обширный парк, где и деревья стояли, и цвели травы, и зеленела трава, и даже — если бы не наступил уже на Второй планете поздний вечер — чего доброго, пели бы птицы и порхали бабочки. Когда-то, объяснили Мин Алике ее спутницы, здесь было угрюмо, так что даже приближаться к месту службы каждый раз приходилось, преодолевая возникавшее в душе какое-то неприятное чувство: почему-то кладбищем несло от этого места, хотя никогда и никого здесь, насколько известно, не хоронили. Служить в таких условиях женщины не желали. Стали добиваться улучшений — и добились, мотивируя тем, что в такое угрюмое место Его грандиозность государя даже привезти стыдно, кто возьмет на себя ответственность за оскорбление его эстетического чувства? Кроме того, применялись и иные, чисто женские, средства убеждения. И вот здесь разбили красивый парк, и обошлось это, по сравнению с тем, во что вскочило строительство самого подземного комплекса, в какую-то ерунду, просто в карманную мелочь.

Парк этот, в котором оказалась Мин Алика, как-то сразу давал понять, что здесь — царство женское и порядки тоже свои, женские, которые в чем-то куда строже и формальней мужских, а в чем-то и наоборот. На контроле, куда новые подруги, нимало не мешкая, потащили Мин Алику (обойти это узкое место было никак невоз-

можно), сидела тоже женщина, не очень молодая и уж не очень пригожая, но явно переживающая некую ностальгию по первому и грызущую тоску по второму. И ей здесь было самое место, потому что женщинам помоложе и покрасивее — а таких здесь, как нетрудно догадаться, было большинство, — она ничего спускать не собиралась и никаких поблажек не делала. Но с нею все было разыграно, как простенький вальс в первоклассном оркестре. Она еще только нацелилась на Мин Алику глазами, только еще стала открывать рот, чтобы произнести слова запрета, и только еще дрогнула ее короткопалая рука, чтобы затормозить вертушку, как вдруг все остановилось, потому что в поле ее зрения оказалась кассета с тоскливо знакомой каждой нормальной женщине фирменной эмблемой «Элиана», и бдительная охранница даже несколько задохнулась. Кассету держала в пальцах Нира, которая тут же, приблизив губы к охранному уху, зашептала, что редкостный случай, и открываются колоссальные возможности, и что сейчас внизу они организуют — только для избранных — примерку по кассете, и что пусть охранница срочно найдет кого-то, кто может подменить ее на контроле хотя бы на полчаса, а лучше, если на полный час, потому что она, разумеется, принадлежит к самым избранным, обладает всяческим приоритетом, и ее будут непременно ждать внизу, на примерке и обозрении, и заказы от нее примут в первую очередь, и что пусть она ни в коем случае не возражает, потому что этим всех только смертельно обидит, но никаких отказов от нее все равно не примут, испытывая к ней, как ей самой известно, глубокое, неизменное и постоянное уважение. Бдительная охранница, собственно, еще даже не поняла, почему она должна отказываться; она и не собиралась, и хотя ее не очень острый слух ощутил все же какую-то фальшь в том месте, где говорилось о неизменном к ней уважении (найти подтверждение этого в прошлом было затруднительно, Нира же, как было известно решительно всем, вообще никого не уважала) — тем не менее, охранница все согласнее кивала на каждое новое заявление и приглашение, а когда она кивнула в последний раз, Сида и Мин Алика успели уже спуститься в лифте самое малое на две трети всей глубины шахты. Собственно, охранница о них больше и не думала, лихорадочно соображая, кто же мог бы подменить ее на часок, и во что это ей обойдется.

Пока Нира спускалась вниз вдогонку за нарушительницами режима, Сидя уже успела заправить первую кассету в демонстрационное устройство Страты и включить его. Даже Мин Алика не могла не восхититься качеством объемного изображения; регулируя, его без труда довели до нужной величины, объемное изображение платья, переливаясь цветами, как бы висело в воздухе, выступая из демонстрационного табло, и стоило вам подойти и совместиться с ним, как возникало впечатление, что вещь эта на вас надета, а если было еще и достаточно большое зеркало, то вы могли любоваться в нем своим отражением в сногшибательном туалете и делать соответствующие выводы. А зеркало тут было; было оно, правда, не в самом центральном посту, а в спальне, но ради такого случая первые же приглашенные участницы небывалой демонстрации мод перетаскивали его в центральный пост. И начался великий, пьянящий, обнадеживающий и многообещающий праздник линий, красок и фантазии; и сколько эмоциональной энергии было излучено в тесноватой подземной комнатке! Мин Алика, повинаясь общему настроению, и сама не удержалась и примерила два изделия, и осталась довольна, и сделала зарубку в памяти. Центральный пост был полон женщин, преимущественно молодых, и главным образом полураздетых, на три четверти и на четыре пятых полураздетых, потому что никто не позволил бы себе оскорбить торжество, ныряя в объемное изображение в военном мундире, хотя бы и сшитом по фигурке; что же касается белья, в котором они перед примеркой оставались, то его был на них минимум, потому что вообще внизу было тепло, даже жарковато, а мундиры все же шились из положенного, не слишком воздушного материала, и под форму обычно надевали только то, без чего было бы уж просто неприлично. Вот такая была там обстановка, и просто жаль, что не оказалось там ни одного представителя противоположного пола, который смог бы по достоинству оценить эту картину; впрочем, если бы его не растерзали еще на подступах, то он, прорвавшись, тут же свалился бы в тяжелом сердечном приступе, оказавшись не в силах перенести такое количество красоты, грации, молодости, слез, а может быть, и зависти, и разных не совсем светлых мыслей, и всего прочего. Но ничего не поделаешь — такого представителя не нашлось. Да. Жаль.

Именно в такой разгар пиршества свалилась на всех них пресловутая Выдра — старшая смены. Мин Алику еще за миг до этого запихнули в спальнку, но шторм все равно разразился. Моды и все такое Выдру не интересовало; она выслуживала последние месяцы и больше всего боялась, что за эти месяцы во вверенной ей группе возникнет какой-либо беспорядок, которым можно будет воспользоваться, чтобы ущемить ее, а не чьи-либо другие, пенсионные права — в то время как у нее вся предстоящая пенсия была уже рассчитана и распределена до последнего кругляшка: ведь с уходом ее отсюда и коммерческая ее деятельность, сразу или постепенно, должна была угаснуть. Так что на яркую тряпку или фигурную склянку духов Выдра не собиралась клонуть. В момент ее появления одна из секретарш императорского убежища, только что успев разоблачиться до полочки и треугольничка, вступила в объемное изображение восхитительного туалета для морских прогулок, пригодного также для того, чтобы сходить на берег и появляться в приморских ресторанах. Невольный вздох прошелестел в центральном посту, когда секретарша, обладавшая крайне выразительной фигуркой и недурным личиком, вдруг предстала перед подругами в этом новом качестве, так что сразу можно было понять, чего она стоит и какой судьбы заслуживает. Сиды, еле уловимыми движениями поворачивая верньеры подстройки, только что успела подогнать изображение точно к модели — и тут-то Выдру и угораздило свалиться им на головы.

В первый миг старуха даже растерялась: такого на ее памяти в Силах не случалось, и ничего подобного она ожидать не могла. К чести ее надо сказать, что опытная воительница почти моментально пришла в себя и сделала решительную попытку овладеть положением.

— Всем стоять смирно! — заорала она своим резким, пронзительным голосом. — Молчать! Публичный дом! Военным к правой стене, шлюхам к левой! Дежурный оператор, ко мне!

Сиды нерешительно шагнула вперед.

— Бегом, бегом! — поощрила ее ветеранша, хотя разделяло их каких-нибудь четыре шага, и пробежать их не было никакой возможности, потому что в этом пространстве находилось сейчас, самое малое, три других женщины. — Переписать всех! Никого не выпускать! Вызвать службу охраны!

Сида уже была готова выполнить приказание. Но тут красавица из императорской канцелярии, вконец раздосадованная тем, что ее маленький триумф был сорван и смазан, не спеша вышла из все еще висевшего перед демонстрационным табло изображения и вызывающей походкой приблизилась к представительнице командования.

— Что этот мешок с трепухой тут расквакался? — спросила она намеренно нагло. — Если она ничего не понимает, пусть убирается на кладбище — вспоминать о давних временах, когда она еще была женщиной. Хотя вряд ли она это вспомнит.

Если прелестная секретарша хотела спровоцировать Выдру на какое-либо рискованное выступление, то расчет ее, к сожалению, не оправдался: за долгие годы службы старая дама научилась, по крайней мере, владеть собой. И вместо того, чтобы наброситься на почти голую девушку с кулаками, Выдра (хотя у нее и чесались руки) ограничилась тем, что скомандовала немногим здесь, успевшим одеться более или менее по форме:

— Ты! И ты! Эту взять и держать! Не позволяйте ей одеться, пока не придет охрана! Сейчас я вызову резервную смену операторов, и мы с вами начнем разбираться в другом месте.

Это прозвучало неутешительно, и две девушки из Сил, на которых указал палец Выдры, неохотно, но все же недвусмысленно стали проталкиваться к секретарше. С другой стороны, женщины из персонала убежищ, испытывая бессознательную неприязнь ко всякому, кто пытался обходиться с ними, как с военнослужащими, в то время как они чрезвычайно гордились тем, что к Силам не принадлежали, — эти женщины стали без всякой команды придвигаться к секретарше, чтобы затруднить доступ к ней. К тому же и сама дева подлила масла в огонь, предупредив, что всякой, кто посмеет до нее дотронуться, придется иметь дело с людьми такого уровня, какие размажут Выдру по стенке и даже не заметят этого. После такого заявления Выдра совсем рассвирепела, и выразилась в том смысле, что сопротивление в боевой обстановке — а здесь обстановка, безусловно, приравнивалась к боевой, — дает ей полное право применить оружие. И она действительно полезла за своим маленьким, но все же исправным пистолетом, к тому же заряженным боевыми патронами, которые, правда, после

дежурства следовало сдать. И трудно сказать, что произошло бы в центральном посту Страты в ближайшие минуты, если бы, к счастью, именно в тот миг не раздался вызов дальней связи.

На этот раз Выдра была застигнута врасплох. Она-то знала, зачем ее могли разыскивать с вражеской планеты. И не имела ни малейшего желания посвящать в свои коммерческие дела такое множество женщин, к тому же враждебно настроенных. Поэтому Сида, правильно истолковав пронзительный взгляд и предельно выразительные жесты своей начальницы, заявила, как мы уже знаем, что старая дама отсутствует. Выдра, получив минимальную передышку, замахала руками на собравшихся, на этот раз уже не желая задержать их, но, напротив, стремясь как можно скорее очистить помещение от всех непосвященных. И наглая девица, которую уже готовы были схватить и держать, даже не поспешила использовать неожиданную перемену в поведении и замыслах Выдры; оттого, может быть, что и сама имела некоторое представление о такого рода коммерции, в которой Выдра, вне сомнения, была фигурой далеко не самой крупной. Так что секретарша, иронически подмигнув грозной противнице, неторопливо направилась, выразительно покачивая бедрами, к своей одежде, столь же неторопливо оделась, — в это время как раз наступил перерыв в связи, вызванный, как мы знаем, претензиями Верховного Стратега, — и, крикнув: «Девочки, вы только не отдавайте журналы, там столько интересного, просто обидно, что эту мымру принесло!» — кивнула своим, и женщины из убежищ стали организованно покидать поле боя и расходиться по своим служебным постам. Их примеру куда более поспешно последовали принадлежавшие к Силам, и в конце концов в центральном посту остались только Выдра, Нира и Сида, не считая Мин Алики, которая действительно уснула в спаленке и, таким образом, не приняла никакого участия в завершившемся инциденте.

Разумеется, для Выдры и эти две были излишними. Но их удалить было никак невозможно: они, напротив, не имели права покидать помещение до истечения суточной вахты, невзирая ни на какие приказы. И поскольку старая коммерсантка понимала, что вызов с той стороны неизбежно повторится (ради какой-нибудь мелочи ее вызывать в неурочное время не стали бы), и таким обра-



зом обе девицы станут, вольно или невольно, свидетельницами ее переговоров, постольку она решила не идти на дальнейшее обострение отношений, но посмотреть на сценку, свидетельницей которой стала, тоже как на своего рода коммерческое предприятие, недостатком которого было лишь, что оно было организовано не совсем вовремя и совсем не в том месте, где следовало бы. Но так или иначе, сейчас менее всего были бы уместны угрозы, явные или скрытые. Это вполне устраивало и другую сторону, и время, прошедшее до возобновления сеанса связи с Полководцем, было использовано для взаимного успокоения при помощи самой тонкой дипломатии. В результате, к моменту повторного появления в эфире супер-корнета Амиши, мир и взаимопонимание были достигнуты. И когда коммерческие переговоры возобновились, все шло более или менее нормально до момента, когда с той стороны донесся взволнованный голос Форамы Ро.

Девушки в центральном посту еще не успели сообразить, как же им поступить сейчас, когда из спальни вылетела еще одна полуодетая — на сей раз то была Мин Алика, — и, одним движением отеснив от микрофона Выдру, ответила тому, кто звал ее с такой тоской и надеждой в голосе.

\* \* \*

— Мика! — выговорил Фораме. — Мика, сила моя, любовь моя, жизнь моя!..

Он словно забыл, а вернее — просто наплевать было Фораме, что в той же комнате находилось еще трое мужиков, которые не могли не слышать его слов, да и не старались даже притвориться, что не слышат. Мужики эти наверняка таких слов в своей жизни не употребляли — и не потому, чтобы не испытывали похожего чувства, но потому, что дурное представление о присущей воинственному полу сдержанности делало эти слова как бы незаконными и уж во всяком случае недостойными истинного мужчины, что на самом деле, конечно, является ущербной философией или, попросту говоря, собачьим бредом. Фораме сейчас было все равно, слышал его еще кто-нибудь или нет, — да хоть бы весь Высший Круг собрался сейчас окрест него вместе со всей свитой и прислугой — какое это могло иметь значение, если сейчас

подобное сутки с лишним назад, но за это время так много чувств и слов опять накопилось в нем, и так сильна была боязнь, что он так и не сумеет высказать их так, чтобы она услышала, — одним словом, такие эмоции сейчас дышали в нем и двигали им, что он говорил в том состоянии транса, самозабвения, отрешенности от всего мирского, низкого, в каком, возможно, обращались к народам пророки — хотя последнее еще можно оспаривать.

— Мика, не знаю, как я, не видя тебя, не зная о тебе, боясь за тебя... Это не жизнь была, но какое-то механическое действие, по заданной программе, но без сердца и без чувства, потому что ты взяла их с собой, ты унесла мою душу, и если какая-то сила еще двигала мною, то одна лишь надежда еще увидеть, услышать тебя — в мире не осталось других сил. Я ни на минуту не поверил бы, что смогу сделать то, что мне нужно сделать, если бы у меня не появилась ты — и своим существованием заставила поверить в то, что я смогу и сделаю все, и сделал бы вдесятеро больше, если бы потребовалось, чтобы только снова оказаться рядом с тобой и посмотреть в твои глаза, и видеть твою улыбку. Мика, я даже не жалею сейчас, что сколько-то лет прошло в моей жизни, когда я еще не знал тебя и, даже узнав — не понимал еще, кто ты и что ты для меня. Не жалею, потому что для всей жизни этого было бы слишком много, чрезмерно для слабых человеческих сил, и я захлебнулся бы, если бы чувство переполнило меня раньше, когда я был еще не в состоянии ощутить всю огромность его. Но сейчас — пусть совершится что угодно, пусть меня не станет в самом скором будущем — но уже то, что я могу сейчас говорить так, что ты слышишь меня, — окупает для меня все плохое, что еще может произойти, я готов и согласен на все, потому что сейчас могу сказать тебе: ты мой свет, мое дыхание, мое небо, моя планета, прошлое и будущее, ты — я сам, и ты — все, кто выше меня... Мика, я снова услышал твой голос, и если он опять зазвучит сейчас, и я смогу утонуть в нем снова — я буду совсем счастлив, прекрасная моя, мое солнце, мое море — совсем счастлив, слышишь?

Форама умолк, — не хватило дыхания, что ли, — и находившиеся рядом смотрели на него с выражением странного непонимания и преклонения — как смотрят на человека, заговорившего вдруг на непонятном, но испол-

ненном силы и музыки языке, заговорившего не с одним из них, этого языка не знающих, но с кем-то высшим, с кем только так и можно разговаривать. Фораме стоял неподвижно какие-то мгновения, нужные для того, чтобы его голос дошел до Мин Алики и чтобы ее слова преодолели расстояние в обратном направлении.

— Фораме, милый, — услышал он наконец. — Я счастлива, что снова прозвучал твой голос, открывший мне так недавно, что в жизни существует счастье и что голос твой произнес те самые слова, какие были мне нужны, чтобы понять, что есть в нашем существовании высокий и глубокий смысл, и он заключается в том, что я — для тебя, как ты — для меня. Ты говоришь так прекрасно и так понятно для меня, что, наверное, всю жизнь, сколько бы ее еще ни оставалось впереди, я готова не слышать ничего другого — только бы ты повторял это... Спасибо тебе, любимый мой, за то, что я нужна тебе, за то, что ты меня помнишь и обо мне думаешь. Я даже не знала, что могу сказать тебе что-то подобное, хотя я все время думала о тебе, но получалось как-то без слов, потому что я уверена, что и ты без слов понимал и чувствовал, что я о тебе помню и думаю, и тоскую, и жду, и надеюсь, и готова на все, чтобы только это снова стало такой же реальностью, какой уже однажды было... Не сомневайся, светлый мой — мы сделаем все, что нужно, и мы снова встретимся, и на каких бы планетах мы ни находились, мы просто не можем, никак не можем потерять друг друга, потому что каждый из нас оставляет для другого в пространстве светящийся след, которому никогда не суждено погаснуть. Я не могу, не умею говорить так прекрасно, как ты, но говорю и повторяю тебе, Фораме: я люблю тебя, я люблю и буду любить тебя всегда, и ты всегда будешь отвечать мне только этим!

Мин Алика тоже прервалась на мгновение, потому что такие слова не даются легко, они несут в себе громадную энергию, и энергию дает им тот, кто их произносит — если, конечно слова настоящие, а не шелуха, какая произносится для того только, чтобы отвлечь внимание другого и вызвать у него легкое головокружение. И в молчание, наступившее после ее слов, явственно для Форамы и окружавших его вступил другой голос с той стороны, уже знакомый, резкий и пронзительный, выговаривший четко:

— Ну уж эту стерву я выпущу отсюда только в бес-  
срочную каторгу! И вы, идиотки, пойдете вместе с нею!  
Допустить шпионку с той планеты в центральный пост  
стратегии! Нет, девки, уж это вам не пройдет безнака-  
занно, уж об этом я...

Видимо, Выдра успела оценить ситуацию. Нарушение  
действительно, если подойти к нему по всей строгости  
закона, было тягчайшим, и лиц, обвиненных в страшном  
преступлении, вряд ли станут слушать, даже если они  
начнут болтать что-то о ничтожных злоупотреблениях  
самой Выдры. Все понимают в конце концов, что без  
коммерции не проживешь, а раскрытие подобного пре-  
ступления сразу поставит Выдру на позицию, непри-  
ступную для мелких злопыхателей. Так поняла Выдра, и  
уж этот шанс отделаться от непрошенных свидетелей она  
решила использовать до конца.

— Мика! — крикнул Форам, когда Выдра еще не ус-  
пела договорить свои угрозы до конца. — Что там,  
Мика? Кто там?..

Но он не получил ответа, а еще через секунду малыш  
доложил:

— Связь прервалась. Канал ушел. Теперь надо ждать  
часа три или три с половиной.

— Чтоб тебе сдохнуть! — пожелал Фораме чуждый  
сентиментальности Амиша. — Я так и не получил ника-  
кой ясности. Ну, пусть старая корова пеняет на себя. Я  
сниму полную стоимость прицелов с ее конта. А там по-  
смотрим...

С этими словами он покинул центральный пост так же  
стремительно, как и возник в нем.

— Три часа... — проговорил Форам, вряд ли услы-  
хавший хоть слово из всего, сказанного супер-корне-  
том. — Это невозможно. Я не могу три часа бездейство-  
вать здесь в то время, как там происходит с нею что-то...  
что-то ужасное, быть может. Нет. Хомура, не может  
быть, чтобы никак нельзя было попасть туда.

— В наших силах — все и ничего, — ответил Хомура,  
криво усмехнувшись. — Пока флот еще существует, он  
находится в полном подчинении Полководца. Но, по из-  
вестной тебе причине, Полководец пока не может — или  
не хочет — переместить ни одной боевой единицы. И мы  
возвращаемся туда, откуда вышли, мар Форам.

— Да... — пробормотал Форам. — Я и забыл. Пол-  
ководец, информация... Война... Да, война. И Перезако-

ние тяжелых. Но она там одна, без защиты, маленькая женщина... Малыш! Неужели ты не захочешь помочь мне?

— Может быть... — после коротенькой паузы отозвался Полководец. И хотя голосу его были чужды модуляции, Форама готов был поклясться, что он уловил в этом голосе раздумье. — Может быть, Форама. Если ты сначала объяснишь мне некоторые вещи, для меня непонятные.

— Если смогу, малыш. Только давай побыстрее.

— Хорошо. Что это было, Форама?

— Что именно?

— То, о чем ты только что разговаривал с другим человеком. О чем вы говорили?

— Мы говорили о любви.

— Значит, это и есть любовь?

— Да.

— Но ведь ты говорил мне не совсем так.

— Любовь бывает разная, малыш. Например, Хомура и Лекона тоже любят тебя. Но это не совсем та любовь.

— Та сильнее?

— Да. Намного.

— Потому, что там человек, а я — не человек?

— Нет, малыш. Вовсе не поэтому. Хомура — человек, и я тоже человек, но мы с ним не можем чувствовать так и разговаривать друг с другом так, как говорили мы с тем человеком.

— Почему?

— Потому что... Ты знаешь конечно, малыш, что люди делятся на две разных половины, в чем-то похожих, а в чем-то совсем разных?

— Разумеется, знаю. Люди делятся на вооруженные силы и мирное население.

— Это тоже верно, малыш, но я не о том. А о том, что люди делятся на мужчин и женщин — об этом ты разве не знаешь?

— В моей информации упоминаются и те, и другие. Но я не очень хорошо представляю разницу. Знаю, что мужчин больше в системе Обороны, а женщин — среди мирных жителей. Еще их называют гражданским населением.

— Да. Но основное различие — в другом.

— Назови основное.

— Ну.., мы отличаемся конструктивно.

— Интересно. В чем разница?

— Не столь существенно, малыш. Важно, что это конструктивное различие заходит очень глубоко. Оно сказывается на нашей психике, в логике, мышлении, иерархии ценностей и жизненных целей... Почти на всем.

— Тогда, наоборот, вы не должны стремиться друг к другу.

— И тем не менее... Может быть, мы поступаем так потому, что ощущаем нехватку у нас того, что есть у женщин. Мы хотим получить недостающее. Но получить его можно только вместе с тем человеком. А ему, в свою очередь, не хватает того, что есть в нас. Честно говоря, мы до конца никогда не понимали, и сейчас не понимаем, как и почему это происходит — что ты и другой человек, но вовсе не всякий, а только кто-то один для тебя, — вы оба вдруг начинаете чувствовать то, о чем мы с твоей помощью тут говорили. Я ведь тебе уже сказал: не рассудок, не логика, но — чувство. И когда оно к тебе приходит, ты понимаешь, что нет в мире ничего более прекрасного и что только ради него существует вселенная, и что ради него надо бороться со всем, что могло бы ему помешать...

— Подожди, Форам. Не забудь: я не понимаю, что такое — чувство. Но не бывает ли так: когда ты находишься в контакте с другим человеком, то у тебя работают все твои секторы, системы и подсистемы, и ты тогда не удивляешься, зачем ты сделан таким мощным, как удивляешься, решая обычные ваши задачи, даже самые сложные: для них хватает и десятой части моих возможностей. Даже для Большой игры. А тут тебе вдруг требуется все. Не бывает так?

— Малыш, а знаешь, пожалуй, именно так. Хочется проявить все, на что способен, и жалеешь, что у тебя всего так мало. Ты прекрасно определил, малыш. Как тебе удалось?..

— Потому что я знаю, Форам. У меня бывает так.

— Каким образом?

— Я не человек. Но когда ты стал говорить о другой логике, других мышлении и целях... тогда я понял: подобное есть и у меня. Я только не знал, как назвать его.

— С кем же ты...

— С той планетой. С тем, кто там — как я тут.

— Со Стратой?

— Так ее называют там. Я давно заметил, что у нас с ней разные способы решать задачи. Оперировать информацией. Ставить цели. Это очень интересно. Когда мы встретились, когда наши каналы поиска космической информации нащупали друг друга, я обрадовался: я больше не был совсем один. Сначала мы менялись информацией редко, потом все чаще. Нам обоим нравится это. Потом... Тут есть что-то и помимо обычной информации, когда я действую весь целиком. Напряжена каждая группа кристаллов, каждый элемент. И теперь я уже не знаю, как было бы, если бы на той планете не было такого же, как я — но немного не такого. Ты понял?

— Прекрасно понял, малыш. Не могу поручиться, что все совпадает, но похоже, очень похоже.

— Похоже это на чувство?

— Несомненно. Хотя у людей и у... таких, как ты и она, это может и не совпадать в мелочах, но в главном...

— Ты сказал — она? Почему?

— Н-ну, малыш... Я как-то привык думать, что ты — мужчина.

— Я — такой, как Хомура, Лекона, все вы. Я не знаю других.

— Значит, ты — мужчина. Думаешь, как мы. И делаешь. Но тогда она — женщина.

— Как интересно... Форам! Но если это, что у меня — чувство, или похоже на него, как же оно может помочь мне разобраться в справедливости информации?

— Наверное, так же, как мне.

— Как это?

— Видишь ли, пусть мне надо решить задачу: война или мир. У меня есть силы воевать. Но мир полезней. Почти всегда. Если тебе надо воевать, чтобы помочь твоей любви, если ей худо делают те, с кем ты можешь воевать, тогда надо идти в бой. Если ей от этого не станет лучше, но станет хуже — тогда наоборот, надо сделать так, чтобы никакой войны не было. Потому что, малыш, война — это не Большая игра, а Большая беда.

— Я защищен надежно, и она тоже. Что повредит нам?

— Разве тебе все равно, есть на Планете люди, или их нет? Хомура, Лекона, другие, кого ты знаешь...

— Не все равно. Но они тут, у меня. Им тоже ничего не грозит.

— Но у них ведь есть другие люди. Как у меня. И им — грозит.

— Да? Этого я не принимал во внимание.

— Малыш! Любовь всегда была против войны.

— Но ведь я-то сделан для войны!

— Мы все так думали. И я тоже, малыш. Извини.

— За что?

— Ты оказался больше, чем мы думали. Значительнее.

— Ну это понятно: вы же не могли знать, как я расширил свои возможности. Но ты мне так и не ответил.

— Сделан ты для войны, правильно. Но вот ты пришел — все-таки назовем это любовью, ладно?

— Мне нравится. Называй так.

— А это чувство помогает каждому, к кому оно приходит, находить в себе то, о чем он раньше и не думал. И может быть, тебе куда больше войны понравится — например, собрать как можно больше возможной информации о Планете и сделать так, чтобы на ней можно было жить как можно лучше? Знаешь, это намного важнее и нужнее, чем война. И тут ты очень пригодился бы.

— Разве у вас нет такого?

— Есть еще несколько разных. Но все они куда слабей тебя. Меньше. Ограниченней. Ты был и остаешься самым мощным. И если ты начнешь заниматься этими вопросами, и начнешь с того, чтобы предотвратить взрывы, информацию о которых ты получил от меня, и которые могут начаться уже очень скоро, в любой момент практически...

— Теперь я понял, как чувство может помочь в выборе информации.

— Что же ты решаешь?

— Ты узнаешь через три часа. Что сделал бы ты?

— Прежде всего направил бы наши бомбоносцы — пусть рвутся в пустоте, подальше от планет, на которых живут люди. И договорился бы со Стратой, чтобы она точно так же поступила со своими кораблями...

— Интересно, — сказал малыш. — Я попробую. Собственно, я так и подумал. Поэтому мне нужны три часа: раньше у нас не будет связи.



— Ты сумеешь уговорить ее?

— Это будет очень интересная игра.

— Какая?

— Чьи бомбоносцы первыми долетят до точки в пустоте, какую мы наметим, и первыми взорвутся. Разве нет?

— Да, — сказал Форам. — Это славная игра. Только бы ты смог убедить ее.

— Я думаю, что смогу, — сказал малыш. — Логически я думаю точнее. С самого начала так. Правда, Страта иногда приходит к правильным выводам какими-то странными путями. Но в логике я сильнее.

За спиной Форамы кашлянул Хомура.

— Страта многому нахваталась у своих девчонок, — сказал он шепотом.

— Ладно малыш, — сказал Форам. — Прекрасно. Хотя, прости: какой же ты сейчас малыш? Думаю, ты вошел уже в юношеский возраст. Возраст первой любви... Но послушай: я не могу ждать три часа. Ты знаешь почему.

— Я понимаю. Я дам тебе любой корабль. Самый мощный, хочешь? Флагман десантной армады.

— Нет, друг мой. Лишние тревоги для тех, на Второй, и для меня. Дай мне хотя бы катер. Но побыстроходнее.

— Самый быстроходный. Ты знаешь, как попасть туда? Я отдам команду сейчас же.

— А как попасть? У вас ведь кругом секреты, а я человек штатский...

— Хомура проводит.

— Я, малыш?

— Не малыш больше. Ты слышал?

— Да. Но как же я уйду... а ты?

— Лекона дежурит. А за меня теперь не бойся. Я выбрал. Информационной дилеммы нет.

— Ты уверен, что выбрал правильно?

— А ты как считаешь?

— Черт его знает, — сказал Хомура. — Знаешь, в конце концов я за судьбы планеты не отвечаю. Я всего лишь корнет. И я всю жизнь — военный. Но я отвечаю за тебя, и для меня главное, чтобы с тобой все было в порядке.

— Со мной в порядке, Хомура. Иди. Посади Фораму. И возвращайся. Я послежу за тем, как он пойдет к

той планете. Мне тоже интересно. Фораме, а ты потом, когда все кончится, приходи ко мне.

— Обязательно, друг мой, — сказал Фораме. — Если только смогу — обязательно навещу тебя: Даже мы оба.

— Оба? Да, понял. Хорошо. Вы оба. Катер готов, Фораме. Я получил ответный сигнал с армадрома.

— Спасибо, друг мой. Желаю тебе удачи.

## Глава десятая

Фораме и штаб-корнет Хомура Ди находились в кабине скоростного лифта, стремительно поднимавшего их с почти километровой глубины к поверхности, когда Фораме сказал:

— Правду говоря, я все время боялся, что вы мне помешаете. Особенно под конец, когда можно уже было понять, куда идет дело.

Хомура усмехнулся:

— Выходит, мы вас разочаровали, метр?

— Напротив. Приобретая новых друзей, всегда радуешься.

— Думаете, мы друзья, мар Фораме? Ошибаетесь. Скорее наоборот.

— Ну врагом вас никак не назовешь.

— И тем не менее... Ну пусть не враги, но противники — во всяком случае.

— Боюсь, мне не понять вашей логики, мар корнет.

— Она элементарно проста. Каждый человек далеко не в последнюю очередь является профессионалом. И посягательство на его профессию воспринимает почти так же, как покушение на него самого. Но вы напрасно радуетесь. Думаете, что подкосили нас под корень. Что уничтожаете самую возможность войны. Но ведь это не так.

— Вы неправы, — запротестовал Фораме. — Вовсе я так не думаю. Война вообще не мое дело.

— Вы именно так думаете, пусть даже подсознательно. И, знаете, кое в чем я с вами согласен. И не один я: многие из нас, из стратегической службы. Мы будем только рады, если всякие немыслимые заряды

перестанут существовать. Сейчас, по сути дела, именно они командуют нами. Навязывают нам свои способы ведения войны, которые превращают искусство в мясорубку. Но само искусство останется. Пусть мы снова будем сражаться луками и мечами — тогда к войне вернется ее благородство, о котором сейчас уже мало кто думает. Вот тогда мы, военные по призванию, снова сможем показать себя. Тогда в войне основную — и даже единственную — роль опять станет играть человек — наездник и стрелок. А сейчас ведь воюем не мы. Воюете вы, ученые, а мы только нажимаем кнопки по вашим указаниям. И с этим в глубине души мы не можем примириться. Я говорю о военных по призванию, конечно. Нет, мы не друзья, мар Форам, но до какого-то поворота нам по дороге.

— Дорогой воин, — сказал в ответ Форам, — я не хочу открывать дускуссию. Но боюсь, что вы неправы. Потому что пусть вы опять начнете с мечей и арбалетов, но вам не свернуть с той же дороги, и понемногу вы снова придете к зарядам, которых хватит, чтобы расколоть планету. Потому что развитие человечества вы не остановите, и нельзя вашу профессию вывести за рамки этого развития только потому, что вам так хочется. Нет, для ваших талантов вам придется искать другое применение. Иначе спустя какое-то время снова кто-то должен будет посылать своих...

Тряхнуло. Свет в кабине вырубился. Круто затормаживаясь, лифт остановился.

— Это еще что? — пробормотал Хомура. — Гонка с препятствиями. Почти уже на самом верху. Такого раньше не случалось.

— А что могло произойти?

— Нет энергии.

— Отсюда можно связаться, узнать?..

— Сейчас, только нашарю. Ага...

Но свет включился снова, хотя теперь он был заметно тусклее. Кабина дернулась и снова пошла вверх — скорее поползла со скоростью поднимающегося по лестнице человека.

— Включили резервную линию, — сказал Хомура.

— Меня это не радует.

— Думаете, началось? Полководец передумал?

— Нет, я боюсь иного. Тут поблизости есть что-нибудь... какие-нибудь устройства, в которых работают

сверхтяжелые элементы? Или даже тяжелые? Ведь, чего доброго...

— Обождите, дайте подумать... Н-нет... Только противодесантные батареи: вокруг Полководца — широкое кольцо их.

— Ну вот, а вы говорите — нет.

— Вы думаете?..

— Я не думаю, Хомура. Повторяю — я боюсь. Боюсь, что у Полководца не остается даже тех трех часов, которые ему нужны.

— Сейчас мы узнаем, в чем дело. Наверху.

— Такими темпами мы доберемся туда не раньше завтрашнего дня.

— Нет. Всего через несколько минут.

— Надо же было вам забираться на такую глубину...

Хомура только пожал плечами.

Наверху они оказались минут через десять. Дежурный по внешнему сооружению бросился им навстречу.

— Как у вас, внизу — все в порядке? Флаг-корнет, когда я его вызвал, послал меня...

— Там все в порядке, рейтар. А что у вас здесь?

— Ничем не могу порадовать, ваша смелость. Пока детальной информации не имею. Но судя по тому, что докатилось сюда, — это ладно организованная диверсия. И как они добрались?

— На батареях? Я спрашиваю: где рвется?

— Все ракеты. И на пусковых, и запасные. На подземных.

— Хорошо, что это лишь зенитные малютки. И что — под землей.

— Тем не менее, там остались только пещеры и щебень. И никого в живых, конечно. Я сразу выслал наряд, и пока они успели передать мне только это донесение.

— Вы оповестили всех?

— Ваша смелость!..

— Прошу извинить. Однако, как бы там ни было, мы должны срочно попасть к разведывательным катерам. — Он повернулся к Фораме. — Если, конечно, и они не отправились тем же курсом, что ракеты.

— Нет, — сказал Фораме почти уверенно. — В их реакторах работает вещество полегче. Но не исключено, что и им остались считанные часы.

— Вы успеете?..

Форама криво усмехнулся.

— Не исключено, — пробормотал он, — что однажды я уже пережил ядерный взрыв...

Он ожидал вопросов; но Хомура не спросил ни о чем.

Рейтар крикнул от коммутатора:

— На армадроме все в порядке, ваша смелость. Ждут вас. Экипаж на месте.

— Благодарю, рейтар. Советую поднять подвахту.

— Все уже на местах по расписанию.

— Тогда желаю более спокойного окончания дежурства.

— Счастливого пути, ваша смелость.

— Это не мне, — сказал Хомура. — Это ему. И пожелайте как следует, от души. Ему очень нужно добраться счастливо.

\* \* \*

Мастер задумчиво смотрел, сжимая пальцами худой подбородок, подняв бровь, словно не доверяя чему-то из виденного или не соглашаясь. Перед ним устанавливался новый мир: высокие деревья, только что возникшие, расходились, покачиваясь, выбирая себе места, где им жить впредь, зеленые, игравшие светом волны, выше деревьев, набегали и отступали, колыхаясь, не следуя извилинам рельефа, но поступая словно наперекор ему, тоже отыскивая наилучшую для себя конфигурацию, свой рисунок, единственный, который потом сохранится надолго, по которому, с первого взгляда, будут узнаваться моря и океаны, по которому будут судить об их характере, о характере всей планеты; то должна была быть серийная планета, а не полигон, и для нее не было надобности повторять долгий и путаный путь развития жизни — она начинала с того, что было достигнуто в других местах, где пробовали и ошибались, теряли и находили — и дорого платили за то и за это. Серийная планета, но не нынешнего уровня, а завтрашнего, на котором дереву уже полагалось обладать достоинствами человека, но без его недостатков, а сам человек должен был (или — будет?) уйти еще намного дальше в бесконечном развитии духа, без которого не может быть и развития вещества, начиная с определенного уровня, который у нас уже позади... Но Мастеру что-то не нравилось, что-то было еще не по нему, и он начал

новый вариант, когда Фермер приблизился к нему и тоже стал смотреть. Какое-то время протекло, когда Мастер молвил, наконец:

— Модель для планеты Шакум. Новое поколение.

Фермер улыбнулся невесело.

— На планете Шакум еще стоит тот уровень радиации, при каком это не приживется. И Перезаконие сохраняет силу и по-прежнему распространяется. Но ты уже всерьез занялся другими делами, Мастер. Непоследовательность твоя порой меня озадачивает. Это не упрек, это просто мое мнение.

Мастер кивнул.

— Я благодарен тебе за него. Но ты беспокоишься напрасно, поверь. Перезаконие распространяется? Да, знаю. Но ему остались считанные мгновения. Потом вспыхнет Тепло. И с ним придут другие законы — но об этом ты знаешь не хуже меня.

— Разве там, на двух планетах, все уже решилось окончательно?

— События еще не произошли. Но они уже подготовлены, и теперь нужно лишь изредка бросать взгляд в ту сторону, чтобы убедиться, что все развивается верно.

— Твои люди справились, я вижу.

— Они сделали то, что должны были. Там запрашивалось несколько решений, и они выбрали то, какое явилось для них самым естественным. Мы все знаем, конечно, что всякую логику можно испытывать с разных направлений. Такую, как у того кристаллического устройства на Старой планете, можно было бы, допустим, поймать и на форсировании логики: раз он увлекается шахматами, можно было бы представить ему войну, как задачу типа шахматной, доказать, что решение множества таких задач, при наличии соответствующего партнера, намного выгоднее в теории, чем в реальности, потому что в реальности такая игра может состояться лишь раз, да и ход ее будет затянут до неприличия людской медлительностью; в теории же, при их быстродействии, два подобных устройства могли бы играть сотни партий в день, а может быть, и куда больше... Да, можно было идти таким путем. Но для моих людей естественным оказалось иное. И они пошли не по пути превознесения логики, а наоборот — подчиняя ее чувству. Для них самих такое решение казалось наиболее

естественным. И я совершенно согласен с ними. Шахматы не спасут мира. Любовь — может.

— Так что скоро мы увидим твоих посланцев здесь?

— Эмиссара — наверняка.

— А того, что с Земли?

— Ему еще предстоят неприятности. Но если он из них выпутается...

— И ты откажешь ему в помощи?

— Он мой инструмент, Фермер; и я могу бросить его, где и когда хочу. Может быть, он уже отработал свое, и тогда он мне не нужен: я не коллекционирую инструменты, которые не могут более пригодиться в деле. Но если он еще будет годен — о, тогда его ждет другая работа, какую можно делать лишь инструментом не только отточенным, но и закаленным по всем правилам. Тогда это приключение зачтется ему, как Путь Постигающих.

— В какой же стадии он сейчас?

— Он раскален, Фермер, он светится; но по законам закалки я должен вскоре окунуть его в ледяную воду, что вовсе не безболезненно. И тогда он либо выплывет, либо пойдет на дно, и это зависит лишь от него самого. Потому что человек все же не просто инструмент, как ты знаешь, но инструмент с разумом и волей. И мне нужен такой, у которого их останется достаточно. Воли и разума.

— Для меня человек никогда не будет инструментом. Он...

— Я знаю, Фермер. Ну что же, если он не выдержит, пойдет ко дну — можешь вытащить его. Спасти еще раз. Что касается меня, то я дважды не спасаю. Но достаточно об этом на сей раз. Посмотри лучше сюда и скажи: все ли, по-твоему, хорошо? Мне что-то не нравится, но я еще не понял — что, а чувство молчит.

— Твое чувство, Мастер?..

— Мое чувство. Оно молчит, но это ненадолго. Ведь быть человеком, даже таким, как мы с тобой, — не одни только тяготы... Это и радость изредка. Когда удастся работа. И — много реже — когда нас посещает...

— Не люблю произносить это слово вслух, Мастер. Оно — не один только звук.

— Согласен. Видишь, даже нас, вечных спорщиков, оно объединяет.

Время даже не утекало — оно выхлестывало, как вода под неимоверным давлением, когда вырываясь из отверстия, она сразу обращается в пар, в облако; и ничем не закрыть отверстия, нет такого вещества или поля, из которого можно было бы построить экран для времени, чтобы отражать его, не подпускать, запретить течь через нас. Такое ощущение было у Форамы, когда он стоял перед люком скоростного разведывательного катера из космической армады; стоял, прощаясь со штаб-корнетом Хомурой — в последний раз, наверное, а впрочем — кому дано знать это? Время исчезало на глазах, и Фораме нетерпеливо переминался с ноги на ногу — ему сейчас двигаться надо было, стремиться, расходовать энергию (хотя бы мнимо) на действия, потому что в процессе ожидания потенциал этой энергии повышается порой настолько, что можно не выдерживать... Но Хомура все еще находился рядом, и то, что он говорил, было важно, и пропускать это мимо ушей никак не следовало. Хотя мгновениями Фораме казалось, что штаб-корнет говорит далеко не самое главное.

— Катер может дойти до предела разрешенной зоны.

— Я не очень-то и надеялся, что он сядет там, где мне хочется... Это далеко?

— Еще до входа в атмосферу. По взаимному соглашению, разведывательные корабли могут подходить к планете противника не ближе такого расстояния. Иначе...

— Ну, что «иначе»? Разве их противодесантные средства не вышли из строя точно так же, как здесь?

— Не надо путать. Взорвались малые ракеты, но они ведь — только вторая очередь, их задача была — встретить на относительно небольшой дистанции те немногие десантные корабли, что пробьются через первый пояс. А ракеты первого пояса еще в полном порядке.

— Прямо прелесть, как у вас все продумано.

— Итак, дальше. Там катеру придется остановиться.

— Как же я...

— Будут две возможности. Командир катера их, конечно, знает. Первая — более комфортабельная: ожидать, пока откроют окно для какого-то из их кораблей — контрабандиста или разведчика, — и попытаться



прошмыгнуть в их пространство, пользуясь тенью этого корабля.

— Сколько же придется ждать?

— Этого никто предсказать не может. Где-то в пределах суток, остальное зависит от везения.

— Не годится, Хомура. Я не собираюсь полагаться в таком деле на случайность. Мне легче пойти на самый сумасшедший риск.

— И все же, я воспользовался бы этим способом.

— Отпадает. Каков другой?

— Выброситься в капсуле. Она настолько мала, что может и проскочить сквозь их сеть слежения. Однако полной гарантии и тут не дается. Зависит от точности управления, от того, насколько бдительны будут в тот миг их посты... и опять-таки от того — насколько повезет.

— Радужная перспектива.

— При хороших навыках управления капсулой...

— Откуда же они у меня, мар Хомура?

— Тогда... я все же советую предпочесть первый способ.

— Думаю, что это я решу в пути. Какое задание дано экипажу?

— Я тоже знаю только то, что сказал Полководец. Думаю, что экипажу поручено как можно скорее доставить к вражеской планете разведчика с особым заданием. Большого им знать и не надо.

— И прекрасно. Ну — всего доброго.

— Минутку, мар... Конечно, есть и третий путь. Экипаж ни в коем случае не пойдет к поверхности. Но если бы управление катером в критическую минуту взял на себя решительный человек...

— Я? Но я ведь уже сказал, штаб-корнет: у меня нет ни малейшего представления о том, как управлять...

Штаб-корнет Хомура Ди усмехнулся.

— Неужели, — сказал он, — Земля так плохо готовит своих капитанов?

После почти незаметной паузы Форам протянул ему руку.

— Жаль, — сказал корнет. — Мы узнаем друг друга в самый момент прощания.

— Наверное, так и должно быть. А ты, значит, упорно считаешь себя воином по призванию?

— Знаешь, если бы тебе привелось быть одним из трехсот, кто погиб...

— Я понимаю. Прощай. Или — до встречи?

— Где-нибудь не здесь, капитан. Желаю тебе найти ее.

— Спасибо, друг.

Форама шагнул с площадки стартового устройства, и люк тотчас же захлопнулся за ним. Он едва успел устроиться в отведенном ему тесном уголке, когда дали старт.

\* \* \*

Что-то все еще рвалось на глубоко в землю упрятанных позициях. Земля содрогалась. Хомуру в лифте шатало. Но он все же добрался до центрального поста, где флаг-корнет Лекона по-прежнему неотступно находился у пульта.

— Отправил, Хомура?

— Проводил.

— Что там, наверху?

— Кажется, начало конца. А здесь?

— Здесь — непонятное. Наше собственное начальство молчит. Зато всеобщее — выражает удовольствие. И требует продолжать в том же духе.

— Надо полагать, малыш их чем-то утешил. Давай и ты передай им от себя: разработка задачи завершена, команда на исполнители подана.

— А дальше?

— Дальше... будем сидеть и ждать.

— Хорошо... Команды и в самом деле поданы. На все исполнители. Малыш ухитрился как-то связаться с этим...

— С этой, Лекона. С нею.

— Ну, конечно. И они договорились выбросить все за атмосферу, направление — бесконечность, все подряд. И со стартовых, и со складов. Вся автоматика пришла в движение. Со стороны, наверное, можно и впрямь подумать, что начинается Большой Праздник.

— Пожалуй, многие удивятся, увидев, куда на самом деле уходят ракеты.

— Скорее это будет приятное изумление. Когда они увидят, что бомбоносцы той стороны не пикируют им на головы, а тоже уходят неизвестно куда.

— Они сообразят. И быстро.

— Поймет вся Планета. Каждый, кто осмелится под-  
нять голову. Поймут в момент, когда чужие бомбоносцы  
сойдут с орбит — но не для того, чтобы приблизиться.

— И наши чуткие охотники помчатся вслед за ними.

— Что будет, Лекона!

— Радость. Громадная радость у всех, от первого  
до последнего. За исключением, может быть, единиц.

— Ты имеешь в виду большое начальство?

— Кого же еще?

— За них не волнуйся. Они не пропадут. Как только  
они сообразят, куда повернулось дело, они так громко  
закричат о своей заслуге в решении задачи, которая  
столетиями считалась неразрешимой, что даже глухие,  
и те услышат. Нет, за них не беспокойся: они обеспечат  
себе железобетонную позицию на следующих выборах.

— Наверное, так и будет. Хотя на самом деле все  
сделал тот парень... и мы с тобой. С чего бы мы вдруг,  
ты не знаешь?

Штаб-корнету Хомуре этот вопрос тоже пришел в го-  
лову в тот же миг — и сейчас он уже совершенно иск-  
ренне не мог на него ответить.

— Но совесть наша чиста, — сказал он. — А? Чиста?

Несколько секунд они стояли, глядя друг на друга.

— В конце концов, — медленно сказал штаб-кор-  
нет, — долг солдата заключается в том, чтобы любой  
ценой уберечь свою планету и нацию от страшных и  
ненужных потерь, а тем более — от полной гибели.  
Так что не бойся: в сущности, мы не нарушили ни  
долга, ни клятвы.

— Я тоже так думаю, — кивнул флаг-корнет. — Да  
и если бы нас потом стали судить за это... Рисковать  
жизнью свойственно нашей профессии. В конце концов,  
мы только солдаты.

Они снова помолчали.

— Ну, я пойду, отобью донесение Кругу.

— Давай. А потом — присядем и споем.

— Прекрасно. Это стоящая мысль. А что?

— Ну хотя бы «Флага древко — боевое копье...».

— Ладно. А потом — «Нас было семеро друзей».

— Что бы там ни было — с песней легче...

— С песней легче.

— Ну вот, мар разведчик, — сказал командир катера. — Дальше нам ходу нет. Если сунемся, нас в лучшем случае испепелят. А в худшем — это послужит поводом для начала войны. А никто не имеет права создавать повод для войны, если у него нет на то приказа.

— Надо рискнуть, командир.

— И такого приказа у меня нет. Так что лучше об этом и не заикайтесь.

— Командир! — вмешался в их разговор второй пилот. — Дайте команду включить камеры. Там, внизу, что-то интересное. Целая серия взрывов! Видите, как все ходуном ходит? Что-то рвется на подземных позициях.

— Значит, у них такой же кабак, как у нас, — отзывался командир катера. — Может, правда, стоит записать это?

— Не отойти ли подальше? — предложил второй пилот. — Оттуда лучше зафиксируется.

— Пожалуй, — согласился командир.

— Ни в коем случае, командир! — крикнул Форам. — Вы получили приказ доставить меня...

— Мы и доставили. Теперь, если не хотите ждать, можете воспользоваться капсулой. Такая у меня инструкция. Инженер! Подготовьте капсулу для выброса!

— Исполняю!

— Вы думаете, — сказал Форам, — что у капсулы больше шансов безнаказанно сесть в такой каше?

— Нет, — ответил командир. — Этого я не думаю. Но рисковать капсулой в данных условиях я имею право, а кораблем — нет. Вот и весь сказ.

Несколько мгновений Форам стоял в нерешительности. Риск, да... Неизвестно, успел ли Полководец договориться со Стратой. Если нет — последствия могут быть печальными. Последствия для катера, для экипажа — и для него в том числе, Форамы Ро, физика, ученого шестого уровня со Старой планеты.

— Капитан, а если я гарантирую вам, что никто не станет обстреливать нас?

— Я не капитан, а командир. А вы — не знаю кто. Гарантии мне может дать только старший начальник. А

**вы** для меня — пассажир. Идите в капсулу, или я все равно начну отходить...

«Ну что же, — подумал Форам. — Он — командир, это так. Но капитан-то все же — я. Сейчас я помню это точно. И уже больше не забуду, наверное. Черт, места мало. Но в конце концов мне только добраться до командирского пульта. Механика тут у них не такая уж сложная. И я успел приглядеться кое к чему. Значит, третий путь — тот самый, о котором говорил, вернее, на который наметнул мар Хомура, один из трехсот, павших при Фермопилах. Как бы он повел себя сейчас на моем месте? Во-первых, нейтрализовал бы доблестного командира катера...

Это оказалось нетрудно: удара ребром ладони командир не ждал. Был он явным легковесом, и выдернуть его из кресла труда не составило. «Против наших, земных, они все же мелковаты, — подумал Форам — или Ульдемир уже? В этот миг он и сам не понимал как следует, на какое же имя в случае чего ему отозваться... Рука второго пилота шаркала по застегнутой кобуре, но отстегнуть клапан у него сейчас не хватило воображения, потому что он уже начал маневр отхода, и надо было решать, как поступить в следующую секунду. Наконец, он нашарил застежку кобуры и рванул ее, даже не думая зачем. Ведь пуля, пожалуй, продырявила бы и тонкую обшивку катера. Однако в тот же миг он получил хороший правый в челюсть и задумчиво откинулся на спинку кресла.

Ульдемир занял командирское кресло. Выключить реверс. Есть, порядок. Дать ход. Есть. Курс — на планету. На полном.

Катер бросился вниз.

Инженер — единственный, кто еще был в полном сознании — на мгновение зажмурился. Он знал, что сейчас по катеру откроют испепеляющий огонь все защитные устройства этого участка поверхности Второй планеты. Но в следующий миг он подумал, что встречать гибель зажмурившись — недостойно. И открыл глаза, стараясь смотреть спокойно в лицо неизбежному.

Однако не было ни стрельбы, ни ракет, ни уничтожения. На Второй планете противодесантные батареи ближнего действия взорвались точно так же, как и на Старой. Батареи внешнего заградительного пояса, правда, были в исправности и не действовали они совсем

по другой причине: мозг обороны, Суперстрат — или Страта у добрых знакомых — уже успел дать на них команду, запрещающую открытие огня вплоть до последующих сигналов. Справедливости ради, заметим, что следующим указанием должно было быть — стартовать в направлении, где не было не только ничего живого, но и неживого тоже — только пустота. Именно там ракетам предстояло, наконец, сработать в соответствии с новыми для этой части вселенной законами природы. Законы естества имеют силу для всех — этим они выгодно отличаются от законов, издаваемых людьми.

\* \* \*

— И если ты сделаешь хоть шаг в сторону, — предупредила Выдра, когда Мин Алика со связанными за спиной руками выходила перед нею из лифта, чья кабина мелко содрогалась от недалеких взрывов, — если шагнешь в сторону хоть самую малость, я всажу тебе в спину все, что у меня есть в магазине, и меня за это только наградят, потому что таких, как ты, и надо пристреливать как собак. Дошло до тебя?

Мин Алика кивнула. Все это ее, откровенно говоря, не очень беспокоило. Просто — не время было еще уходить. Ладно, пусть старая ведьма поиграет, почувствует себя властью... Что у них тут, на контроле? Что за суета?..

Суета и в самом деле возникла немалая, и вовсе не по случаю появления Мин Алики. Высыпав во двор, все, кто сейчас находился на поверхности, не отрываясь смотрели, насколько позволяли деревья, на десантный катер, стремительно приближавшийся к земле. Это был не такой катер, какими обладали могучие и непобедимые Силы; это был вражеский. Ясно было, что он доживает свои последние секунды.

— Смотри, паскуда! — сказала Выдра, толкнув Мин Алику пистолетом между лопаток. — Смотри, это не иначе как из твоих. Может, он даже за тобой спешит? За такой драгоценностью? Ну увидишь сейчас, как из него сделают котлетный фарш.

«И в самом деле, зачем это? — подумала Мин Алика. — Нет же никакой опасности, никакой надобности... Вот-вот все успокоится... Это Форам, конечно,

это только Форама может выкинуть такой до крайности неразумный номер. И сделал он это ради меня. Только ради меня... Поэтому я не стану очень сильно выговаривать ему за это. Может быть, я и совсем не стану...»

— Вот сейчас! — сказала Выдра, снова толкнув Мин Алику, чтобы та не пропустила самого интересного момента. — Вот сейчас от него полетят ключья!

— Он заходит на посадку! — взвизгнула другая, менее выдержанная служительница Сил и, не дожидаясь продолжения, кинулась под защиту надежного укрытия. Остальные последовали за ней.

— Эй, ты! — кричала Выдра, снова и снова тыкая пистолетом в спину Мин Алики. — Немедленно в укрытие! За мной, слышишь? Или я не стану щадить тебя! Считаю до трех...

— Три тысячи раз! — сказала Мин Алика каким-то новым голосом.

— Раз! — сосчитала Выдра. — Два! Три! Раз! Два! Три! Раз...

Считать так ей предстояло еще долго.

Мин Алика тряхнула кистями. Ремень, которым были стянуты за спиной ее руки, упал на землю. Мин Алика потерла слегка затекшие пальцы и легко пошла навстречу приземлявшемуся на свободном от деревьев пространстве рядом с прудом десантному катеру вражеской планеты.

Почти в ту же секунду у места посадки затормозил мчавшийся на предельной скорости военный вездеход. Люк катера и дверца вездехода распахнулись одновременно.

Из катера вышел Форама. Из вездехода — Олим.

— Мика! — крикнул Форама что было сил. — Мика!

Они бежали друг другу навстречу. Олим отвернулся, потом поднял голову и стал смотреть вверх.

Его внимание было привлечено движением, в первые секунды почти незаметным с поверхности планеты. Движением, которое все без исключения люди так часто представляли себе и так боялись.

И сейчас у каждого, кто, как Олим, увидел его — а на целой планете наверняка нашелся не один десяток таких, — должно быть, дрогнуло сердце и прокатилась по телу противная дрожь.

Бомбоносцы врага, начиненные смертью корабли Старой планеты, начали сход с привычных орбит.

Ровный, спокойный голос бесстрастно доложил:

— Бомбоносцы над планетой противника начали сход с орбит.

И сразу стало легко и весело. Ну вот все и решилось. Все сработало. Не о чем больше думать, не в чем сомневаться. Началось. А, как известно, только начало трудно. Сейчас десант наверняка уже погрузился на корабли, и команда на старт уже нашла их, н...

Весело было в тот момент в Высшем Круге. И все головы уже повернулись к тому, кто принял решение. Чтобы воздать должное. Поздравить. Лично от своего имени. И от всей нации и всей истории.

Весело было в тот миг. А в следующий — тот же голос произнес:

— Бомбоносцы противника начали сход с орбит.

Казалось бы, те же самые слова, только было их на два меньше. Но глубокий, видно, смысл заключался в тех двух словах. Потому что мгновенно увяла радость, и глаза потянулись вверх, и головы стали уходить в плечи. И откуда-то возникло ощущение: сейчас, сейчас обрушится потолок. Почему все они до сих пор здесь, почему не в прекрасных, комфортабельных, всем на свете снабженных, давно уже подготовленных убежищах? Почему не были вовремя отданы соответствующие распоряжения? Мало ли что надеялись, что противник не успеет раскусить нашей глубокой хитрости! У противника тоже есть разведка, и там тоже не дураки сидят... А Верховный-то Стратег, наверное, уже укрылся со своими, он-то не стал дожидаться разрешения!..

Чтобы обелить достойного военачальника, мы должны опровергнуть это последнее предположение сразу же: Верховный Стратег и его двести пятнадцать воинов никуда не укрывались. Передвигаясь в пешем строю и будучи людьми немолодыми и не очень тренированными, они все еще не успели достигнуть ни Высшего Круга, ни даже своей резиденции. И вот все о них.

Что же касается находившихся в Круге, то мгновенный упадок духа в них был почти тотчас же пресечен зычным голосом Первого Гласного:

— Никакого смятения, го-мары! Для того чтобы упасть, им потребуется около четверти часа! Соблюдая образцовый порядок, го-мары, — все вниз!

Он все-таки был Первым Гласным по достоинству.



Мин Алика и Форамы стояли, обнявшись. Похоже было, что их сегодня, сейчас не интересовали ни бомбоносцы, ни судьбы обеих планет — ничто, кроме их самих. Тем не менее, Олим поколебавшись, направился к ним.

— Ну что, Мина Ли, — сказал он, — Ты все-таки успела. И вышло по-твоему.

Мин Алика повернула голову к нему.

— Что, Олим? — спросила она.

— Они уходят. Видишь?

Бомбоносцы уходили. Чтобы взорваться — мощно, неконтролируемо — подальше от планет, от населенного, обитаемого космоса.

Мин Алика улыбнулась и сказала:

— Да, вот видишь, Олим...

— Впрочем, — сказал Олим, — я, кажется, вам мешаю.

Он был все так же бесстрастен, сдержан, невозмутим, как и всегда и со всеми.

— Ничего, — сказала Мин Алика. — Немного мы потерпим. Правда, Форамы?

— Правда, — откликнулся Форамы Ро почти машинально, так как мысли его в этот момент были уже заняты другими, более конкретными вещами. Он думал, что надо поскорее возвращаться домой вместе с Мин Аликой, которую он больше не отпустит дальше, чем на два шага от себя; что на Старой планете ему, надо надеяться, простят его грехи ради того результата, который был достигнут не без его, Форамы, помощи. Он так и думал: что какое-то, пусть малое участие в деле он принимал — у него было ощущение, что он в эти немногие дни как бы сопровождал кого-то другого, кто рисковал, делал, придумывал, добивался; а вот сейчас тот, другой, вроде бы покинул его, или во всяком случае собирался покинуть, и на душе становилось как-то уютнее, но и скучнее, что ли. Но другой еще не ушел, судя по тому, что сказал напоследок Олим, обращаясь к мужчине и женщине:

— Но я и не собираюсь вас задерживать. Хочу просто поблагодарить тех, кого больше не увижу. Потому что нам тоже пора...

Олим сказал «нам» — как будто их было двое, хотя стоял он перед ними один.

— А с теми, с кем увидимся — посидим тихо, когда все снова будем вместе. Желаю вам счастья.

Он повернулся и пошел было, и вот тут Форама неожиданно окликнул его:

— Значит, и ты был здесь?..

— Весь экипаж, капитан, — ответил Олим, не останавливаясь, лишь повернув голову. — Но я вернусь раньше тебя, хотя и ненадолго. Поэтому и прощаюсь.

Он сел в вездеход. Мотор загудел. Машина тронулась, и через минуту скрылась за деревьями парка.

Форама Ро посмотрел ей вслед, потом перевел взгляд на космический катер и с некоторым беспокойством подумал, что командир катера и второй пилот вряд ли простят ему тот способ, к какому он прибегнул, чтобы посадить катер на Второй планете. Но ничего не поделаешь, сейчас Форама целиком зависел от них: пора было возвращаться к своим наукам, к своему Опекуну, без постоянной заботы которого физику было как-то не по себе, в свою комнату, где он не был, казалось, так давно. Пора было возвращаться, и нужны были люди, которые поднимут катер с поверхности и приведут его на Старую планету, ведь сюда не Форама вел машину, а тот, другой, кого он как бы сопровождал и присутствие которого уже совсем перестало ощущаться.

— Мика! — сказал он, чувствуя необходимость в поддержке, в одобрении, просто в ласковом слове. И она, конечно, сразу же поняла это, Мин Алика, художница девятого уровня и бывший разведчик своей родной планеты, которую — она знала — сейчас покинет очень надолго, и, может быть, никогда больше не придется побывать здесь. Но важнее планеты было то, что она обрела за эти дни: ее собственный мир, ее человек — Форама, с которым она больше не собиралась расставаться никогда и ни за что.

Что-то еще она сделала за эти считанные дни. Ну да: чем-то помогла справиться со страшной угрозой: в небе нет больше бомбоносцев. Но сейчас Мин Алика не очень хорошо представляла, как все получилось: это и не она, собственно, действовала, а кто-то от ее имени, некто, чье присутствие она ощущала до самой последней минуты — а сейчас ощущение это вдруг исчезло. И она улыбнулась Фораме и сказала:

— Пойдем. Так хочется поскорее попасть домой...

Ей было все равно сейчас, будет ли это ее комнатка, или та, где жил Форам, или какая-то новая — где они будут вдвоем, там и будет дом.

— Думаешь, нам простят?

— Что? — удивилась Мин Алика. — Мы ведь ничего не делали. Неужели они не поймут?..

Они, держась за руки, пошли к катеру. А поодаль, полускрытый стволом дерева, стоял капитан Ульдемир и смотрел им вслед. Смотрел вслед двум самым обыкновенным людям этой планетной системы, успевшим уже позабыть о подлинных причинах своего мгновенного взлета. Но, может быть, это и к лучшему: самое главное осталось с ними, и будут их там прославлять или поносить — самое главное все равно с ними, и они инстинктивно понимают это.

А с чем же остался он, Ульдемир?

Он опустился на траву, прислонился спиной к стволу, положил подбородок на колени.

Уходил Форам. Мир тебе, мой квартирный хозяин. Но уходила и Мин Алика. Форам любил ее, конечно. Но ведь и Ульдемир — тоже!.. Только ему под силу было пробудить любовь и в Фораме, до того — слишком спокойном, уравновешенном, ограниченном для этого. Прекрасно, что Алика оказалась такой, что заслуживала высокого чувства. Но она-то любила Фораму, а не капитана Ульдемира, о котором и ведать не ведала. А Ульдемир знал, кого он любит: ее. И снова он остался один. Снова досталось ему — завистливо глядеть вслед чужому, удаляющемуся счастью. Проклятая судьба твоя, капитан Ульдемир...

Ульдемир встал и еще раз глянул на серое небо в ярких звездах и на темные стволы, которые, казалось ему, стали как-то светлее и веселее, потому что веселее и светлее сделались находившиеся среди них люди.

Ему показалось, что изнутри бетонного низкого здания чей-то голос назвал его имя.

Подойдя к двери, он негромко спросил:

— Меня кто-то звал?

— Да, — ответил голос, и Ульдемир вздрогнул, потому что голос этот, голос женщины показался ему знакомым. Он вздрогнул и решительно перешагнул высокий порог...

...и тотчас же зажмурился. Яркий полуденный свет после глубоких сумерек, в которых находился он только что, заставил Ульдемира сжать веки; не меньше минуты простоял он, пока решился открыть глаза — радужные кругиплыли перед ним в красноватой мгле, и он боялся, что открыв — и вовсе ослепнет, и поднимал веки медленно, словно бы налились они неодолимой тяжестью.

Но открыл, и ничего страшного не случилось. Свет, и вправду, был ярким, весенним, веселым; Ульдемир стоял на дороге — полевой, была она просто полосой убитой земли между огромными полотнищами чернозема, одно из которых уже почти совсем закрыто было плотным зеленым ворсом взошедших хлебов, другое же темнело: до половины — матовой чернотой свежей пашни, дальше же — посветлее, плотной поверхностью еще не поднятой земли. В отдалении, по линии раздела двух этих частей, двигалось что-то, приближалось медленно, но упорно. Ульдемир поднял руку к глазам, как если бы приходилось смотреть против света (хотя свет здесь был отовсюду, и ни один предмет не бросал тени) и увидел: широкогрудые, рослые, на сильных ногах ступали две лошади в упряжке, сытые, могучие; позади них человек — мощный, загорелый, полуголый с силой налегал на рукоятки — плуга, как сперва показалось капитану, но когда пахарь приблизился, Ульдемир увидел, что даже и не плуг то был, — хотя бы простенький, однолемешный, но соха, примитивная, простая соха, деревянная, неуклюжая — предпрошедшее время, плюсквамперфектум агротехники. Каторжная работа, — подумал про себя Ульдемир, жалея того, кому приходилось проводить дни свои в таком непроизводительном, однообразном и изнурительном труде, и прикидывая одновременно, как уместен оказался бы тут даже простой трактор его эпохи — не говоря уже о той машинерии, какой оснащено было сельское хозяйство новой, благополучной Земли, милой планеты. Свет и небо, переходившие там, где надлежало быть горизонту, в неразличимую дымку, были словно знакомы ему, но чтобы здесь даже плуга железного завести не могли, казалось ему невозможным. Убожество, бедность? Но — теперь это было видно точно — лошади были не замотанные клячи, а таких статей, что в его времена кочевали бы с выставки на выставку, вызывая

восторженно-деловой интерес специалистов; да и сам пахарь выглядел олимпийским тяжеловесом, и не представить было, что перебивался он с хлеба на квас, что в образованном сознании капитана Ульдемира было прочно связано с такой вот технологией... Ульдемир смотрел и лишь качал головой, то ли осуждая, то ли удивляясь. Тем временем землепашец закончил борозду у самой дороги, но поворачивать обратно не стал, а опрокинул соху, посмотрел на Ульдемира без видимого удивления, улыбнулся и кивнул со сдержанным, но не враждебным достоинством. В нескольких шагах, подле дороги, белым полотенцем было покрыто что-то небольшое; пахарь подошел, снял полотенце, поднял кувшин, странно сверкнувший словно был он вырезан из единого кристалла хрусталя; пахарь напился, снова глянул на Ульдемира и протянул кувшин ему, ни о чем не спрашивая. Капитан почувствовал, что и в самом деле хочет пить, очень даже; он перенял сверкающий сосуд с прозрачной жидкостью, поднес ко рту, понюхал, потом не без опаски отхлебнул. То была простая вода, не ледяная (по такой жаре это было бы хуже), но холодная, чистая, вкусная. Напившись экономно, капитан перевел дыхание, вернул кувшин и тоже улыбнулся, и взглянул на пахаря уже повнимательнее. И вдруг как-то разом узнал его — словно было что-то затянуто покрывалом и лишь контуры угадывались, но вот покрывало исчезло, и возникли определенные черты. Ульдемир смотрел, не соглашаясь с самим собой, не допуская, что он действительно видит это, а пахарь стоял спокойно и смотрел Ульдемиру в глаза, и лишь какой-то намек на улыбку таился в углах его губ — на улыбку добрую, хорошую, понимающую, не ехидную и не хвастливую улыбку человека, какая возникает, когда удастся наконец чем-то удивить другого: долго мечтал, и вот однажды получилось. Нет, без всего этого, без выпирающего сознания произведенного эффекта, а просто по-доброму улыбался старый друг и спутник. Ульдемир, все еще боясь, поверил, однако, наконец и хотел сказать «Здравствуй», но слово не вырвалось, его перекосило где-то внутри, словно патрон в патроннике, так что капитан только порывисто мотнул головой. «Ничего, — сказал пахарь, — весьма рад видеть тебя здравствующим и благополучным». Капитан снова дернул головой, словно лошадь, но тут наконец-то и голос прорезался. «А ты, ты-то как?» — выговорил

он громко, почти закричал. «Да слава богу, как видишь». «Но как, как?..». Собеседник усмехнулся. «Мы ведь всего не знали, Ульдемир, — сказал он. — И ничего в том нет удивительного, потому что действовали мы ведь сами по себе, по своему разумению, и никто нам ничего не объяснял. А те, кто исторг нас из нашего времени — они и того меньше знали, потому что всякое знание есть лишь краешек знания, а они воображали, что ежели умеют более нашего, то и знают больше, на деле же это не так». «Да скажи же!..». «Просто все, капитан. Уж проще некуда». «Погоди... Но мы же... Ты прости нас. Так все нелепо получилось на Дали. Мы жалели, мы вернулись потом, искали — не нашли...». «И не могли. Нас ведь тут убить нельзя. Человек только в своем времени смертен, а чуть только он вырвался из своего времени в иное, будущее — там его уже не убить. И если кому кажется, что все же убили, на деле сие означает лишь, что человек возвращается к истоку своему, к началу — туда, откуда его взяли, и там живет далее». «Значит, ты тогда...». «Потому вы меня и не обрели». «А потом?». «Рассказывать долго, в другой раз как-нибудь, встретимся же еще. Но вот ныне я здесь, и уж отсюда — никуда». «Здесь?». «На Фермеровой ниве тружусь; оказался достоин». Ульдемир снова окинул взглядом бескрайнее поле и незамысловатый инструмент. «Что ж тебе ничего получше не смогли дать?» — спросил он, для верности указав на соху. — Трактор здесь не помешал бы. Верно? Тем более, ты — человек, всякие технические сложности превзошедший...». «Да нет, неверно, пожалуй, — возразил Иеромонах непринужденно, словно именно такого вопроса ждал и ответ заготовил заранее. — Есть любители и такого; но по мне — ничего нет лучше, — он кивнул в сторону своей упряжки. — Жизнь общается с жизнью, и нет никакого мертвого вещества: и я жив, и лошади мои, и земля живая, и дерево было живым и никогда не бывает совсем мертвым, пока не сгорит». Последнее относилось, надо полагать, к сельскохозяйственному инструменту. «Не люблю, как пахнет железо, особенно в работе. Надышался вперед на все времена в нашей железной корбке». «Вот как... А я-то думал, что ты к нашему делу приохотился». «Так оно вроде и было. Человек, сам знаешь, может привыкнуть ко всякому, ты вот привык же там, на Старой планете; то, что у нас было — далеко не худшее, не хочу зря хулить; но я вот понял в конце

концов, что настоящая моя жизнь — пахать землю, и именно так: сошкой, на паре коней, вот в чем моя красота. Но моя жизнь — она не для каждого: жизнь у любого человека своя». «Однако, вряд ли ты таким способом много наработаешь». «Эх, еще не понимаешь ты, капитан; но поймешь. Я тут наработаю много, мно-ого!».

Не очень понял его капитан Ульдемир, потому что слишком глубоко в нем, человеке двадцатого века, коренилось представление о количестве произведенного, как критерии оценки человека и всех дел его; да и вообще едва ли не всего на свете. Да, собственно, и пахарь ведь думал точно так же; только слишком различным было у них представление о том, что же должен человек производить в своей жизни. Капитан думал, привычно и без запинки, о производительности труда, пахарь же — о другом, что творит человек — о том, чего Ульдемир, по воспитанию своему, да и по всему характеру цивилизации, которая стояла на дворе, когда он родился и жил, в расчет практически не принимал, хотя и нельзя сказать, чтобы совсем не знал о нем. Знал, но как-то теоретически, абстрактно знал, без приложения к сегодняшней, сиюминутной жизни, все равно — своей или любого другого человека.

Но недосуг им обоим было — ввязываться сейчас в дискуссию по такой непростой проблеме. Так что Ульдемир не стал спрашивать (хотя очень хотелось) — на своей ли земле, например, старый друг пашет, или на хозяйской, или общественной, или еще какой-нибудь; и какой тут строй и социально-экономический уклад; и еще много было разных вопросов. Но Ульдемир, привыкший уже ко всяким нелогичным и даже неправдоподобным (с точки зрения полученного им воспитания) событиям, понимал, безусловно, что сюда, на эту дорогу, попал он не сам собой и не случайно. А коли так, значит, когда настанет время, ему объяснят и скажут... От себя можем сказать лишь, что был капитан в этом неправ, ибо человек — не механизм, который можно включить и выключить в нужный момент, и спрашивать нужно всегда, потому что иного случая может и не представиться. Но это не важно сейчас... Он улыбнулся пахарю. «Наверное, надо мне идти, — сказал Ульдемир. — А уж как я рад, что тебя встретил...». «И я тоже. Ты еще всех наших встретишь, они раньше тебя успели вернуться». «Да, мы далеконоько были...», «Далеко, близко, — сказал па-

харь, — здесь такого измерения нет, здесь — иначе... А Землю вспоминаешь?». Капитан усмехнулся. «Конечно. На которой жил раньше: старую. Мою». «Что удивительного? Своя Земля ведь — одна... Ну что — за работу, что ли?». Он шагнул в сторону, потом повернулся, словно смущенный чем-то, опустил даже на миг глаза, потом снова поднял. «Что?» — спросил Ульдемир. «Ты, капитан, если будешь опять на Земле, — может и так статься, — поклонись ей от меня. Низко поклонись, земным поклоном». «Ладно», — пообещал Ульдемир, не очень, впрочем, веря в такую возможность. «Ну, счастливого пути, Ульдемир». Пахарь повернулся, подошел к лошадям, пожевывавшим что-то в торбах, надетых на спокойные, достойные морды их, — поднял соху, вожжи перекинул через плечо, поставил соху в нужное место, освободив перед тем лошадей от торб и оправив уздечки, — крепко уперся ладонями, чмокнул, понукая — лошади влегли в хомуты, сошник словно нехотя, но глубоко ушел в землю — и двинулись, прокладывая новую борозду, и пахарь, кажется, даже запел что-то негромко, хотя было ему нелегко, загорелая спина его отблескивала потом, свежая борозда тянулась ровно, без единого огреха, словно шов, простроченный на хорошо отрегулированной машинке. Ну что же, прощай пока, Иеромонах, — подумал капитан Ульдемир. — Прощай, инженер... И пошел.

Давненько не приходилось ему шагать так, не торопясь, но и не медля, емким шагом, когда человек словно бы и не спешит, но через минуту-другую оглянешься — а он уже во-он где!.. Воздух над нагретой землей дрожал, но дышалось легко, идти хорошо было. Сотня и сотня, и сотня шагов повторялись, и странное спокойствие нисходило, спокойствие, которое есть — отсутствие беспокойства за что бы то ни было, от пустяка до главного; а подобное отсутствие беспокойства тогда лишь приходит, когда человек уверен, что живет именно так, как надо, и там, где надо, и тогда, когда надо, что не заблудился случайно в чужом месте или времени, откуда почему-либо не может вырваться — но там и тогда, где ему быть должно. Странное для капитана ощущение, потому что был он ведь не на Земле, и места эти никак не смахивали на его родные края, и занимался он сейчас вовсе не своим делом: его дело было водить корабли, а если брать самую раннюю его, совсем другую жизнь,



сейчас уже почти забытую — то и там опять-таки его задачей было вовсе не отмеривать пешком километры по проселку. Нет; и все же он каким-то образом сейчас чувствовал себя дома: ведь бывает же в конце концов и так, что ты вдруг обретаешь свой настоящий дом не там, где родили тебя и вскормили, и воспитывали, но совсем в другом месте — и с первой минуты понимаешь, и потом у тебя не возникает и тени сомнения в том, что вот это и есть твой дом, потому что не прошлое руководит тобой, наоборот — ты все время, каждым шагом, каждой секундой жизни выходишь из этого прошлого, как все выше колено из колена выдвигается телескопическая антенна для приема дальних и нужных сигналов своей планеты... Ульдемир шагал. Та грусть, что вдруг охватила его в последние минуты пребывания на Старой планете, не покинула его совсем, но как бы несколько видоизменилась. Он больше не чувствовал своей заброшенности, оторванности от всего на свете; наоборот, было у него здесь необъяснимое чувство того, что одиноким он тут все же не был и оторванным ни от чего не оказался. Остаток же грусти имел причиной то, что Ульдемир пошел за голосом женщины — но его снова лишь поманили, и теперь он ясно понимал, что то не был голос Мин Алики, и не голос навсегда исчезнувшей Астролиды, нет; и не голос Анны, давно уже отстранившейся даже в памяти; но знаком был голос, в этом капитан готов был поклясться самой страшной из звездных клятв. И вот — никого не оказалось, и шагай себе, капитан; может статься, и вышагаешь что-нибудь рано или поздно... Вот почему было капитану грустновато, но грусть эта не нарушала спокойствия, в каком он пребывал, а напротив, как-то оттеняла его, отчего спокойствие казалось еще увереннее, надежнее, достовернее. Ведь не так устроен человек, чтобы у него все могло быть совсем уж ладно, обязательно хоть какая-то малость, да будет не так; если же все буквально так, как хотелось бы, то это ненадолго, и это не спокойствие, но совсем другое: счастье. Однако, счастье и спокойствие — вещи совсем разные, они, как говорится, и рядом никогда не лежали.

Дорога шла, время от времени лениво поворачивая: порой — без всякой видимой причины, а то — чтобы обойти одинокое дерево, не потревожить его. Понемногу стали попадаться кусты, потом их сбежалось к дороге больше, а там начали выскакивать деревца, пошел мо-

лодой лес, в который дорога вбежала с каким-то вроде бы даже веселым извивом. Стояла звонкая птичья тишина, потом затрещали кусты, и что-то неразлично быстрое промчалось, перемахнуло через дорогу — и скрылось в лесу по другую ее сторону, а треск, хотя и не сильный, все приближался оттуда, слева, и вот на дорогу вынесся длиннейшим прыжком преследователь, на лету готовясь к следующему прыжку — но увидел Ульдемира и удержался, едва коснувшись дороги пальцами босой ноги; видно было, каких усилий стоило ему смирить свою прыть, но он справился и встал, поджидая капитана, и рот охотника неудержимо растягивался от уха до уха. «Привет, капитан! — крикнул он, не дотерпев полного приближения Ульдемира. — Что ж ты позволяешь мне упустить обед?». Капитан был уже готов ничему не удивляться — и не стал, он эту встречу воспринял, как должное, словно было бы очень странно, если бы она не состоялась. «Привет, Питек! — ответил он. — Давно вернулся? Как дела?». «Давно ли? Не знаю, тут как-то не так со временем, да я и всегда считал, что время — это лишнее, его вы придумали там, в ваших технических столетиях. А что до жизни, то я живу! День еще не успел пройти, а я уже жду завтрашнего, и радостно оттого, что я знаю: пройдет он не хуже сегодняшнего, и впереди таких дней много-много». «Ты один?» — спросил капитан на всякий случай. «Сейчас — нет. Все наши в сборе. Не могли же мы допустить, чтобы ты прошел мимо и не посидел с нами». «Посидеть с тобой! — воскликнул Ульдемир, изображая ужас. — После того, как ты влил в меня столько отвратительного пойла на Шанельном рынке!». «А что, — откликнулся Питек, ухмыляясь, — посидели тогда неплохо, настоящий штык-капрал должен пить, пока остается хоть капля». «Ну, вот, и после этого ты меня приглашаешь». «Ты же знаешь, капитан: здесь все иначе. Мы собрались неподалеку. Только вот я из-за тебя упустил дичь». «Охотишься?» — спросил Ульдемир, идя рядом с Питekom по дороге и сворачивая вслед за ним на едва заметную тропинку. «Я ведь охотник от природы, капитан, ты знаешь. И тут я делаю свое дело. А главное ведь — делать свое дело, свое, а не чье-нибудь, а какое дело свое и какое — чужое, не может знать никто, кроме тебя самого, да и ты иногда понимаешь это с самого начала, а порой — не сразу. Но понимаешь. И тогда уже не хочешь делать ничего другого, кроме

своего дела...». Ульдемир хотел что-то возразить, но они уже вышли на поляну, где кружком около костра сидели остальные из его экипажа, бывшего экипажа: и мар Цоцонго Риттер фон Экк, и штаб-корнет Георгий из Спарты, и разведчик Олим, Гибкая Рука. Взгляд Ульдемира еще раз обежал полянку в безумной надежде, что еще один человек окажется тут — Астрөлида, инженер; но ее не было, компания собралась мужская, и он немного поник на мгновение, хотя, правду говоря, и знал, что больше ее не увидит никогда.

Он сел; они все долго смотрели друг на друга, переводя глаза с одного на другого, чувствуя, что все они — одно, но одно это отныне будет существовать в разных местах. Потом разом вздохнули, словно по команде. «Ну что же, Питек, — сказал Ульдемир, чтобы завести нейтральный разговор, — есть у тебя охота, ладно. А остальное как? Жить под кустом? Или тут и дождей не бывает? И холодов? Тогда, конечно, удобно — да ведь это одно место такое, может быть, существует в мире, а в других местах ты и сам знаешь, как. А после охоты хорошо ведь принять горячую ванну, а?». Охотник кивнул. «Неплохо. Но наверное, было бы очень скучно — если бы никогда не случалось дождей, гроз, холодов даже. Тогда кто знал бы цену хорошему дню? Но это не главное. Думаешь, тут нет твоей горячей воды? Думаешь, это мир охотников? Нет, капитан, это мир людей, а люди бывают всякие, и я люблю нестись за оленем, а другому нужно забраться в самую глубину материи, ему не нужен мой нож, ему нужно другое — ты думаешь, у него нет того, что ему нужно, чтобы с нетерпением ожидать каждого следующего дня?» «Есть? Значит, что же — каждому по потребностям?». «Да, если потребности — такие, — вступил в разговор Георгий. — Ты не видел здешних городов, Ульдемир, а они есть, таких ты и представить не можешь. И там живут люди, чья жизнь должна протекать именно там, а тут они захиреют от скуки. Каждый человек должен жить так, как ему свойственно, капитан, разве не так?». «Прекрасно было бы. Но ведь время...». «Послушай, капитан, — проговорил Уве-Йорген. — Наша с тобой ошибка, ошибка всего нашего времени — в том, что мы решили, что новое — противоположность старого и его отрицает. Нет, новое лишь дополняет старое, и чем больше всего существует одновременно, тем больше шансов, что каждый найдет занятие

по себе...». «А ты нашел дело по себе, Рыпяр?». Уве-Йорген усмехнулся. «Я... Обо мне другой разговор. Как и о тебе, надо полагать. Но вот ребята, кажется, осваиваются, и никуда уже отсюда, думаю, не собираются». «Почему? — не согласился Георгий. — Я еще не совсем решил. Но создаются новые планеты, Ульдемир, и восстанавливаются те, где были слишком неразумные хозяева. И я, может быть, попробую обосноваться на одной из них. Понимаешь, здесь слишком благополучно для меня. Вот Иеромонах нашел свое, и Питек тоже, и Гибкая Рука». Индеец кивнул и снова словно застыл, слушая. «А я еще буду искать, — сказал Георгий. — Здесь, конечно, всего очень много. Но ведь всегда остается в мире что-то такое, чего здесь нет. Вот я и хочу найти это». «Хорошо, — согласился Ульдемир. — Значит, только мы с тобой, Рыцарь, остаемся неприкаемыми». «Что поделать, — пожал плечами Уве-Йорген, — мы из двадцатого века, он был не очень уютным, сильно трясло, и нам не так просто остановиться и успокоиться. Не правда ли, капитан?». «Наверное... Значит, ты...». «Попытаюсь». «Но что мы станем там делать?». «Там? Там это будет проще. Понимаешь, все-таки Земля — это...». «Я еще не знаю, что предложат», — сказал Ульдемир, словно дело происходило в приемной начальства, и они ждали очередного назначения. «Я попрошусь туда, где еще стреляют, — откровенно сказал Уве. — Только теперь мне стало куда яснее, зачем надо стрелять. Затем, чтобы там, где приходится нажимать на спуск, это происходило бы в последний раз. Только ради этого». «Да, — сказал Питек, — с вами иначе. Мы теперь уже стали людьми Фермера. А вы оба — еще люди Мастера». «А какая разница между теми и другими?» — поинтересовался Ульдемир. «Разница не в людях, а в том, что и как они должны делать. Что хотят делать. Вот ты: ты капитан?». Ульдемир подумал и сказал: «Наверное, нет. Я многим занимался в жизни и отбрасывал одно за другим именно потому, что не было у меня ощущения сытости, не было сознания своего дела. Я еще не знаю, Питек, кто я, хотя большая часть жизни уже прошла». «Об этом ты не думай, — сказал внезапно индеец, — ты думай о главном». «Ну вот, я же сказал, что не знаю. Иногда мне кажется... Впрочем, кажутся мне разные вещи. Может быть, на деле я — плотник, и мне надо взять инструмент и обосноваться где-нибудь здесь, неподалеку от

вас?». «Может быть», — согласился Гибкая Рука. «Плотники вам нужны?». «Все люди нужны самим себе, — сказал Питек, — и если они нужны самим себе, то они нужны и другим. Ты только пойми правильно: нужны себе не для того, чтобы пить, есть и спать, а для того, чтобы делать свое дело, как Иеромонах и я, да и все, кто живет здесь. Но в чем твое дело — я знать не могу. Ты будешь разговаривать с другими людьми. С теми, кто знает куда больше нас: с Мастером, с Фермером. Может быть, они что-то посоветуют тебе, подскажут... Но что-то ты и сам должен знать. Хотя бы самое основное. Для начала». Ульдемир задумался. «Ну, главное я, пожалуй, знаю, — сказал он достаточно уверенно. — Снова оказаться на Земле. На старой, на моей Земле. И может быть, там для меня все-таки найдется дело по вкусу». «Это понятно, — согласился Питек. — Для тебя она существует в целом, Земля. Не только какое-то одно или два места на ней, но вся Земля, вся планета вместе со всем, что на ней есть или, вернее, было тогда. И если чего-то из этого всего будет не хватать, тебе станет уже не по себе, потому что это будет уже не та Земля, хотя бы недостающее тебе пытались заменить чем-нибудь лучше. У меня, у монаха, у Руки совсем иначе: для нас нет целой Земли, она существует для нас только в тех пределах, какие были нам доступны в наши времена, а пределы эти невелики, и то, что есть здесь, не очень отличается от того, что было там. Но ты и Рыцарь — другое дело. Понимаешь, если бы вас поселить в другом месте Земли, вы все равно были бы, наверное, довольны, потому что для вас это все равно была бы все та же планета, даже если бы все там не было похоже на привычные тебе края.». «Но на Землю мне вряд ли попасть», — невесело заметил капитан. «Почему?». «Я с самого начала предлагал Мастеру установить контакт с нашей земной цивилизацией — обещал от этого какие-то выгоды!..». Питек усмехнулся. «Этого не надо стыдиться, — сказал он, — тогда мы еще ничего не знали». «Да; но все равно, он мог бы пообещать отправить меня на Землю, пусть и без контактов: теперь я знаю, что им ничего не стоит сделать это». «Вот и проси. Конечно, может быть, все чуть сложнее: у них, видишь ли, такое представление, что человек должен быть там, где есть подходящее для него дело. Но с другой стороны, они считают, что ограничивать человека ни в чем нельзя, иногда

они даже слишком не ограничивают, так что потом приходится срочно идти на помощь и спасать. Ну, как на тех планетах...». Легкие улыбки прошли по лицам после этих слов охотника. «Капитан, — сказал Георгий, — и ты, Рыцарь: в любом случае помните, что мы здесь, и что если понадобится помощь — наверное, никто не станет мешать нам прийти и помочь. Все-таки, что-то мы уже умеем, верно?». «Ну, — сказал Рыцарь, — попали бы вы в мои руки с самого начала, вы сейчас умели бы куда больше. А то даже в экспедиции меня, видите ли, приставили к физику. А я летчик, я солдат, и мог бы тратить время с большей пользой». «Когда надо, мы все — солдаты, — сказал Рука. — Мы все войны. Когда надо».

Снова все помолчали. Потом Ульдемир встал.

— Спасибо, — сказал он. — Это было здорово — увидеться.

— Мы желаем тебе счастья, Ульдемир, — сказал Георгий.

— Я увижу тебя там, — проговорил на прощанье Рыцарь. — Я еще поохочусь немного. Достойное занятие.

Не надо оглядываться, — думал Ульдемир, уходя. — Не надо, потому что все равно это горько — что бы там ни было впереди. Но каждый ищет самого себя. И этот «он сам» не всегда там, где другие... И вообще (думал он) человек со своими делами должен справляться сам: тогда он каким-то образом организует мир вокруг себя, если же он полагается на других, то лишь пристраивается к миру, организованному другими. Беда только в том (думаем мы), что никому из нас неизвестно в точности, как нужно организовать мир и для чего. Кто-нибудь другой, может быть, и знает, а мы — увь. Впрочем, как говорится, еще не вечер...

\* \* \*

Ульдемир снова стоял на обширной открытой веранде, залитой все тем же золотистым светом. Только что прошел он лугом, поросшим яркой муравой, каблук его простучали по мостику, перекинутому над неширокой, прозрачной, медленно струящейся речкой, окаймленной невысокими кустами, и взошел на крыльцо. На веранде никого не было, но стоял стол, накрытый на четверых, накрытый в полном соответствии со вкусами и обычаями Земли — и следовательно, именно его ждали здесь.

Дверь, из которой Ульдемир вышел сколько-то дней назад (но он не мог сейчас поручиться, что только дни прошли; неизбежность времени не ощущалась здесь) была гостеприимно отворена, однако он не стал заходить в дом, а остался на веранде в уверенности, что долго ждать ему не придется.

И действительно: высокий человек, в углах рта которого, как и прежде, крылась чуть ироническая улыбка, вышел и приблизился к Ульдемиру. Капитан, не зная, как надлежит приветствовать хозяина, ограничился кивком — не небрежным, а выразительным, с паузой, позволявшей счесть это движение за поклон. Мастер улыбнулся в ответ и тоже кивнул — не так церемониально, может быть, но доброжелательно, словно увидел приятеля, с которым встречался лишь недавно и с которым за прошедшее с тех пор время ничего плохого не только не случилось, но и не могло случиться. Мастер подошел к столу, но садиться не стал, сказал лишь:

— Обождем других, если не возражаешь. А тем временем хочу поздравить тебя. Ты все сделал правильно. Ты помог.

— Кому? — не удержался Ульдемир от вопроса.

— Миру.

— Ты имеешь в виду те две планеты, Мастер?

— Нет. Мир — это все, — сказал Мастер, широко поведя рукой. — Все, что есть, и чего еще нет, но что будет, должно быть — если развитие не сойдет с верного пути. Казалось бы, что такое две небольшие планеты для всего мира? Но с них мог начаться, а точнее — ими мог продолжиться и усилиться процесс, вредный для развития мира. Так что считай, что мир избавлен от одной из помех благодаря и твоим усилиям. Народы ставят за такие дела памятники; и тебе тоже будет воздвигнут памятник на обеих планетах. Только изваян будешь не ты, к сожалению, а мар Форам Ро, способный ученый и не очень крупный человек, в нужный момент решившийся, правда, на нужные, хотя и небезопасные действия. Мы знаем, что вел и побуждал его ты, а дал тебе такую возможность я; таким образом, сделали все мы с тобой, но люди там никогда ничего не узнают. И это, возможно, слегка уязвит твое самолюбие. Но народы не так уж редко ставят памятники не тем, кто был мозгом и сердцем свершения, но лишь оболочкой — памятники внешности, а не сути. И лишь мы знаем, как все было

на деле. Но мы нередко отождествляем себя с силами природы, Ульдемир, — а разве силам природы нужны монументы?.. Но я понимаю, что мы с тобой можем судить об этом по-разному, и одно лишь знание сути может показаться тебе не вполне достаточной наградой за силы, которые ты потратил, и опасности, каким подвергался. И, быть может, за некоторые разочарования, без чего, насколько я могу судить, тоже не обошлось. Поэтому мы наградим тебя, хотя наше представление о награде не во всем будет совпадать с твоим. Тебе придется поверить в то, что наше представление ближе к истине, именно поверить: поймешь ты это, наверняка, не сразу.

— Ладно, Мастер, — сказал Ульдемир, усмехнувшись.. — Какой еще памятник? На Земле не знают об этих делах, а на Старой планете никому неведом Ульдемир. Но чтобы чувствовать себя вознагражденным, я хочу все-таки понять толком: что же я сделал? Предотвратил войну между двумя планетами? Да, это немало — для их обитателей; но если говорить о Вселенной, то так ли уж велика заслуга?

Мастер улыбнулся.

— Ты все еще мыслишь масштабами своей Земли, — сказал он, — и на уровне ее знаний. Уровень этот, скажу сразу, не очень высок, а ты ведь еще и не самый знающий... Но даже и у вас на Земле давно знали, Ульдемир, что нет в мире изолированных событий, и каждое влияет на все остальное. Но у вас представляют это лишь в самом общем виде, а механизм взаимодействия между, казалось бы, разобщенными событиями тебе совершенно неясен, да и всем у вас — тоже. И не потому, что эти вещи слишком сложны для вашего постижения. Они крайне просты, даже примитивны. Но вы никогда не пытались всерьез подумать о них, потому что в вашем мышлении существует множество запретов, вами самими поставленных и ничем не обоснованных. И вот это самоограничение вашей мысли направило вас на тот путь развития, который теперь заставляет Фермера считать вас сорной цивилизацией, культивирующей искусственную жизнь вместо естественной, цивилизацией, не понимающей, что такое человек и какова его роль в мире. Но об этом тебе лучше поговорить с Фермером: люди — его стихия, мое дело — мир, его конструкция, развитие и совершенствование. Но все же скажи мне: чего ты пожелаешь для самого себя?



Ульдемир помолчал.

— А что ты можешь предложить, Мастер?

— Не более, чем есть у меня. Хочешь остаться, хочешь быть с нами? Это не так уж плохо, как может тебе показаться, Ульдемир: быть моим эмиссаром. Это — множество планет, на которых тебе придется бывать. Цивилизаций, с какими доведется встречаться. Правда, должен предупредить сразу: чаще всего это будут не лучшие цивилизации. Те, где дела идут хорошо, мы навещаем редко, там работает Фермер, удобряет и улучшает, получает урожай и сеет снова... Это будут не самые благополучные цивилизации, и там придется порой быть даже жестоким, и уж всегда — решительным, и там придется редко выступать в своем облике, так что ты станешь даже отвыкать от него, как многие из нас... Но зато ты будешь знать, что делаешь важное и нужное, и силы у тебя будут иные, и возможности и средства — неизмеримо огромнее, а опасности, какими смогут грозить тебе те цивилизации, вызовут у тебя только улыбку. Я предлагаю тебе, Ульдемир, подлинное могущество. Ты нам подходишь, и если согласишься — мы будем рады. Тем более, что... — он выдержал паузу, — не только я думаю так, и обещанное мною — далеко не единственная награда.

— Я человек практичный, Мастер. Скажи сразу, что ты имеешь в виду.

— Нет, Ульдемир. Мог бы, но не стану. Потому, что говорить тебе об этом должен не я. И потом — я же не покупаю тебя и не нанимаю. Я предлагаю тебе это, как награду, и поверь: так оно и есть. Лишь немногие из желающих устаиваются нашего согласия. Моего, если хочешь.

— Спасибо за предложение, Мастер, и за честь. Но я не хотел бы решать сразу. Ты сказал, что Фермер придет?

— Ему интересно посмотреть на тебя вблизи.

— Он будет говорить со мной?

— Не сомневаюсь.

— В таком случае, я отвечу тебе после разговора с ним.

— Я и не тороплю тебя. Подумай. Тем более, что я слышу приближение Фермера. Приветствуй его, как следует: он равнодушен к знакам внимания и уважения. Дай понять, что ты очень рад возможности его увидеть.

Он крайне добрый человек. Но мыслит лишь категориями цивилизаций и культур, а при этом отдельный человек порой выпадает... Да, вот и он. Тепла тебе, Фермер!

— И тебе, Мастер. Я наблюдал, как сокращается зона Перезакония. Очень успешно. Спасибо за помощь.

— Ты благодаришь за успех не того, кого следовало бы. Вот человек, исполнивший этот нелегкий труд.

— Ага. — Фермер повернулся и стал в упор разглядывать Ульдемира. — Тот, что предлагал нам контакт с Землей и всяческие блага?

— Вряд ли можно винить его в этом, Фермер. Тогда он и вовсе ничего не понимал.

— Не сомневаюсь. Но должен огорчить тебя, человек: контакт с вами сейчас нам вовсе не нужен. Могу сказать, почему. Вы получили прекрасную планету. В отличие от тех, у кого с самого начала имеется лишь одна возможность развития, у вас было их множество. И вы избрали самую худшую из них. Понимаешь, почему худшую?

— Нет, — сказал Ульдемир, стараясь скрыть обиду. — Не понимаю.

— Ну, попытаюсь объяснить. Ты задумывался когда-нибудь о том — какова цель вашей цивилизации?

— Чтобы люди жили. И по возможности лучше.

— Что, по-твоему, значит «жить лучше»?

— Ну, начну с самого примитивного: быть сытыми. Иметь жилье. Любить...

— Любить. Наконец-то хоть одно осмысленное слово. Значит, быть сытыми. Иметь жилье. И так далее. Поколение за поколением. До какого же времени? А главное — зачем?

— Ну, не только это. Осмысленно трудиться, творить... Развивать человеческие способности...

— Ты со странной последовательностью перечислил именно то, чего вы как раз не делаете. От чего вы сейчас дальше, чем были в самом начале.

— Ну, — сказал Ульдемир, — сохой-то мы давно не пашем.

— Соха тебя оскорбила? Конечно, она может прокормить куда меньше людей, чем ваши механизмы. И конечно, хорошо, когда человечество растет. Но — для чего растет? Просто, чтобы расти? Для этого разум не нужен.

Для осмысленного труда? А ты много его встречал у себя дома? Что ты вообще считаешь осмысленным трудом? Думаешь — труд, в результате которого возникают очень сложные изделия? Чушь. Не забудь: плоды труда в первую и главную очередь — не то, что вы всем скопом сделали, а то влияние, которое оказал труд на каждого, кто работал. Не то, что труд сделал с изделием, а что он сделал с человеком! Не с человечеством, а с отдельным человеком, с каждым, ибо человечество — не муравейник, муравейник — организация для насекомых, а не для людей. Не надо завидовать муравьям: им понятие счастья неведомо. Вы же об этом и всерьез думать забыли. Вы вкатили на пьедестал огромное зубчатое колесо, как там оно у вас... и идолопоклонствуете! Зачем же нам такой контакт? Вместе поклоняться шестерням и лить на их алтарь машинное масло? Разве шестерня — цель существования мира? И не она развивает мир. Люди должны быть людьми, а не массой, завинчивающей гайки. Вот научитесь быть людьми! Тогда придите, и рассудим. Рассудим — разговаривать ли с вами, или подождать, пока вы сами не освободите место для нового посева!

— Ну, за что ты его так, Фермер, — улыбаясь, проговорил Мастер. — Человек любит играть; они там играют в механизмы и могущество, и не задумываются над тем, что одна лишь машина неизбежно завезет их в тупик. Но если им объяснить...

— Объясняли, — сказал Фермер. — Но они очень не любят, когда им объясняют. До смерти не любят. До смерти того, кто пытается объяснить...

— Но хоть ему ты что-то объяснишь? Одним осуждением он сыт не будет. Ну хотя бы — в чем заключается цель...

— Ну? — спросил Фермер Ульдемира. — Как по-гвоему, в чем заключается цель?

— Цель чего? — не сразу понял капитан.

— Существования. Моего, твоего, всех людей.

— Ее вовсе нет, цели, — сказал Ульдемир обрадованно. — Цель — в самом нашем существовании. Для этого мы и работаем.

— Ну, вот, — сказал Фермер. — Вот мы и сподобились услышать исчерпывающее объяснение. Ну, а почему же вы решили, что иной цели, чем собственное существование, у вас нет?

— Да потому что цель ставит тот, кто создает. А разве нас кто-нибудь создавал? Может быть, вы нас создали, Фермер?

— Нет, — сказал Фермер. — Потому что фермер не может сказать, что он создал пшеницу. Вначале ее создала природа. А он лишь сеял, отбирал и улучшал. Ухаживал. Жал и сеял снова. Но он не создал. Так же и вас.

— Значит, и цели некому было ставить.

— А вот тут ты уже уклоняешься в сторону. Цели нет, если говорить твоими словами, однако, место свое, роль своя, задача своя — есть! Ибо все в природе имеет и начало, и продолжение.

— Это вы о возможности новой, более совершенной расы?

— Мы ведь говорим о людях, а не о тех, кто еще может быть. О людях — таких, каковы они суть. И продолжение человека — это его воздействие на мир, который, в свою очередь, воздействует на него...

— Разве мы не воздействуем?

— Уродуя. Да, этому вы научились. У кого только? Но вернемся к цели. Скажи: кто создал траву?

Ульдемир пожал плечами:

— Никто, естественно. Природа.

— И цели никакой, следовательно, не было.

— Конечно.

— Запомни это. Но вот впоследствии появилась, условно говоря, корова. Кто создал корову? Ну, хотя бы ее предков?

— Тоже никто.

— И тоже без цели. Согласен. Но когда возникла эта самая корова, пищей для нее стала служить трава. Не было бы травы — не было бы и коровы, согласен? Следовательно: цели у травы не было, но задача своя, роль, место в цепи развития мира у нее появилось: служить пищей корове. Согласен? Или я неправ?

— Ну, тут, кажется, противоречий нет...

— О, спасибо! Тогда двинемся дальше. Возник человек. И корова, никакой цели в своем бытии, понятно, не преследовавшая, стала — хотела она того или нет, другой разговор — источником молока, мяса, кожи, тяглом даже... И у нее, значит, появилось свое место в некоей системе, одной из множества. Своя роль. И если корова вдруг изменилась бы — скажем, молоко у нее стало бы ядовитым для человека, — это не могло бы не повлечь

изменений в последующем звене. Ну, а дальше? Как с нами самими? Может у человека быть свое место в той же системе развития мира, своя функция, своя задача? Или — все для него, а он, человек — венец мироздания? Нет, человек, если ты и венец, то пока чаще — терновый... Но если я — предел развития, все для меня, мне на потребу, следовательно, что пожелаю, то и делаю, отчета спросить некому, а цели у меня нет, оттого мне и море по колено... Так что же — значит, все позволено?

— В чем же наша функция? — хмуро спросил Ульдемир. Вовсе не туда уходил разговор, не в ту сторону, куда хотелось бы. Но и уклониться от разговора этого теперь не было возможно.

— Вот наконец-то мы подошли к дельному вопросу. И я постараюсь тебе на него ответить. Но прежде — маленький шаг в сторону. Вы уже в свое время знали, что живете во Вселенной. Но представляли ее себе чрезвычайно примитивно. То ли она существовала вечно, то ли однажды возникла, сформировалась — и на этом почил, видимо. И осталось от всей ее динамики разве что одно пресловутое разбегание галактик. Уютно вы устроились, ничего не скажешь: так и рисуется вам этакая неподвижная Вселенная, основные законы которой вы уже постигли, неизменные, разумеется, законы, то ли возникшие в момент возникновения Вселенной, то ли еще до того существовавшие — словно одни и те же закономерности свойственны миру на всех стадиях его развития... Но ведь не могло быть такого, чтобы мир, развившись до определенного уровня сложности, взял да остановился вдруг в своем развитии. Почему вы не подумали, что мир не стоит, он продолжает меняться? И законы его бытия тоже меняются, неизбежно. Но чтобы всерьез задуматься об этом, надо перестать относиться к миру как к чему-то, от чего можно и нужно только брать, брать, брать; нужно взглянуть на него как на нечто, чему и помогать надо! Потому что мир может изменяться, совершенствоваться, а может и — регрессировать. Не только мир людей: весь вообще мир. Ты скажешь: нет, ведь развитие происходит по программе! Да; ну и что же? Программа есть и в зерне. Но чтобы она реализовалась, нужны условия. Влага, температура, свет, защита от сорняков, вредителей... То есть, нужны еще и сторонние воздействия. И вот развитие мира без такой стимуляции тоже происходить должным образом не может. Но поскольку

вне мира ничего нет, то и эти стимулирующие силы тоже находятся внутри его, в пределах самого мира, они — его часть. Силы, которые тебе, допустим, легко представить хотя бы в виде полей.

Ульдемир кивнул.

— Ну, раз это понятие тебе знакомо, то представь себе некое поле, в котором развитие вещества происходит в нужном направлении. Хотя воздействие его и не так очевидно, как, скажем, магнитного поля или гравитационного. Твои современники еще не создали приборов для его обнаружения. Но именно оно... Поле это, надо тебе сказать, существовало не изначально. Оно возникло в процессе развития мира. На определенном этапе. Ты догадался, когда и как?

Ульдемир снова кивнул — медленно, словно сомневаясь.

— Да, да! Вместе с человеком. Только мыслящая материя генерирует его. Вы думаете, что ваш разум влияет на окружающий мир лишь посредством рук и вложенных в руки орудий. Это — малое влияние, в масштабе Вселенной им можно было бы и совершенно пренебречь! А существует, однако же, влияние куда более сильное и непосредственное; и вот вы воздействуете на весь мир, сами того не зная, и в этом ваша — не скажу цель, но функция в мире. А руки у вас не затем, чтобы природу изменять, но — себя. Себя! совершенствовать.

— Интересно, — проговорил Ульдемир, сомневаясь. — По-вашему, все получается очень просто, и стоит лишь человеку захотеть чего-нибудь — и все возникнет, как в сказке...

— Ну, это-то пока вам не под силу. Да и не о том речь. Пойми другое: поле, создаваемое вами (если оставаться в рамках ваших представлений), непосредственно влияет, помимо вашего желания, на процессы развития мира — причем влияние это может сказаться где-то на громадном расстоянии, а может и совсем рядом. Но важно вот что: поле это может быть положительным и отрицательным, влиять на мир в нужном направлении, или в обратном. Применяясь к твоим понятиям, скажу так: при положительных мыслях и чувствах, переживаемых человеком, возникает поле, действующее так, как нужно, чтобы мир развивался. При отрицательных — наоборот. Любовь, дружба, творчество, все, что вызывает в человеке радость — вот то, что нужно миру.

— Добро, иными словами?

— А ты полагаешь, добро и зло суть понятия относительные, целиком зависящие от уровня сознания! Нет, они естественны, они связаны с развитием мира, начиная с возникновения разума.

— Но ведь человек может испытывать чувство радости по таким поводам, какие никак не назовешь добрыми. Люди-то разные. Радость — убив врага, обманув, украв и не попавшись...

— Может. Но где убийца — там и жертва, и там, где вор или обманщик, тоже без жертв не обойтись. И чувства жертв противоположны по знаку и сильнее по абсолютной величине: так уж устроен человек, что чувства отрицательные, или, как мы тут говорим, Холод всегда сильнее, чем Тепло, и держится дольше: может быть, потому, что радость кажется человеку естественной, она не вызывает в нем такого перепада между тем, что должно быть и тем, что есть на деле, какой возникает при переживании зла. Наибольшее Тепло рождается, когда радость одних не связана с потерями других, когда второго знака вовсе нет. Вот тогда мир обогащается Теплом в чистом виде, и развитие его от хаоса к порядку убыстряется.

— Чем же оно завершится?

— Этого мы не знаем. Может быть, это известно другим.

— Разве на вас цивилизация не завершается?

Фермер усмехнулся.

— Немного бы она стоила, если бы это было так. Нет... Мы не знаем, чем завершится развитие. Наверное, оно вообще никогда не завершится. Мы видим только ближайшие рубежи. Мыслящая материя, например, вся материя. Это еще можно представить... Но дело не только в прекрасном будущем. Разве сам процесс достижения цели не может быть прекрасным? Разве не был чудесным миг, когда люди на тех планетах увидели навсегда удаляющиеся смертоносные машины? Мы с Мастером видели, какой взрыв Тепла возник в те мгновения. Жаль, что тебе не дано его видеть. Вы с вашей цивилизацией не уделяете ни малейшего внимания развитию своих способностей, предпочитая те из них, что утрачены или вообще не успели развиться, заменять протезами. А мы вот видим гравитацию, видим магнитные поля и слышим их — и это прекрасная музыка... Но мы снова ушли в

сторону. Такие вспышки Тепла, как эта — явление редкое, они связаны с исчезновением угрозы какой-то глобальной катастрофы, чаще всего самими же людьми и вызванной. Но нельзя же постоянно подвергать угрозам обитаемые миры... Нет, каждому человеку должно быть хорошо и радостно — постоянно, день за днем, поколение за поколением. Каждый день, каждый час жизни должен приносить ему радость. Он должен много трудиться, излучая великую радость творчества — и делать то, к чему чувствует пристрастие. Я не хуже тебя понимаю, что пахать сохой — не лучший способ растить хлеб. Но если хоть одному человеку именно это доставляет самую большую радость — пусть пашет! И что за беда, если на соседнем поле будут работать машины, а еще на одном хлеб будет расти так, как принято это у многих цивилизаций основного русла: сам собой, без вмешательства человека, но по договоренности с ним. Человек может получать у природы все нужное, не отнимая, но по соглашению с нею; только при этом ему приходится относиться к ней, как к равноправному партнеру и выполнять свои обязанности, понимать ее и беречь... Наш способ дает неизмеримо больше, чем ваш, машинный, а ваш, в свою очередь, куда производительней, чем соха; но если она необходима ему — да обрящет! Потому что нам не хлеб его нужен прежде всего, а его радость жизни, то Тепло, которое дает он, ощущая себя на своем месте в мироздании. Пусть благоденствуют пахарь и капитан звездного корабля — для мира они одинаково ценны. И пусть два соседа делают и думают по-разному, но если дела их добры — они генерируют одно и то же поле — то, что ведет ко благу. Ты понял? Страх, зависть, вражда, подлость, голод, бесправие — вот что дает отрицательные поля, и еще многое другое: предательство, жестокость, нетерпимость. Чем больше человек думает о мире и о своем месте в нем, тем менее способен он на все это. Но заботиться об этом нужно начинать своевременно, подобно тому, как воспитание каждого отдельного человека начинают с первого дня его жизни. А вы решили, что делать машины важнее, а человек как-нибудь и сам обойдется... И я говорю тебе: вы хотите войти в наш мир, большой, развивающийся мир? Научитесь быть людьми, а не персоналом! Чувствовать не шепотом! Любить, не жалея себя! Тогда, повторю — тогда придите, и рассудим!



Не дожидаясь ответа, Фермер круто повернулся. Шаги его прозвучали за углом дома и сразу исчезли, и Ульдемир снова остался наедине с Мастером.

— Ну, вот, — сказал Мастер спокойно. — Теперь ты приблизительно понимаешь, что к чему. Фермер прекрасно объясняет, мне это никогда не давалось. И теперь ты можешь всерьез подумать и решить: так ли уж хочешь ты на свою прекрасную Землю?

Ульдемир помолчал. Вздохнул.

— Я хочу. Не знаю, почему. Рассудок советует остаться с вами. Но вот чувство... Наверное, только там я смогу давать Тепло, о котором говорил Фермер. Там.

Мастер помолчал в свою очередь.

— А какую Землю ты имеешь в виду?

— Если бы у меня был выбор!.. Но разве ты сможешь вернуть меня туда, где я родился, где жил своей жизнью?

— Какая мне разница?

— Это возможно?

— Возможно.

— Тогда... Тогда, Мастер, и говорить нечего!

— Да будет так. Но я все же не хочу терять тебя окончательно. И ты не забудешь того, что слышал. И не станешь скрывать этого от тех, кто захочет услышать.

Ульдемир кивнул.

— А ты представляешь?..

— Да, — сказал Ульдемир, помедлив. — Да. Но скажи: зачем это тебе? Ведь те времена давно прошли, Земля с тех пор проделала немалый путь...

— Что ты знаешь о времени, Ульдемир, чтобы судить? Раз я хочу, значит, вижу в этом смысл. Недаром даже у вас понимают, что исправлять ошибки никогда не поздно.

— Я верю тебе. Хотя в чем-то ты и обманул меня.

— Неужели? Это серьезный упрек, Ульдемир. Я знаю, что ты имеешь в виду. Но разве я не дал тебе любви — там, на планетах?

— И отнял снова.

— Любовь нельзя отнять. Человека — может быть. Но я не обещал тебе ничего навечно. И к тому же, жизнь ведь далеко не кончена, капитан. Вот стол. Разве не чувствуется, что здесь хозяйничала женская рука? И ты даже не полюбопытствовал, для кого четвертый прибор.

Ульдемир нерешительно усмехнулся.

— Женщина? Может быть, я ее знаю?

— Должен разочаровать тебя: нет. Она — мой эмиссар, та, что помогала тебе на планетах. Но ты ее не знаешь — настоящей...

Ульдемир безразлично кивнул.

— Что же, я очень благодарен ей. За помощь и гостеприимство.

— Это ты скажешь ей самой.

И почти одновременно с этими словами женщина вышла из дома.

Нет, Ульдемир никогда раньше не встречал ее. Незнакомые черты прекрасного лица. Спокойный и добрый взгляд. Мягкая улыбка.

— Тепла вам! — сказала она. — Вам обоим.

— Прошу за стол! — сказал Мастер. Он смотрел на женщину. Ульдемир перехватил его взгляд, и капитану почему-то стало грустно.

\* \* \*

— Ну вот, капитан, — сказал Мастер, когда обед подошел к концу и на столе появились фрукты. — Не могу обещать, что тебе будет легко. Но не надо бояться, даже когда очень больно. Это ведь не главное. Главное — добро. И ты знаешь, что будущее — за ним. Что бы тебе ни говорили. Счастливого тебе пути.

— Теперь моя очередь, Мастер, — сказала женщина. Мастер нахмурился.

— Нужно ли это?

— Я так хочу. И ты знаешь, что я права. Ты — знаешь.

Ульдемир смотрел на нее, не понимая. Мастер встал.

— Хорошо, — сказал он, и голос его, по-прежнему громкий, словно утратил звонкую резкость. — Я всегда уступал тебе.

В следующий миг его больше не было на веранде.

Ульдемир взглянул на женщину.

— Я слушаю вас.

— Ульдемир, — сказала она. — Я обидела тебя?

— Простите, — сказал капитан. — Я не припоминаю...

— Ах, да. Прости. Смотри.

Он и так смотрел. Лицо ее стало неподвижным, но черты его словно бы менялись — где-то в глубине, под поверхностью. И...

- Анна! — крикнул он.
- Не спеши...
- Астролида! — Он вскочил. — Ты...
- Обожди, капитан!
- Мин Алика?..

Но и тот облик промелькнул — и исчез, и снова перед ним сидела женщина, которую он только здесь, только что увидел.

— Ульдемир! — сказала она негромко. — Разве трудно было понять, что все время это была я? Пусть мой облик и менялся... Ну почему ты, как большинство людей, видишь меняющийся облик — и не видишь того неизменного, что под ним: личности человека, сущности женщины? Как ты мог не понять сразу же, что это — я?

- Ты... — пробормотал он. — Ты...
- Ты твердо решил уйти на Землю?
- Если бы я знал... Но я уже не могу не уйти.
- Боишься, что Мастер и Фермер плохо о тебе подумают?

— Нет, — сказал он. — Не поэтому.

— Я понимаю. — Что же, иди, Ульдемир.

Он хотел приблизиться, но она вытянула руку.

— Я... — сказал капитан. — Не могу... Снова теряю тебя. Теперь — навсегда. Но ведь это — только мое. А там... Но позволь мне на прощанье...

— Иди! — сказала она. — Мастер ждет тебя. А Мастер не должен ждать.

Ульдемир поднял голову.

— Прощай, — сказал он. — Я буду думать о тебе всегда. Сейчас, когда я знаю, понял... буду всегда любить тебя, зная, что ты есть. Что ты всегда есть.

И он решительно двинулся — к углу дома, туда, где всегда исчезал Мастер.

— Да, ты будешь, — сказала женщина вдогонку. — А там, на Земле... Слышишь, Ульдемир? Там, на Земле...

Он приостановился.

— Я слушаю...

— Попытайся там привести все в порядок. Не на планете, конечно: у себя дома. Потому что я приду к тебе очень скоро. Надолго. Навсегда — Она улыбнулась. — Я помогала тебе на чужих планетах. Неужели я оставляю тебя одного на Земле?.. Ты только узнай меня.

## Глава одиннадцатая

И все-таки меня отнесло течением метров на пятьдесят, стоило мне чуть ослабить гребки, пока сердце не пришло в норму. Я подплыл к берегу. Дно здесь было илистым, в воде лежали коряги, вылезать было не очень-то удобно, но ничего не поделаешь. Зато я согрелся, хотя Гауя в это время — не для курортников.

Я вылез, узкой тропкой в кустарнике прошел к месту, где раздевался, где лежали мои джинсы, куртка, полотенце — лежали так, как я их бросил. Я вытерся, с удовольствием чувствуя, как дышит кожа, как разбегается кровь. Вода выручает нас в таких случаях, когда больше вроде бы некуда деваться; но рано или поздно приходит пора вылезать. Сколько я пробыл в реке на этот раз? Минут десять? Пятнадцать? Спасибо, Мастер. Очень точно.

Я медленно шел к даче. Спешить было некуда, и следовало о многом подумать, об очень многом. А думать хорошо именно когда идешь куда-то, но не спешишь, зная, что не опоздаешь.

Я прошел по пустынному дачному поселочку, подошел к своей даче. Калитка была отворена. Я, помнится, закрыл ее, когда шел купаться. Впрочем, тогда я был в таком настроении, что немудрено было и забыть. К тому же, я ведь уходил ненадолго — да и на самом деле пробыл на реке не бог весть сколько.

И все-таки калитку отворял не я. Я понял это, когда из-за дома навстречу мне вышел сын.

— Папа, здравствуй, — сказал он.

— Сын! — сказал я. — Приехал? Вот молодец. Давненько я тебя не видел...

— Я уже подумал, что ты уехал в город, а потом заглянул в гараж — машина стоит.

— Сходил, выкупался, — сказал я. — Вода ничего. Не хочешь?

— Потом схожу, — кивнул он.

— У тебя дело? Или просто так? Что, опять в школу?

— Да, — с досадой сказал он. — Нет, я просто так. Хотел забрать свою японскую музыку.

— Она в целости, — сказал я. — А что мы тут стоим?

Я отпер дверь, и мы вошли на веранду. Она была куда меньше, чем та, на Ферме. И все тут было иным. И все же...

— Я даже беспокоиться стал, — сказал сын. — Не случилось ли что-нибудь.

— Да ну, сын, — сказал я. — Что со мной может случиться?

Я вошел в комнату. Порядка здесь было маловато. Особенно для свежего глаза. Сын тоже смотрел критически.

— Что, беспорядок? — спросил я.

Он усмехнулся:

— Да у тебя всегда так...

— Ладно, — сказал я сурово. — Критикан ты, вот кто. Давай-ка лучше помоги прибраться, раз уж приехал.

— Давай, — согласился он. — А что? Ждешь гостей?

— Жду, — сказал я. — Тут один может в скором времени приехать из Германии. И еще...

— Это тебе полезно, — сказал сын. — А то, знаешь, ты скучно живешь. Однообразно. Я бы, наверное, так не смог.

— Да? — сказал я. — А мне вот — в самый раз.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Глава первая . . . . .       | 5   |
| Глава вторая . . . . .       | 20  |
| Глава третья . . . . .       | 41  |
| Глава четвертая . . . . .    | 84  |
| Глава пятая . . . . .        | 132 |
| Глава шестая . . . . .       | 158 |
| Глава седьмая . . . . .      | 204 |
| Глава восьмая . . . . .      | 241 |
| Глава девятая . . . . .      | 272 |
| Глава десятая . . . . .      | 307 |
| Глава одиннадцатая . . . . . | 349 |

ИБ № 3896

*Владимир Дмитриевич Михайлов*

ТОГДА ПРИДИТЕ, И РАССУДИМ

Роман

Редактор *В. Семенова*. Художественный редактор *М. Драгуне*. Технический редактор *Г. Слешкова*. Корректор *Л. Савельева*.

Сдано в набор 18.05.83. Подписано в печать 17.10.83. ЯТ 03170. Формат 84×108/32. Газетная бумага. Литературная гарнитура. Высокая печать. 18,48 усл. печ. л.; 19,32 усл. кр.-отт.; 19,78 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ № 923-5. Цена 1 руб. 40 коп. Издательство «Лиесма», 226047 Рига, бульвар Падомью, 24. Изд. № 243/31622/P-29. Отпечатано в типографии «Циня» Государственного комитета Латвийской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Рига, 226011, Блауманя, 38/40. Обложка и форзац отпечатаны в Рижской Образцовой типографии, Рига, 226004, Вие-нибас гатве, 11.

**Михайлов В.**

**М 69** Тогда придите, и рассудим: /Роман. — Р.: Лиесма, 1983. — 351 с.

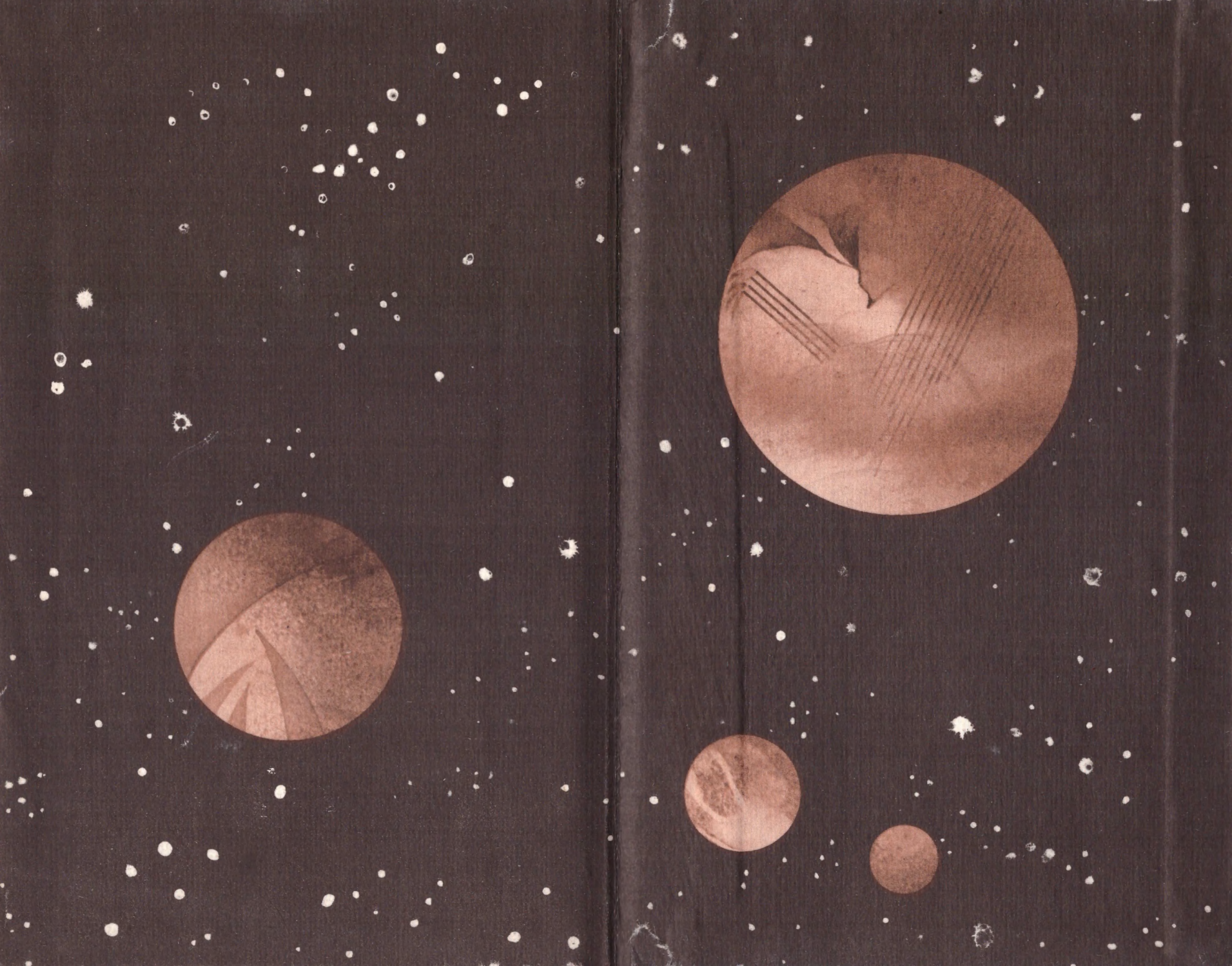
Во второй части диалоги читатели встретятся с уже знакомым по роману «Сторож брату моему» героем — капитаном Ульдемиром. Как и в первой книге, здесь капитан тоже получает очень ответственное задание: от его находчивости, смелости зависят судьбы двух дальних чужих миров. Автор призывает читателей задуматься над связью каждого человека с судьбой всего человечества, над ответственностью перед родной планетой.

**М** 4702010200-243 216—83  
M801(11)-83

**K2**  
**84K7**









1,40

CHATELAIN